ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

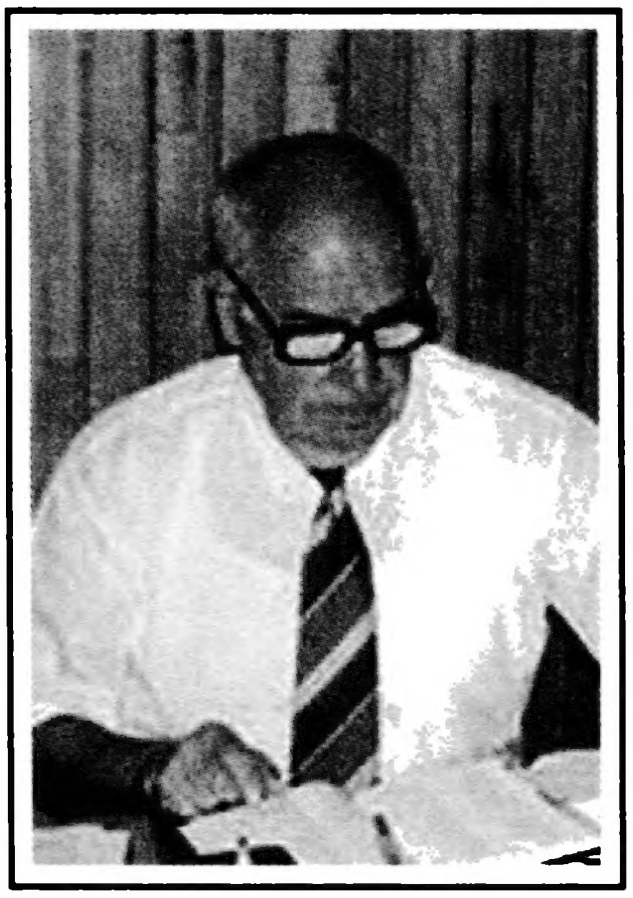
[7] 2013

РОМАН АДАМА ТОРПА «ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ»

«БОРХЕС» — ИЗ ДНЕВНИКОВ АДОЛЬФО БЬОЯ КАСАРЕСА

СЛАГАЕМЫЕ ПЕРЕВОДА: **ЭССЕ НАТАЛЬИ МАЛИНОВСКОЙ «ГРАНАТ И СОЛОВЕЙ»**

Основан в 1955 году



Ушел из жизни Алексей Николаевич Словесный, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат государственных наград СССР, России, Польши, проработавший в журнале "Иностранная литература" пятьдесят лет.

Наш журнал – дитя оттепели – был создан по решению съезда Союза писателей СССР, и А. Н. Словесный, выпускник Московского института востоковедения, был принят на работу (и с ним еще несколько человек) первым приказом первого главного редактора журнала А. Б. Чаковского от 21 января 1955 года. Был принят с месячным испытательным сроком. Испытание, однако, длилось полстолетия – на всех ступенях должностной лестницы: референт, старший редактор, заведующий отделом информации, заведующий отделом литератур Азии и Африки, ответственный секретарь, заместитель главного редактора, главный редактор (1993–2005).

Алексей Николаевич пережил разные эпохи в истории журнала: времена государственной цензуры, запретов на имена, жестких рекомендаций, затем – годы ослабления "руководящих указаний", борьба за независимость журнала и его выживание в условиях коммерциализации всех сфер общественной жизни. Многие открытия давались нелегко, за них приходилось бороться, и в решении глобальной задачи журнала – сделать достоянием нашего читателя все подлинные ценности мировой литературы – личный вклад А. Н. Словесного весьма ощутим. Достаточно вспомнить публикации романов "Улисс" Дж. Джойса, "Вся жизнь впереди" Р. Гари, "Невыносимая легкость бытия" М. Кундеры, произведений О. Хаксли, Г. Миллера, В. Набокова, И. Бродского. По инициативе Алексея Николаевича в журнале родилась рубрика "Истоки и история", посвященная нашим предшественникам – "Вестнику иностранной литературы" (1891–1916), "Вестнику иностранной литературы" (1928–1930), журналам "Литература мировой революции" (1931–1932), "Интернациональная литература"(1933–1943).

А. Н. Словесный принимал активное участие и в создании книжного приложения к журналу "Библиотека "ИЛ", и в редакционном "мятеже", в результате которого Ч. Т. Айтматов стал первым в нашей стране главным редактором толстого литературного журнала, не назначенным высокими инстанциями, а избранным коллективом редакции. Самого А. Н. Словесного коллектив редакции избирал главным редактором трижды.

Преданность делу, незаурядные организаторские способности, литературный вкус, скромность Алексея Николаевича не могли не привлекать к нему людей. О работе с ним авторы и переводчики неизменно вспоминают с благодарностью.

До последних дней А. Н. Словесный гордился тем, что именно журнал "Иностранная литература" открыл для нашего читателя такие культовые книги японской литературы XX века, как "Женщина в песках" К. Абэ и "Объяли меня воды до души моей" К. Оэ, Алексей Николаевич был их первым редактором, уже потом эти романы печатались отдельным изданием, входили в собрания сочинений. И до последних дней он опекал, поддерживал тех, с кем долгие годы работал в журнале и кто нуждался в поддержке.

[7]
2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Адам Торп *Затаив дыхание.* Роман. Перевод с английского Инны Стам

136 *Дриблингом через границу. Польско-украинский Евро-2012.* Фрагменты книги. Переводы с польского и украинского

Документальная проза

213 Адольфо Бьой Касарес *Борхес.* Из дневников. Перевод с испанского Александра Казачкова

Статьи, эссе

250 Алан Гарнер *Доджсон из Чешира и Кэрролл из Крайст-чёрч.* Перевод с английского Нины Демуровой

256 Вера Калмыкова *КВЕСТ по английской литературе*

Слагаемые перевода

263 Наталья Малиновская *Гранат и соловей*

БиблиофИЛ

281 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Б. В. Дубин

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Адам Торп

Затаив дыхание

Роман

Перевод с английского Инны Стам

Посвящается светлой памяти
Фредерика и Джуди Буш

Мы возмутительно реальны, мистер Каркер, – сказала миссис Скьютон, – не правда ли?

Чарльз Диккенс *Домби и сын*[1]

Пролог

АВТОМОБИЛЬ – изрядно потрепанный льдисто-синий "сааб" с лиловой передней правой дверью – мчался по широкой грунтовой дороге, что тянулась вдоль южной оконечности острова. Дребезжащий движок с трудом выдерживал бешеную скорость. За легковушкой вздымались несоразмерно огромные тучи пыли. На Хааремаа стояло лето. Остров был залит северным светом, золотым, как созревшие плевелы. К дороге с обеих сторон подступал густой лес;

© Adam Thorpe 2007
Reprinted by permission of Aitken Alexander Associates Ltd.
© Инна Стам. Перевод, 2013
1. Перевод с английского А. В. Кривцовой. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

кое-где солнечные лучи копьями пронзали густой, поросший ольхой березняк, чудесно преображая натянутую между ветвями тончайшую паутинную сеть, до десяти футов диаметром. Облако пыли поднималось вверх, к золотому свету, и придавало ему почти осязаемую форму; казалось, его можно потрогать рукой.

Женщина, сидевшая на переднем пассажирском месте, держала на коленях картонный лоток с яйцами. Она была счастлива. Счастлива, что стоит лето, что день выдался теплый и сухой (не в пример предыдущим трем дням), а еще потому, что вечером, на родительской даче, она испечет из этих яиц большущий торт ко дню рождения мужа: завтра ему исполнится тридцать. Сидевший рядом за рулем муж тоже был счастлив, но по-своему, ничем не выражая своей радости. Первоклассный плотник, он пользовался доброй славой среди местных жителей — в основном бедных и уже далеко не молодых. Поэтому именно ему в первую очередь предлагали работу на самых интересных объектах, строившихся на острове при поддержке Евросоюза, будь то крытый сосновой дранкой спа-отель, или большой общественный центр, преобразованный из бывшей штабквартиры коммунистической партии, или сельскохозяйственный музей.

Врывавшийся в окна машины ветер трепал длинные рыжеватые волосы женщины, то вздымая их у нее за спиной, то швыряя пряди ей в лицо. Даже по меркам балтийских стран она была на редкость красива, и муж это, разумеется, отлично сознавал. Особенно хороши были высокие скулы — гладкие, блестящие, точно отполированный морем выгиб раковины каури. Такая красота — и зазря пропадает на женихой службе, шутливо досадовал муж: жена работала в руководстве местной радиостанции. Из стереомагнитолы, для верности прилепленной к гнезду коричневым скотчем, неслись звуки пробного альбома малоизвестной английской рок-группы “Каслдаун”. Диск прислали на радиостанцию в рекламных целях. Исполнялась неземной нежности песня “Стоя рядом”, очень нравившаяся женщине своей безыскусностью: жесткий аккомпанемент гитары, ломкий голос певца. Порой трудно было разобрать английские слова, но их грустная поэтичность трогала ее, напоминая старинные эстонские песни.

Она стоит
У кромки моря
О ней мечтаю я
Себе на горе

Мужу нравилась совсем другая музыка: свободный джаз и тяжелый рок. Ей хотелось, чтобы он ехал помедленнее, но под мирной невозмутимостью мастерового таилась тяга к бешеной скорости — чтоб земля и камни веером летели из-под колес, — его пристрастие к искаженному звучанию гитары и злобно воющему саксофону. По дорогам шириной со взлетно-посадочную полосу — они были построены для бомбардировщиков во времена "холодной войны", в расцвет советского милитаризма, — он гонял по острову так, будто играл роль героя-беглеца в американском блокбастере: проигрыватель орет на полную мощность, толстые в пятнах смолы пальцы отбивают такт по рулевому колесу.

До сих пор он ни разу не попадал в аварию. Автомобилей на острове сравнительно мало, в рискованной ситуации ему всегда удавалось увильнуть или круто развернуть машину. Главная опасность — однообразный лесной пейзаж. Водители начинают клевать носом и, сами того не замечая, съезжают с дороги, а некоторые, особенно после ужина с местной водкой, врезаются в дерево и погибают. Есть и такие, кто просто-напросто садится за руль, изрядно приняв на грудь. Но он ведь не пьяница. Да, гонять "сааб" в хвост и в гриву пусть даже на лысой резине он любит, но других-то причин для неприятностей нет.

Однажды в правую пассажирскую дверь задом въехал единственный на острове снегоочиститель. Дверь давно выправлена и покрашена в лиловый цвет: у тестя нашлась банка краски, последняя из целой партии, купленной еще в советское время. Этот "металлик" хотя бы отдаленно напоминал исконный синий. Муж ремонтировал машину сам: руки у него золотые, а нанимать профессионалов обошлось бы втридорога. Труднее всего оказалось починить замок — удар снегоочистителя пришелся как раз на него. Возня с замком заняла целый день. С тех пор, чтобы язычок защелкнулся, дверцей приходилось хлопать с дополнительной силой.

Вдруг дверца еле слышно задребезжала, но из-за тарахтенья старого движка, шума колес на грунтовой дороге и чудесной песни, не говоря уж о свисте теплого летнего ветра в ушах, ни он, ни жена ничего не заметили. А задребезжала дверца потому, что язычок защелкнулся не полностью: женщине помешал лежавший у нее на коленях лоток с яйцами. Яйца с прилипшими кое-где перышками и пятнышками помета были на этот раз не от дачных кур; несколько недель назад в курятник пробрался лис и погулял там в свое удовольствие — устроил кровавое побоище. Заменить погибших кур они не успели. Если бы не лисий налет, женщина не стала бы

брать яйца на хуторе у дальней родни и не села бы в машину с лотком на коленях.

Она вполголоса подпевала певцу; в уголке ее рта появилась складочка — предвестница той совершенно счастливой улыбки, которая страшно нравилась мужу.

Крутой поворот дороги был ему хорошо знаком, и он, почти не снижая скорости, мчался дальше на самой грани безопасной езды — не переходя ее, однако. Подчиняясь закону Ньютона, жена привалилась к дверце (ремней безопасности в машине, естественно, не было), язычок выскользнул из гнезда, и дверь распахнулась. Женщина стала медленно падать из машины, яйца судорожно задвигались в картонном коробе.

Вместо того чтобы протянуть руку, ухватиться за что-нибудь и прекратить падение, она стала чисто инстинктивно спасать яйца — нельзя, чтобы хоть одно разбилось. Муж уже перебросил ногу на тормоз и протянул руку к жене, но она была слишком далеко, и он лишь хватал пальцами воздух.

Она выпала из машины, обеими руками придерживая яйца, поэтому сразу ударилась затылком о щебеночное полотно. Когда "сааб", подняв столб пыли, развернулся и стал, она лежала на дороге в лужице из желтков и прозрачного блестящего белка; глаза были раскрыты, волосы веером разметались вокруг головы: казалось, она вот-вот что-то скажет. В лесу, в считаных ярдах от дороги высвистывал свою песенку черный дрозд, но, встревоженный неожиданно раздавшимся громким воем, опасливо смолк, словно в знак сочувствия.

Глава первая

Пивная "У О'Луни" была битком набита пьяными финнами. Проигрыватель во всю мощь наяривал ту же визгливую песенку, что и два дня назад, а финны орали футбольные кричалки, перекрывая ирландские народные напевы, в которых звуки то жаворонками взмывают вверх, то вновь садятся на черные провода нотных линеек.

Я не стал ничего заказывать, вышел из пивной и направился назад к кафе, которое приметил по дороге. В зале негромко играла музыка, на спинках плексигласовых стульев процарапаны имена французских поэтов. Я сел в эркере на стул с надписью "Апполинер". У меня возникло подозрение, что имя поэта написано неверно. Апполон. Апполлон. Или Аполлон?

В тот день я целое утро просидел в квартире, пытаясь сочетать нисходящую диатоническую гамму в четырех разных темпах. Естественно, я был измочален, очень хотелось расслабиться. К сожалению, стул этому не способствовал. Но атмосфера в кафе была приятная, чувствовалось, что это — глубоко континентальная Европа: серебристый северный свет озарял столешницу, мои руки на ней и название кафе — "Майолика", вытравленное на оконном стекле. Я пошевелил руками, и отблески заиграли на костяшках пальцев; мне даже почудилось, что пальцы обволокло прозрачной полиэтиленовой пленкой.

На мощенной булыжником улочке, продуваемой октябрьским ветром, порывистым и холодным, было тихо. А что, совсем неплохо, подумал я.

На другой стороне едва угадывался дом, скрытый строительными лесами и зеленой брезентовой завесой, то и дело хлопавшей по металлическим опорам. Отремонтированные и покрашенные в яркие цвета здания совсем не выглядели средневековыми. Рядом стояли серые и грязные дома — им реставрация только предстояла: каменные стены потрескались, балконы покосились. Но эти невзрачные строения мне почему-то были больше по душе, словно давние добрые знакомые. Может быть, своим запущенным видом они напоминали мне Хейс[1].

Рядом со столиком возник призрак с освещенными солнцем руками, на поверку оказавшийся официанткой. Я развернулся, чтобы продиктовать заказ, но она смотрела в другую сторону: кто-то громко окликал ее из кухни. Я увидел только изгиб правой скулы и гриву рыжеватых волос.

Она обернулась, и в углу рта набухла складочка.

— Здрасьте.

— Здрасьте. Кофе латте, пожалуйста. Благодарю.

Из кухни снова закричали, она отозвалась. На ней были джинсы в обтяжку и блузка с открытыми плечами.

Я снова взглянул в окно. Из эркера открывался вид на улицу сразу в обе стороны. Один из нализавшихся в пивной финнов, замотав голову майкой на манер монашеского повоя, исполнял балетные па.

Честно говоря, ничего особенного я от этой поездки не ждал. Когда стеклянные двери аэропорта раздвинулись, я увидел серенькую заболоченную водную гладь, невысокие ле-

1. Хейс — графство, входящее в Большой Лондон.

систые холмы, справа — какие-то обветшалые строения. Невыразительная картина, чем-то напоминающая Чешир и подобные места, но воздух другой. И свет тоже. По воде, за окутанными дымкой камышами, бежала рябь от плавающих в заводи птиц. Нет, все совсем-совсем другое.

Я почувствовал волнение. Даже счастье. Прямо как мальчик из далекого прошлого, впервые увидевший из окна поезда море.

Между тем таксист с баками чуть ли не до шеи уже открывал багажник желтого, видавшего виды "мерседеса" и легонько, как перышко, подталкивал меня к машине:

— Пожалста, пожалста.

Переднее место было занято — там лежала недоеденная сосиска в обертке, поэтому я сел сзади, на рваный клетчатый плед. В салоне было не продохнуть от резкого запаха американских сигарет. Хрипло взревел мотор, — наверно, за проволочным ограждением взлетел самолет, подумал я, — и "Мерседес" рванул с места, будто мы спасались от погони. Я все еще возился с ремнем безопасности; в конце концов, понял, что он сломан. Мы неслись, громыхая, мимо заброшенных заводов, жилых домов сталинской застройки и строительных площадок с терриконами гравия. На грязных пустырях высились желтые подъемные краны, рекламные щиты и каркасы огромных приземистых супермаркетов. Может, мне передвинуться на соседнее место (хотя в пластиковой обивке зияет глубокая дыра) и попытать счастья со вторым ремнем безопасности? — мелькнула мысль.

Ладно, утешал я себя, прижимая к груди никчемный ремень, жизнь — это приключение.

На зеркале болталось удостоверение таксиста с фотографией; с нее довольно молодой человек сверлил меня горящими глазами. *Олев*, прочел я. Из устройства двусторонней связи неслись обрывки разговоров — казалось, происходит что-то страшное. На снимке, свисавшем с зеркала, Олев был похож на психопата. Возможно, он русский. Когда приходилось объезжать ремонтируемые участки по грунтовым дорогам, он свирепо бурчал себе под нос, будто ремонт злокозненно начался за то короткое время, что он ждал пассажира.

Мы остановились на светофоре, и между передними сиденьями возникла физиономия Олева с тем же пронзительным взглядом, но уже в щетине и с пухлыми щеками. Глаза его были налиты кровью.

— Шлух?

— Простите, не понял.

— Шлух? Шлух?

Произносил он это так, будто его вот-вот вырвет, и одновременно размахивал незажженной сигаретой. До меня не сразу дошло, о чем он толкует.

— А, вот вы о чем! Извините. Спасибо, не курю, — проговорил я наконец.

Олев нахмурился. Ага, он вовсе не предлагает сигарету, он просит огонька. Я смущенно фыркнул над собственной глупостью и похлопал ладонью по нагрудному карману пиджака:

— Хм, прошу прощения! *Ньет*, – по-русски сказал я. — Зажигалки нет. И спичек тоже. Rien[1].

Физиономия настоящего Олева исчезла, сиденье под мясистым телом заколыхалось, пружины и крепления заскрипели, но глаза на фотографии по-прежнему сверлили меня насквозь, а чуть выше, в зеркале заднего вида, отражалась часть оплывшего лица с глазом, так же злобно зыркавшим на меня. Когда салон затянуло дымом — Олев, не снижая скорости, правил машиной с помощью локтей, — признаюсь, я пришел в полное замешательство.

Не желая выглядеть слюнтяем, я изо всех сил сдерживал кашель. Доехав до пешеходной зоны старого города, "мерседес" влез на тротуар, будто брал очередное препятствие на дороге. Бурно жестикулируя — ни дать ни взять дирижер, — Олев рявкнул что-то через плечо. Я не сразу понял, о чем речь, но потом до меня дошло: без специального разрешения дальше ехать нельзя, а искомая улица — следующая справа. Счетчик показал сумму в кронах, но я понятия не имел, как их пересчитывать в фунты. Я сунул Олеву толстую пачку купюр (равную, как я позже выяснил, примерно десяти фунтам).

Олев вышел из машины, открыл багажник и, крякнув, вытащил мой чемодан.

— Пожалста, — произнес он и сунул мне в руку замызганную карточку: *Disko, Baar, Saun – 24 hr.*

Я поблагодарил, но он не услышал иронии в моем голосе; "мерседес" помчался прочь, я махал ему вслед с неуместным пылом; так машут вслед загостившейся тетушке.

Три дня спустя я сидел в кафе, размышляя над понятием "свой дом". В Таллинне я определенно чувствовал себя как дома. То же чувство я испытывал в Берлине, даже до падения Берлинской стены, даже после моей единственной вылазки в Восточный сектор: на музыкальный фестиваль, уже в эпоху гласности.

1. Ничего нет (*франц.*).

— Ваш кофе.

— Замечательно. Спасибо.

В уголке губ у нее опять набухла складочка, и я увидел эстонскую постсоветскую улыбку, столь же малозаметную, как музыка в этом кафе. Нет, неверно: она вспыхнула и на мгновение осветила все лицо, точно солнышко над полем спелой ржи, прежде чем набежит облако. И официантка отошла.

Упитанные пожилые туристы вразброд плелись за гидом, поглядывая на высоко поднятую палочку с флажком. Кроме них и пьяных финнов, на улице никого не было. У меня перед глазами всплыл огромный зал в Восточном Берлине; полы там были сплошь покрыты ковролином, который никто не позаботился закрепить, и он ерзал под ногами; вспомнились композиторы из стран советского блока — все как один были одеты в куртки из искусственной кожи и непрерывно курили, даже за завтраком.

Финны бурно обнимались и цеплялись друг за друга, точно матросы на палубе попавшего в шторм судна; заметив их, туристы свернули в переулок.

Кофе латте оказался совсем неплохой. Официантка прокричала очередной заказ; пока я обозревал улицу, она снова обратилась в видение.

Отхлебнув еще глоток, я высыпал в чашку половину бумажной трубочки с сахаром и сразу помешал. Если не будет дождя, можно побродить по крепости. Я не большой любитель романов, но все же прихватил с собой “Анну Каренину” в бумажной обложке. Книга была потрепана и сильно измята, отклеившаяся от переплета тетрадка страниц в тридцать то и дело выпадала. Приходилось за ней следить. На этот раз дочитаю до конца. Негромко, под сурдинку, игравшая музыка выстраивала у меня в голове какие-то ноты, двухдольные размеры; могло бы получиться интересно, если сочетать их с какой-нибудь пентатоникой в ми-бемоль мажор — скажем, для трубы. Хрипловатый зыбкий женский голос, сплетаясь с жестким ритмом баса, завел что-то невнятное о том, как *прожить с тобою жизнь*.

Скрипнула дверь: официантка вышла на крошечную терраску с грубым дощатым настилом; терраска напоминала консольные театральные подмостки средневековья; там стояло всего два столика. Невзирая на порывы холодного ветра, за одним расположился посетитель в длинном черном пальто, седые волосы стянуты на затылке в “конский хвост”. Официантка приняла заказ, поглядывая в сторону финнов — те пытались делать стойку на руках. Посетитель ей приветливо кивнул — видимо, они знакомы.

Порой остро хочется быть как все, особенно когда мир кажется родным домом, знакомым тебе еще до рождения.

Посетитель вдруг рассмеялся, она тоже.

На высокой крепостной башне развивается эстонский флаг, поднятый десять лет назад, в первые же дни независимости. До того там реяли большей частью иноземные флаги: датский, шведский, прусский, русский, немецкий. Потом взвился красный советский флаг. Отправлюсь-ка я туда и возьмусь за внушительный том "Анны Карениной", пока холод и благоразумие не погонят прочь.

Официантка вернулась в зал заметно повеселевшей. Некоторое время назад я подумывал отрастить себе "конский хвост", как у Робинзона Крузо из телефильма, который я смотрел еще мальчишкой, но Милли решительно воспротивилась: "Через мой труп!" В следующей композиции гулко зашлепал бас, почему-то напомнив звуки в нашей спальне, когда Милли, сидя на мне верхом, звонко хлопала пахом о пах и приговаривала:

— Ну же, семяносец, делай дело, не ленись, делай, не ленись...

В ее мантре мне слышалось: "Денни Лэйн[1], Денни Лэйн..." — неожиданное созвучие лишь сбивало с толку. Скорее всего, этот психосоматический вздор втемяшила ей Дебора Уиллеттс-Нанда, уверяя, что он поможет успешному оплодотворению, но мне он определенно мешал. И толку от него не было никакого.

Ночью я как-то спросил Милли, кто же все-таки этот семяносец.

— Точно не знаю. То ли я, то ли ты... Скорее, ты. Тут главное — завершенность.

— А может, мы оба?

— Очень может быть. Спокойной ночи.

— Гм... Слушай, Милли, тебе не кажется, что нам стоит провериться у нормального врача?

Но она уже заснула. А я в ту минуту был так же далек от завершенности, как дыра в стене.

Официантка понесла обладателю "конского хвоста" кофе с пирожным. Потом вернулась и, неспешно облизывая нижнюю губу, бросила взгляд в мою сторону — чисто профессиональный взгляд, просто проверила, все ли в порядке. И я оказался в поле зрения. Она закрыла рот, ее лицо осветил

1. Денни Лэйн (наст. имя Брайан Артур Хайнс; р. 1944) — английский музыкант, гитарист, вокалист, в 1970-х гг. вошедший в рок-группу Пола Маккартни "Wings".

проблеск улыбки. Мальчишкой я любил ходить в Хейс-парк — наблюдать за золотыми рыбками, снующими в темной глубине пруда; они всплывали, тыкались рыльцами в поверхность воды, и по ней бежала светлая рябь — точно так же менялось ее лицо, когда она улыбалась. К собственному удивлению и смущению, я покраснел. И, чувствуя это, покраснел еще гуще. Я поспешно открыл книгу и сделал вид, что поглощен чтением. Последний раз я краснел в пятом классе. К тому же я не блондин, так что это почти не заметно, но мне-то казалось, что я стал похож на спелый помидор.

Официантка скрылась на кухне; я воспользовался моментом и, не дожидаясь сдачи, направился к бару. За стойкой стоял молодой парень с бритой головой и крупным орлиным носом. В каждой ноздре поблескивала золотая бусина, отчего нос походил на благочестиво склоненную головку жука-богомола. Необходимо было действовать. Я решительно ухватился за собственные плечи и силой увел себя из кафе.

Уже в дверях до меня отчетливо донеслось: “Всего доброго”. Я был почти уверен, что узнал ее голос — довольно призывный, — но усилием воли запретил себе отвечать. Пусть маленькая, но победа.

Позже у меня, конечно, возникло чувство, что вел я себя как олух, грубиян и типичный англичанин.

Вскоре я обнаружил, что забыл в кафе старину Толстого. И Бог бы с ним, но я сунул в книгу кое-какие свои заметки.

Осматривая возле древней стены средневековую пушку, я помечал кое-что на нотном листке, но разобрать мои каракули было не так-то просто, поскольку я торопился записать обрывки возникавших в голове вещей. Решил оставить пять гобоев и арфу, а также не ограничиваться одним сопрано, добавить еще два. Я уже понял, что эстонский язык — одни сплошные долгие гласные; наверно, поэтому у Арво Пярта[1] такая необычно замедленная музыка — взять хотя бы “Miserere”, — но для его уха эта медлительность, скорее всего, привычна. Я положил листок на дуло пушки и в общих чертах набросал произведение целиком; лед тронулся, мелькнуло у меня в голове.

Прошло всего-то три дня, а я уже начал оттаивать.

Что до “Анны Карениной”, то можно ведь купить другой, новый экземпляр. Тем более что рядом с квартирой, где я поселился, есть книжный магазин. Я представил себе, как официантка берет в руки мой потрепанный том, и пачка страниц

1. Арво Пярт (р. 1935) — эстонский композитор.

выскальзывает и падает на пол. А следом, небось, и сложенный вчетверо листок с моими заметками; ей будет над чем поломать голову в тиши ее крошечной, но очень уютной комнатки где-нибудь под самой крышей. Стены непременно увешаны плакатами, но не обычными, а с фотографиями эстонских театральных экспериментов, кадрами из фильмов Тарковского. Или с Марлоном Брандо, снятым за игрой в бильярд. Рядом фотография ее семьи. Их фермы, лошадей. Мужчины у нее сейчас нет.

Я сидел на скамейке против златоглавого собора Александра Невского. Холодный октябрьский ветер пощипывал щеки — ведь я находился на широте Санкт-Петербурга и Оркнейских островов[1]. Вокруг тишина и покой. Слева от меня виднелись великолепные, возведенные в восемнадцатом веке здания парламента; справа спускалась средневековая городская стена. Я сунул руки под ворсистое шерстяное пальто, кожа под намотанным на шею шарфом зудела. В чем смысл жизни? Ох уж эти скамейки, о чем только на них не задумаешься. А может быть, все дело в дате? 1999. Длинные слоги в названиях диких цветов вызванивали в голове свои мелодии: клинтония северная, белена черная, дубровка ползучая, вереск, подбел многолистый. Они и составили либретто моего сочинения. Я набрал их из своего старого "Справочника диких цветов".

— Но сочинение-то связано с Эстонией, — заметила Милли. — К чему тут английские цветы?

Приятный сюрприз — обычно она по горло занята своими прожектами по спасению нашей планеты и моей работы почти не замечает.

— Они и в Эстонии растут.

— Может, стоит проверить?

— С чего ты взяла, что я не проверил?

— Да ты как-то так произнес...

— Все дело в отношениях, — раздраженно прервал ее я. — В отношениях *между странами*. Это же не гимн во славу Эстонии. А цветов этих становится все меньше, они вымирают, и это придает вещи выразительности, — добавил я, надеясь, что этот аргумент произведет на Милли впечатление. Но она уже говорила по телефону.

Партитура писалась сама собой и очень быстро. Тут для меня вообще загадка: то ли музыка, звучащая в голове, пишет партитуру, то ли партитура — музыку. Иногда мерещится, что

1. Острова у северного побережья Шотландии.

я просто читаю с листа произведение, внедренное кем-то в мою голову. И в то же время я воспринимаю его как нечто мне принадлежащее, насколько что-либо может кому-то принадлежать. Зачастую я даже не спешу записать эту музыку, поскольку у меня отличная память. И дело тут не в гениальности, просто так устроен мой мозг. Немногие из ныне живущих композиторов моего уровня на это способны, им приходится больше трудиться, дольше сидеть и грызть карандаш. Но всех нас ждет одно из двух — либо дифирамбы, либо полное забвение.

В семилетнем возрасте я написал сочинение, в котором ведущие партии были отданы тарелкам и большому барабану. Причем слышал я эти инструменты только по радио (родители обычно включали Радио 2), но в моей партитуре они придавали музыке что-то тибетское. И никакого определенного ритма. Спустя двадцать лет кто-то заметил, что мой ранний опус очень напоминает сочинения Арво Пярта — особенно его манеру использовать три ноты трезвучия. Поэтому, наверно, я и очутился на скамейке возле собора Александра Невского в столице родины Пярта. Глядя стекленевшими глазами в пространство, я думал: дело здесь не только в заказе, для моей "карьеры", пожалуй, грандиозном; просто жизнь идет по дуге, образуя некий узор, мелкую рябь; рябь добегает до заросшего травой берега и тихонько отпрядывает от него.

К примеру, я забыл в таллиннском кафе книгу, но вернуться за ней не мог — слишком уж приглянулась мне смазливая официантка. При этой мысли я усмехнулся, покачал головой и поймал настороженный взгляд проходившей мимо женщины в меховом жакете, с коккер-спаниелем на красном поводке. Стук ее высоких каблуков по каменным плитам площади удивил меня гулкостью, напомнив "деревянную коробочку". Возможно, звук резонировал благодаря открытой боковой двери собора — тот же эффект дает в Сиракузах пещера на месте древней каменоломни. Следом появился мужчина в длинном шерстяном шарфе и обвисшей шерстяной шляпе. Будь он постарше, можно было бы предположить, что шляпу он позаимствовал у своей дочери-подростка. Крошечный серый транзистор в его руке изрыгал сквозь помехи какую-то попсу, больше похожую на белый шум. Затем протопали два японских туриста; на одном были сапоги, доходившие ему до середины бедер, и отлично выстиранный белый хлопчатобумажный пиджак. Японцы выглядели одинаково оживленными, казалось, они родились с этими радостными ухмылками и с ними умрут. Каждый щелчок их фотокамер сопровождал-

ся музыкальным звоном, который разъедал мне мозг, словно червоточина.

Если разобраться, то люди, все поголовно, непременно с чудинкой.

Я попытался представить себе лицо официантки, но не смог. Слуховая память у меня отличная, а вот зрительная — хуже некуда, хотя ямочки на щеках и чуть набухающий перед улыбкой правый уголок губ я запомнил.

В голове несколько раз прозвучал ее голос, чуть охрипший, оттого что ей приходится кричать, передавая поварам заказы посетителей.

Можно бросить Милли и остаться в Эстонии до конца жизни. С этой девушкой.

Я самодовольно хрюкнул. Если не брать в расчет финских пьянчуг, Таллинн — вполне цивилизованный город. Я бы охотно окопался тут на зиму. Настоящая эстонская зима прогонит с улиц всех, кроме коренного населения, — они закаленные, им даже обледеневшие булыжники не помеха.

— Тебе не кажется, что у тебя депрессия?

Несколькими месяцами раньше Милли уже задавала мне этот вопрос.

— Нет.

— А с виду похоже на то. Даже папа заметил.

— Просто у меня сейчас творческий спад.

Мы приехали к ее родителям в Хэмпшир и сели на лужайке возле озера; по его глади, подчиняясь невидимым струям донных ключей, скользили лебеди.

Поместье Уодхэмптон-Холл настолько обширно, что время от времени хозяев там поджидают сюрпризы самого разного толка; к примеру, несколько лет назад кто-то самовольно выстроил в дальнем углу парка хибару, жил в ней, умер там же, и никто ничего не заподозрил. Лесничий с помощниками пошли в дальнюю рощу корчевать подлесок и наткнулись на этот домишко; в полусгнившей кровати лежал скелет.

— Если творческий ад, то недолго и в депрессию впасть.

— Я сказал спад. Ничего страшного.

— Ну и хорошо.

Милли прелесть. Она стала носить на лбу темно-бордовую меточку, как у индианок, но за обедом ее отец, заметив эти эксперименты дочери, разразился потоком брани; заодно досталось и всем прочим азиатам.

— Вообще говоря, это даже не творческий спад. Просто мое воображение... Выше головы не прыгнешь.

— Ты о чем?

— В общем, нет во мне того, что нужно для успешной карьеры. Ненавижу слово "карьера", — добавил я, опередив Милли.

— Лишь бы ты не надорвался.

Я вообще-то рассчитывал, что она скажет: "Но ты же *добился* успеха". И решил дать ей еще один шанс:

— Понимаешь, с успехом все не просто; успешный композитор должен выдавать на гора масштабные хиты — оперы, симфонии — с очень эротичными названиями. Ну, скажем, "Последний поцелуй Хайдеггера" или "Темный лес, странные забавы".

— Ты их прямо сейчас придумал? Классные названия.

— Или можно писать музыку для кино, как Гласс[1]. Или под сурдинку втюхивать публике кучу попсы, перемешанной с классикой, как Энн Дадли[2]. А иначе останешься в крошечной стайке самодовольных индюков, питающих друг к другу лютую ненависть. Ладно, я преувеличиваю. И тем не менее.

— А нельзя ли твои небольшие вещицы собрать в единое целое?

То, что я говорю вслух, сильно отличается от того, что я думаю. Поэтому я так не люблю интервью. На снимках я выгляжу замкнутым и угрюмым, а в разговорах с журналистами напоминаю пятиклашку, который еще жизни не нюхал.

Поэтому я сделал вид, что размышляю над ее вопросом. Очень не хотелось семейного скандала, тем более в Уодхэмптон-Холле. Поместье — сотни акров превосходных, чисто английских, угодий — покорило меня давно и сразу, оно постоянно напоминает, как мне в жизни повезло. Только что мы всей семьей усидели бутылочку "сотерна" урожая 1962 года. Подняв бокал темно-золотого напитка к свету, тесть заметил, что это — единственное белое вино, способное без ущерба для себя пролежать более тридцати лет.

— Тридцать семь, — с характерным смешком знатока уточнил он.

С днем рождения, Джек!

1. Филип Гласс (р. 1937) — американский композитор-минималист; приобрел всемирную популярность после написания музыки к первому фильму из трилогии "Каци" Годфри Реджио, а также к фильмам "Шоу Трумена", "Часы", "Иллюзионист" и др.
2. Энн Дадли (наст. имя Энн Дженнифер Бекингем; р. 1956) — английский композитор и поп-музыкант, работает в жанрах популярной и классической музыки.

Милли все еще смотрела на меня с явным беспокойством. Я же наблюдал за плавающими в озере лебедями; до чего строгий у них вид. В их тенях таится смерть.

– Ну, да, я мог бы просто два часа повторять одну и ту же ноту, варьируя только темп, – в конце концов произнес я. – И назвать опус “Держась за нить”.

Теперь же я находился в другой стране, воздух холодил лицо. День недолог, скоро станет смеркаться. Если бы я решил осесть в Эстонии, подумалось мне, научился бы кататься на коньках, и озерный лед скрипел бы и громко трещал под ногами – звуки дивной красоты, я их впервые услышал в Норвегии.

В следующие два дня я убеждался в справедливости моего смутного предположения, что, куда ни поедешь, даже в самый экзотический край, он в конце концов все равно опустится до твоего уровня.

Я сидел в квартире и работал над партитурой в очень полезном для здоровья режиме – примерно по минуте в день, а в остальное время кружил по Таллинну. Однажды решился выйти за пределы старинного центра, на окраину; впечатление мрачное – казалось, дома натянули на себя огромные серые потрепанные пальто с подкладными плечами. Каждый раз, когда я вспоминал официантку из кафе “Майолика”, в груди теплело, словно наступил Золотой век, и в главной роли – Афродита. Нет, ничего путного из моего сочинения не выйдет.

Я обходил заветную улицу стороной, хотя однажды пошел посмотреть Дом Братства Черноголовых и оказался совсем рядом. Милли настоятельно рекомендовала мне посетить его, главным образом из-за названия братства. “Интересно, тебя подростком угри сильно донимали? – со смехом спросила она. – Небось, выдавливал черные головки?” Судя по карте, от Дома можно переулком выйти почти к самому кафе. Не чуя ног, я прошел переулок и осторожно выглянул за угол: старинные купеческие дома, лавка индийских товаров под вывеской “Экзотика”, – но никакого кафе. Может, оно мне приснилось. Может, стоит сочинить оперу, положив в основу историю молодого оболтуса, который влюбляется в официантку, но, когда день спустя он возвращается на то же место, кафе как ветром сдуло. *И что дальше?*

Вечный вопрос: *И что дальше?*

Я двинулся в сторону церкви Св. Олава; кривая улица вильнула влево, и я увидел кованую раму с железными завитушками, а в ней вывеску: “Кафе Майолика”. Снова налетел буйный осенний ветер, сдирая с деревьев листву – лето сда-

валось на милость победившей осени. Последнее лето двадцатого века. Вообще последнее лето, если верить набожным оптимистам.

Почему я тут болтаюсь? Непонятно.

Потому что хочу увидеть ее еще раз, вот почему. Увидеть ее лицо; так бывает, когда хочешь убедиться в реальности какого-нибудь явления. Мне нужно сопоставить действительность с отпечатавшимся в мозгу образом, крайне нечетким, будто снятым с тройной экспозицией.

Я остановился в нескольких ярдах от двери. На терраске никого. В оконных стеклах под острым углом отражается улица. У меня задрожали ноги. Напротив кафе за брезентовым пологом включили мощный механизм; его пронзительный визг словно вобрал в себя весь практицизм мира. Внезапно визг смолк. Потом возобновился: бурав с воем вонзался в каменную кладку, или в бетон, или во что-то еще. Самое жуткое, если в металл — похоже на композиции Роджера Гроув-Кэри.

Я круто повернулся и направился в старый город.

У меня уже сложился обходной маршрут, нечто вроде звериной тропы. Ходил я либо по часовой стрелке, либо против нее. На полпути, у подножия крепости, открывается замечательный вид — панорама нижнего города, порт с огромными кораблями, Финский залив. Каждый вечер я с восторгом наблюдал, как северное солнце медленно, неспешно опускается в море, небо становится густого сине-зеленого цвета, а в заливе вспыхивают огоньки.

Север мне очень по душе, решил я.

Да, здесь я мог бы жить. На своем композиторском веку я уже много где побывал, но ездил обязательно с кем-то еще, и поездки эти всегда были связаны с выступлениями, с нервным напряжением, со своеобразным эксгибиционизмом. Я как бы занимал определенную позицию, но не в реальном пейзаже, а в панораме современной музыки. И где бы ни оказывался, всюду ощущал свою обособленность.

А здесь, из вечера в вечер, стоя за низкой крепостной стеной, где мое одиночество порой разделял случайный молчаливый прохожий или влюбленная парочка нарушала тишину нежным чмоканьем, я глядел вдаль под меркнущим светом дня и чувствовал себя совершенно свободным. Казалось, что все можно порвать на клочки и начать заново. Или что вся моя прошлая жизнь не моя вовсе, а чья-то еще, и ее можно выбросить, как ненужную книжку.

Одно обстоятельство мне очень помогло. Несколько дней назад, когда я махал вслед такси Олева, внезапно налетел

шквал, хлынул ливень. Лавина воды пеленой окутала все вокруг, казалось, ветер не дает каплям долететь до земли; люди жались под маркизы над магазинными витринами. Но я продолжал путь. Лондон, духота в самолете, продымленный "мерседес" Олева — все этим ветром сдуло. Внезапно ливень прекратился, будто его выключили; мокрый булыжник отливал под солнцем металлическим блеском, в воздухе приятно пахло чем-то неуловимо знакомым, но я догадался чем, только когда дожидался в газетном киоске хозяина дома, где я решил снять квартиру.

Миндалем, вот чем пахло.

Я словно заново родился. Нутром чувствовал: все будет хорошо. И украшено миндалем.

Дом был заурядный — типичный старый советский зуб в изношенных челюстях улицы, которая, прочел я в интернете, находится "смехотворно близко от средневекового центра города". И правда: улица ведет прямо на Рекойя, главную историческую площадь Таллинна. На первом этаже дома, кроме газетного киоска, располагались также кафе и ювелирный магазин.

Я воображал, что ко мне спустится нахальный неокапиталист в щегольском прикиде, но хозяин квартиры смахивал на университетского профессора: в годах, лет под пятьдесят, одет в уютный шерстяной свитер и что-то невнятно бормочет себе под нос. "Койт", — представился он, но я не сумел повторить его имя: не дифтонг, а щелчок кнута. Койт рассмеялся, покачивая висевшей у него на пальце связкой ключей.

— Значит, хорошо проводишь время на Таллинн. Удачи. Если неприятность, набирай этот нумер.

На четвертый этаж вела мраморная, безупречно чистая лестница, а сама квартира — две спальни, все удобства — оказалась шикарно обставленной. Я, честно говоря, ожидал увидеть дешевую, вкривь да вкось прилаженную сантехнику, шаткие стулья, пошлые фотографии лупоглазых кошек. В квартире ощущался сыроватый запах свежей штукатурки, кое-где торчали провода, в кухонном шкафу рядом с пачкой сахара стоял пакет цементной смеси, но в остальном апартаменты хоть куда. Белые диваны "под кожу", золоченые набалдашники на спинках кроватей, затейливо изогнутые лампы дымчатого стекла и гигантских размеров телевизор "Сони" смотрелись здесь пришельцами из другой жизни, и это радовало. Правда, смеситель в душе держался на честном слове, но смесители везде такие.

Кто-то — уборщица или Койт — опрыскал комнаты освежителем воздуха с запахом лаванды, и после душа я распах-

нул окна с двойными стеклами. Вместе с холодным воздухом внутрь ринулся уличный шум: голоса, стук высоких каблуков, буханье контрабаса в ресторане напротив и, привычные источники раздражения и тревоги, внезапно проносящиеся мотоциклы с мерзким, как везде, ревом. Опершись на подоконник, я бесконечно долго наблюдал за уличным действом, напрочь забыв про Олева и пытаясь забыть Лондон: я здесь. Не там.

В ящике комода "под старину" лежит множество красных свечей, они катаются там, как цилиндры багажного конвейера в аэропорту, но ни спичек, ни зажигалок не видно; никакого "шлух", если это слово обозначает источник огня. Холодильник пуст, не считая одинокого яйца. Напротив массивного обеденного стола висит отлично выполненная литография — сумрачный, зловещий лес; на столе несколько стеклянных пепельниц, словно для какой-нибудь официальной конференции. И нескольких дней не прошло, а я уже чувствую себя здесь как дома.

Вот в этом и заключалась моя ошибка. Неужто понятие "дом" до того измельчало? Нет, наверно, все дело в моем одиночестве. Я был бы счастлив, если бы к прекрасной обстановке добавили за те же деньги пианино; впрочем, можно проверять свои замыслы на кабинетном рояле в магазине музыкальных инструментов. Его владелец с большой косматой, как у хиппи, бородой, говорит по-английски. Мне всегда было трудно водить пустопорожние разговоры с незнакомыми людьми, поэтому я почти ни с кем, кроме него, не общался.

Сразу по приезде я запасся бутылкой "Джеймисона" и перед ужином пропускал глоточек. Но сегодня вечером, в память об утраченном Толстом и, возможно, еще кое о чем, позволил себе более щедрую порцию виски. Сидя на белом диване, я смотрел новости на эстонском языке. Да что такое "майолика" в нынешнем мире? На экране люди ползали по огромным бетонным плитам, вытаскивая из-под развалин покрытые слоем пыли тела — то ли произошло землетрясение, то ли взрыв газа, то ли теракт, не ясно. И где, тоже не понятно.

Сплошное страдание, слой за слоем.

На следующей передаче про композиции из сухих цветов, а может, о том, как справляться с горем (я терялся в догадках, потому что время от времени на экране возникали черно-белые снимки бледных женщин), меня сморил сон.

Наутро я решил после завтрака выяснить, что такое "майолика"; зашел в ближнюю книжную лавку и, открыв словарь, прочел: итальянская художественная керамика, покрытая не-

прозрачной глазурью; слово происходит от названия острова Майорка. К цветам никакого отношения не имеет. А вот "Анны Карениной" на английском в магазине не нашлось, — только на французском, немецком, эстонском и, само собой, на русском. Милли как-то сказала, что по-французски роман еще лучше, чем в английском переводе (она хорошо владеет французским), но такое чтение потребовало бы от меня немало сил. Вместо Толстого я купил сравнительно свежую биографию Генделя и третьеразрядный детектив — очень подходящее занятие на сон грядущий.

В квартире есть телефон, но я не звонил домой, потому что мы с Милли уговорились: звонить только в крайнем случае. А я, честно говоря, был не прочь поболтать с ней.

Либо позвоню, либо пойду в кафе за книгой.

Либо — что-что сделаешь?..

Официантка, та самая, подала мне кофе латте. Секунды три-четыре мы смотрели друг на друга. Мне страшно не хотелось выглядеть круглым дураком перед самим собой, не говоря уж об окружающих, и лишь потому, что я за границей.

Я несколько раз набрал домашний номер — никто не ответил; очевидно, Милли ушла. Оставлять сообщение я не стал.

В таком случае, решил я, схожу в кафе за "Анной Карениной"; когда я выходил из квартиры, зазвякал телефон.

— Привет! Что стряслось? Это ведь ты звонил?

Обожаю ее, подумал я. Даже голос ее обожаю. Его сложную звуковую структуру — шелковистую и одновременно чуточку шершавую.

— Я, я. Ничего важного, Милл. Просто захотелось поговорить.

— Ты там не скучаешь, а?

— Работаю, и все.

— Судя по голосу, ты хандришь, — посмеиваясь, сказала она.

— Что? Хандрю?

— Вот именно.

— Ничуть не хандрю, Милл. Просто меня раздражает, что ты говоришь, будто я хандрю, когда я вовсе не хандрю.

— Кстати, у меня все в порядке. — Повисло молчание: я пытался сообразить, куда она клонит. — Спасибо, что осведомился обо мне.

— Да я просто не успел спросить! — я почти сорвался на крик. — А ты думаешь, зачем я тебе звонил?

— Затем, что тебе одиноко.

— Не очень. Вообще-то я ни с кем словом не перемолвился уже дней пять; или около того.

— Как тебе Эстония? Клево?

— Обалденно. Нет, в самом деле хорошо.

Я снова вздохнул и тут же понял, что вздох мой можно истолковать как признак разочарования.

— Не хотела говорить до твоего возвращение, но у меня месячные запаздывают уже на три дня.

— На три?! Вот это да! — воскликнул я с чуть преувеличенным изумлением.

— Ну, три дня это не Бог весть как долго, но ты же знаешь, я люблю точность.

— Словом, есть надежда.

— Постучи по дереву.

— Я уже, гм, стучу, но тихонечко, чтобы не прогневить богов.

— Как там телки, Джек?

— Кто?

— Брось. *Что* все твердили перед твоим отъездом, помнишь? Эстонки — самые красивые девушки в Европе.

— Я этого что-то не заметил. Может, речь шла об украинках? Или о девицах с Балканского полуострова. Слушай, я поехал сюда, чтобы засесть за работу. Веду почти монашескую жизнь. Ввел в свое сочинение еще два сопрано, и главная тема теперь совсем не вытанцовывается. Я сейчас увлекся регулярным статическим строем и прочим музыкальным безумием.

— Джек, к чему эта абракадабра? Уши вянут. У тебя уникальная возможность, грех ее упускать.

— Ты имеешь в виду расслабон? Чего не будет, того не будет, — заверил я, скрывая досаду за добродушным смешком. — Все пройдет тихо-мирно, а если что — получишь полный отчет.

— Помнится, я это уже слыхала. Люблю, люблю. А сейчас надо бежать. У меня контракт с “Хилз”, они меня оседлали, черт бы их побрал, и погоняют.

— Крепко целую.

— Я тоже.

Любое музыкальное произведение перекликается с другими, порой даже твоими собственными. Кое-что используется заново, цитируется впрямую, вымаливается, пассажи берут взаймы, а то и попросту крадут. Тем не менее каждое произведение оказывается глубоко авторским, изредка даже незабываемым. Я сидел нахохлившись за массивным столом и смотрел в пространство; в пальто было невыносимо жарко.

Стало быть, жена забеременела; наконец-то. Впрочем, утверждать пока рано, считаные дни прошли, но все же...

Я должен бы прийти в восторг от этой новости, в задуманном мною произведении она должна бы претвориться в оду к радости: соло гобоя с выдержанным ударением в подголоске.

Я встал и подошел к открытому окну; холодный воздух нес облегчение. За шесть лет брака мы с Милли физически и духовно лучше узнали друг друга, чем кто-либо еще, включая и наших родителей. Я не представлял себе жизнь без Милли. Без ее уверенности в себе, без ее поддержки и ослепительной улыбки, без ее пылкого стремления работать на благо мира. Вся семья Дюкрейнов стала неотъемлемой частью моей жизни, буквально вошла в мою плоть и кровь вместе с их невероятным богатством — огромным домом в Хэмпшире и гигантским запущенным парком, вернее, лесом, в котором легко затеряться. Границы колоссального поместья обозначены лишь узенькой извилистой дорожкой, по которой почти никто не ездит; разве что какого-нибудь шального подростка занесет туда нелегкая.

Так в чем же дело? Из-за чего сыр-бор?

Вчера я заметил ее возле Доминиканского монастыря, она шла впереди: джинсы в обтяжку, осиная талия, водопад темно-золотых волос. Тревога оказалась ложной. Я как бы мысленно присвистнул от восхищения, вот и все. Здесь таких десятки. И я с головой ушел в работу.

Я и раньше изучал партитуры Пярта, но воздерживался от прослушивания дисков с его музыкой: мне больше нравилось, как она звучит в моей голове.

Пярт православный. А во что верует Джек Миддлтон?

Сам не знаю, во что я верую.

Так, может, своей пьесой ты метафизически бросаешь вызов мастеру?

Пожалуй, что да. Безыскусность Пярта чрезвычайно изощрена. Очень хороши, на мой взгляд, фотографии композитора на конвертах с его дисками — я захватил их с собой. Особенно впечатляет его окладистая борода, прямо как у Толстого. Сразу чувствуешь, что перед тобой подлинный эстонец, вобравший в себя боль и страдания родины. Потому его музыка и далека от безмятежности.

Твоя же музыка обычно погружает слушателей в созерцательное блаженство, а потом вдруг взрывает его диссонансами, какофонией.

Верно; наподобие врывающегося в храм низкого сброда. Однажды во время интервью журналист задал Пярту вопрос, в ответ композитор выплеснул на голову любопытного стакан воды.

Предупреждаю: снимать обручальное кольцо опасно. Вместе с кольцом можно и палец оторвать. В этом случае кольцо по-прежнему останется на вашем пальце. Мое — я имею в виду мое кольцо — слезло только после многократного намыливания, поливания водой и попыток сдернуть его силой. В конце концов, оно поддалось, оставив на пальце глубокую вмятину, словно по круглой деревяшке прошлись резцом.

Я аккуратно убрал кольцо в висевший на поясе кошелек. Наше с ним расставанье будет недолгим, заверил я себя.

Набычившись под встречным ветром, я шел по Ратушной площади, огибая сувенирные киоски и сторонясь бродящих между ними покупателей. *Да ты спятил. Видно, совсем с катушек сорвался*, – пробурчал я себе под нос.

Мы с Милли больше полутора лет пытались зачать ребенка. Теперь впору было славить Бога. Милли округлится, груди у нее нальются, она перестанет вечно куда-то спешить. А к концу срока будет ходить вразвалочку, как утка. После рождения ребенка я почувствую себя другим человеком и начну сочинять музыку, которую даже моя мать сможет слушать без зубовного скрежета. Наш высоченный дом в Ричмонде (слишком высокий, на мой вкус, но папаша Дюкрейн настоял на своем; если бы не самолеты, в доме царила бы идеальная тишина) придет в ужас от обилия пестрых пластмассовых игрушек, валяющихся на коврах и лестнице из настоящего красного дерева. Во всех комнатах будет нежно пахнуть детским лосьоном — как в больнице хлоркой. А еще — визг, вопли, необходимость отвлекаться от работы. На сей счет меня просветили сестра и друзья, которые раньше нас отправились в эту одиссею. Милли мечтает о шестерых. Тогда мы (по ее плану) переехали бы за город и с умилением смотрели, как наша шестерка, повизгивая, с упоением топочет ножками по шелковистой лужайке. Шесть неизбежных поводов отвлекаться от работы, причем каждый день.

— В Аксбридже[1], вот где хорошо бы растить детей, — с невозмутимым видом поддразнил я жену. — И в центр ездить очень удобно.

Как-то после Нового года мы забежали в паб "Плуг и лошади" и за кружкой пива стали обсуждать наше будущее. Тогда наша бездетность нас еще не сильно тревожила.

— Ты шутишь? — с неподдельным ужасом отозвалась Милли.

— А что? Я бы охотно поместил их в ту среду, в которой рос сам, — совершенно серьезно продолжал я. — Едва ли там что-то изменилось. Для детворы — самое оно.

1. Аксбридж — большой, давно обжитой район на северо-западе Большого Лондона.

— Ты же сызмала знал тот район. И всей душой его ненавидел.

— Взять хотя бы дальний пригород Аксбриджа. Там селились те, кто побогаче. И насмехались над жителями Хейса. А вот в Хейс я не вернулся бы ни за что. Там работает завод, производящий растворимый "Нескафе", и городишко насквозь провонял этой дрянью.

— Что ты несешь!? Жуть берет. Аксбридж — это полный отстой. И Хейс отстой. Сам мне говорил. Помню, мы с тобой только познакомились, и ты сказал, что ты родом из Хейса; я спросила, где это, а ты ответил: это опухоль в жопе у Аксбриджа.

— Шоссе A 4020. Я просто выпендривался.

— Черт возьми, Джек, это на тебя не похоже.

Уязвленный, я молча отхлебнул пива; она тем временем забавлялась новой игрушкой — мобильным телефоном. Звонила — и, конечно, опять по работе. Позже я спросил Милли, доводилось ли ей бывать в Аксбридже.

— Нет, но...

Я презрительно усмехнулся и кивнул.

— Ой, да всякий знает... — она раздраженно затрясла головой; лицо ее искривилось.

— Фу!.. Аксбридж! — снова поддразнил я ее. — Гадкая, противная дыра!

— Заткнись.

— Папуля, ты бы только видел!.. Они даже лошадей не держат!

— Теперь, может, и держат. И уж наверняка обзавелись этими жуткими полноприводными тачками. А еще там, небось, полным-полно прытких девиц, всех их зовут исключительно Амандами, и все как одна мечтают стать звездами.

— Вздернем их повыше, братья, — речитативом проговорил я, вскинув сжатый кулак.

На самом деле я сильно разозлился. Точно так же меня разобрало, когда на сольном концерте Арво Пярта Говард Давенпорт, альтист и мой лучший друг, наклонился ко мне и заметил: "Какая-то мистическая жвачка, верно, дружище?"

И вообще, зачем пять гобоев и три сопрано? Почему не обойтись одним гобоем, одним сопрано, тарелками и большим барабаном? И крошечным колокольчиком. Предельно просто. Чисто, ничего лишнего — как промытая балтийскими волнами и выброшенная на отмель деревяшка. Долгие, ничем не заполняемые паузы. Встретим новое тысячелетие в тишине.

Я медленно приближался к кафе; шагал по булыжникам с некоторой опаской, будто уже настала зима, и камни обледенели.

Задержки дыхания.

Знаки препинания тишины.

В центре зала три невероятно смешливые девочки лет пятнадцати-шестнадцати пили за столиком пепси и с увлечением осваивали возможности мобильного телефона. Даже здесь то же самое...

Я притворил за собой дверь, она негромко скрипнула, и девчонки подняли головы. Надеюсь, не решат, что я отстой, мелькнула мысль. Невысокий, коренастый (но ничуть не растолстевший, ничуть), с лохматой гривой все еще черных волос, одетый в бобриковое пальто, я — либо полный отстой, либо клевый. Девицы глянули друг на друга и снова прыснули со смеху. Делая вид, что ничего не замечаю, я окинул глазами зал и незаметно пригладил волосы. Порой они меня подводят. Одна прядь то и дело падает на лоб, приходится отбрасывать ее назад. "Челка Гитлера", дразнили меня одноклассники. Этого я никогда никому не спускал.

Ее нигде не видно. Все равно сердце у меня бешено забилось. Бритоголовый бармен протирает стаканы. Поймав мой взгляд, чуть заметно улыбнулся — как принято у степенных эстонцев, если они вообще решаются на улыбку.

— Гм, привет. Три дня назад я оставил тут книгу, не видели? "Анна Каренина" Толстого. Забыл. Книгу забыл, понимаете?

— Да-а. О'кей. Жди.

Видно, книжки здесь забывают частенько. Дело обычное.

В кафе сидят и другие посетители: пожилая пара в одинаковых оранжевых теплых куртках вдумчиво изучает туристскую карту, будто они пришли сюда пешком из Озерного края[1]; мужчина в просторном, как у Сартра, плаще читает "Монд"; унылая женщина с крашеными рыжими волосами, под глазами тяжелые, как у пьяницы, мешки. Музыку еще не включили. Бармен ушел на кухню, но слышно, как он разговаривает с девушкой, только голос у девушки другой. Я напустил на себя непринужденный, расслабленный вид и сразу почувствовал, что расслабилось у меня почти все, кроме губ — с такими губами в самый раз играть на трубе, здóрово получилось бы.

На стене за стойкой висит написанное по-английски предупреждение об угрозе "Проблемы 2000"[2]. Мысль о том, *что́* нас

1. Озерный край — национальный заповедник Англии, славится своей красотой.

2. "Проблема 2000" — опасения, что с наступлением 2000 года по техническим причинам произойдет всемирный компьютерный сбой; эти опасения не оправдались.

ждет через неполные три месяца, пугает меня. А девчонкам-хохотушкам, скорее всего, не больше тринадцати. Очевидно, она бросила работу в кафе. И навсегда растворилась в огромном шумном мире. То ли кто-то из веселой троицы что-то сказал, то ли мобильник выкинул штуку — девчонки вдруг покатились со смеху. Но смеются они явно не надо мной. Я облокотился на стойку и постарался принять вид зрелого, невозмутимого мужчины. В будущем — когда мне стукнет, скажем, сорок шесть — я наконец всерьез почувствую себя зрелым человеком; рано или поздно это непременно произойдет. Облачусь в длинное темное пальто и стану похож на директора оперы.

Появился бармен, с ним девушка, но не та; даже не взглянув на меня, они принялись шарить за стойкой. Потом девушка покачала головой и скорчила гримаску. Подбородок и нос у нее острые, темные волосы на макушке выкрашены в ярко-зеленый цвет — так на мостовой помечают место, куда вонзится пневматический бур.

— Извини, — сказал бармен. — Книги нет.

— Не беспокойтесь. Я сам виноват. Спасибо, что вошли в мое положение.

— Пардон?

— О'кей, все в порядке, — я успокаивающе замахал руками. — Кофе, однако, я бы выпил.

— Вам кофе?

— С молоком, пожалуйста.

— О-кей. Садись, если хочешь.

Я остался у стойки. Эта позиция казалась мне более выгодной. Дыхание почти наладилось. Претенциозный интерьер меня уже не раздражал. Лет десять назад классное кафе в Таллинне было большой редкостью: кругом было полным-полно русских, все вокруг, в том числе и мозги, казалось серо-бурым. Раз нет уродства, то нет и красоты; без тональности не бывает и диссонанса.

Возможно, у нее выходной. Не зайти ли завтра? Или спросить про нее у бармена. Набраться храбрости и спросить напрямик, без экивоков. *Может быть, книгу нашла и убрала куда-нибудь другая официантка? Знаете, светленькая такая, с рыжеватыми волосами? Она сегодня выходная, да?* — мысленно репетировал я свои расспросы. И точно знал, что зальюсь краской от кончика носа до самых ушей. А юные хиппачки будут на меня таращиться во все глаза, как голодные кошки.

Очень вероятно, что Милли, наконец, забеременела. Моя жена! Супружница моя! Из древнего нормандского рода Дюкрейнов. Женщина, которой я клялся быть верным, пока

смерть не разлучит нас. Не то чтобы я *жаждал*, чтобы нас венчали в церкви, тем более священник с тремя небритыми подбородками.

– Все о'кей? – встревоженно спросил бармен.

– Да, все отлично. Спасибо.

– Знаешь, жалием про книга.

– Ничего, не важно. Сегодня вы, значит, работаете только вдвоем. Не все официанты вышли, да?

– Что?

Тут я припомнил, что и тогда работали всего двое.

– Ничего, все отлично. Спасибо.

– О'кей. Музыка любишь?

– Я тишину люблю. Когда совсем тихо.

Девчонки снова дружно прыснули – будто я нажал на взрыватель. Бармен тем временем запустил музыку, на сей раз не ту, легкую, негромкую, а диско 80-х в стиле "хаус", даже еще более минималистскую. Я стараюсь быть в курсе новинок электронной музыки, и эта композиция была мне определенно знакома – контрабас и барабан сплетаются, обвивая друг друга, плюс леденяще медленное, с повторами, музыкальное развитие, от которого впадаешь в транс.

– Такой любишь?

– Да, я ее знаю. Погодите, сейчас вспомню. Это берлинская группа с французским названием.

Бармен был изрядно удивлен:

– Ну! Верно. "Isolée". Это новый. Классный, да?

И он немножко подергался под музыку.

– Отлично. Просто замечательно. Великолепно. А вам нравится французская группа с шотландским певцом и жутким названием? Вот, вспомнил, они называются "Телепопмьюзик".

Облокотившись на оцинкованный прилавок стойки, бармен сосредоточенно нахмурился:

– Не "Сен-Жермен"?

– Нет, не "Сен-Жермен". "Телепопмьюзик". Точно, проверьте сами.

Зазвонил телефон; плечом прижав трубку к уху и продолжая протирать стаканы, бармен залопотал по-эстонски.

Классный парень, подумал я. Да и я не сплоховал.

Кто-то – возможно, художник по интерьерам – нацарапал на стене: *Qui êtes vous? Personne. Moi non plus*[1]. Возможно,

1. Ты кто? Никто. И я тоже (*франц.*).

это цитата из стихотворения — одного из тех поэтов, чьи имена выгравированы на спинках стульев. А что, если мне сняться во французском фильме? — мелькнула шальная мысль. Сыграть типичного завсегдатая баров в какой-нибудь напряженной, мрачноватой французской картине, где ничего особенного не происходит, но все замешено на остром желании. Поначалу я собирался каждый вечер, отужинав в ресторане, ходить по таллиннским клубам, но на деле только бродил по городу до полного изнеможения. Не так-то просто отправиться в одиночку даже в клуб, если только ты не вознамерился кого-нибудь там *снять*. Однажды я все же заглянул в клуб: кругом все белым-бело, как в операционной, повсюду необъятные белые кожаные диваны и — ни души, только в самой середине зала двое чернокожих парней потягивали коктейли цвета разбавленной крови. После Англии очень непривычно бродить вечером в пятницу по городу, не опасаясь, что тебя изобьют до полусмерти.

Бармен положил передо мной два бумажных пакетика с сахаром:

— Я забывай это. Пардон. Ты нельзя на мне положить.

— Что-что?

— Нельзя на мне *положить*, — настойчиво втолковывал он, полагая, видимо, что я плохо владею английским.

Я закивал, словно ко мне только-только вернулся слух.

— На кого вообще можно положиться? Благодарю.

На самом деле, я уже допил кофе. От музыки "Isolée" голова моя пухла. Слова и стоны были сгруппированы по две доли; такой ритм звучал очень сексуально. Наверно, по задумке авторов слушать это полагается под кайфом.

— Всё хороший, — заметил бармен. — Сахар плохой.

— Да, пожалуй. *Нет, да, нехороший*, — с иронией добавил я. — Как выражаются у вас в Европе. Добро пожаловать в Европу.

— А?

— Приятно видеть, что ваша страна стала частью свободной Европы. В один прекрасный день войдете и в Европейский союз.

— Мы ждем видеть, — отозвался бармен, вытирая оцинкованный прилавок.

Ему было лет двадцать шесть — а подумать, так все семьсот. Мудрец, каких мало, ведь за ним — вся эстонская история. Его собственные детство и отрочество пришлись на мрачную эпоху.

— *Я* говорю это *тебе*, — вдруг заявил бармен, тыча в меня пальцем. — Добро пожаловать в свободный Европа! Понимал?

— Я только рад, — пристыженно усмехнулся я. — Да-да. Правда.

Обычно я замечаю афиши на *следующий* день после спектакля или концерта. Целую неделю я равнодушно ходил мимо газетного киоска, но эту все-таки углядел вовремя: вечером дают оперу Генделя "Акид и Галатея" в концертном исполнении. Ставят эту оперу редко, хотя во времена Генделя она была первостатейным хитом. Ансамбль любительский, догадался я; но иногда они бывают даже лучше профессионалов.

Оперу давали в большом белом храме, от моего дома до него рукой подать. В войну этот район разбомбило в пыль; потом груды щебня и фундаменты домов лишь обнесли шатким забором. Теперь же на этом месте красуется образчик советской безнравственности: видневшиеся прежде в земле контуры стоявших там некогда зданий теперь скрыты под густыми зарослями сорняков. В отреставрированной церкви Св. Николая устраиваются выставки и концерты; трудно сказать, была ли она официально экспроприирована государством.

Я рассчитывал прийти на концерт заранее, но немного припоздал; пришлось сесть в первом ряду, только там еще оставались свободные места. Некоторые исполнители бродили по залу и болтали, другие настраивали инструменты. Кроме флейт, всё — современного производства. В глубине, за ширмой, распевалась на высоких нотах сопрано. Вне сомнения, любительница, хотя голос уже поставлен, не режет варварски слух.

Появился запыхавшийся мужчина с хвостиком седых волос на затылке, поразительно похожий на того посетителя, что сидел на террасе кафе. Лицо его раскраснелось от бега. В руках он держал футляр, судя по форме, — с теорбой[1]. До начала оставалось пять минут, а на настройку теорбы уходит минут десять, не меньше. Усевшись точно напротив меня, оркестрант поставил между ног свой объемистый инструмент с нелепо длинным грифом и стал подтягивать струны. Это и впрямь оказался *тот самый посетитель*, с террасы "Майолики". Вот уж кого я никак не ожидал здесь увидеть. В памяти живо всплыло мое посещение кафе, я смутился. В "Майолике" я вел себя, как недоросль. Даже молокосос. Но после неудачной попытки найти забытую книгу (и еще раз увидеть ту девушку) я повзрослел. И твердо решил впредь держать себя в руках.

1. Теорба — разновидность лютни XVII в.

Можно было подумать, что “Акида и Галатею” исполняли специально ради меня: опера целиком посвящена безнадежной любви. В отпечатанную на ксероксе программку было вложено либретто на английском и даже краткое изложение эстонского вступления:

В нимфу Галатею, дочь нереиды, влюблен Полифем — гигант Циклоп с безобразным телом. Но Галатея любит юного пастуха Акида, сына бога Пана. Однажды, когда Галатея отдыхала на морском берегу, положив голову на грудь Акида, Полифем неожиданно напал на этих и в доступе ярости убил Акида, раздавив его под огромной скалой. Галатея, прибегнув к волшебным чарам, увековечила свой усопший любовник в фонтанном потоке неконча-ющемся.

Наконец, исполнители удалились, и наступила долгожданная тишина.

Из-за ширм вышел мужчина в синем костюме с шелковым шарфом на шее и вздыбленными, как у Бетховена, волосами. В его речи я разобрал только имена: Гендель, Акид, Полифем, Галатея, Овидий и арахис масло; впрочем, последнее было, скорее всего, лишь случайным созвучием слов. Раздались сдержанные аплодисменты, мужчина поклонился; публика хлопала дольше, чем принято в Англии, но меньше, чем в Германии. Как только появились исполнители, аплодисменты, почти затихшие, вспыхнули с новой силой; судя по мощному крещендо, в зале сидели друзья и родные артистов.

Я, однако, не хлопал. Мои ладони застыли в воздухе, я замер с невидимым мячом в руках и разинутым от удивления ртом, на верхней губе выступили капли пота. Рядом с теорбистом, прямо передо мной — наши колени разделяло футов шесть, не более, — усаживалась со скрипкой в руках официантка из кафе “Майолика”.

В итоге все произошло по вине музыканта, игравшего на теорбе. До определенного момента наши с ней глаза ни разу не встретились. Я упорно разглядывал других музыкантов и стоявших сзади певцов — и тех и других было по доброй дюжине. Когда же мой взгляд случайно падал на нее, она сосредоточенно смотрела в стоявшие на пюпитре ноты. Партия у нее и так несложная, но ее, вероятно, еще упростили — на мой взгляд, официантка играла примерно на уровне хорошей ученицы шестого класса музыкальной школы. В программке я нашел имена скрипачек: Каджа и Риина. Стало

быть, одна из двух. Почему-то имя Риина ей подходило больше. Имя Каджа вызывало у меня ассоциации со словом "кадка". Одета она была в черное платье с мягкими, свободно болтающимися манжетами, которое напоминало, к сожалению, одеяние ведьм.

На ее лице, сменяя друг друга, вспыхивали разные чувства, будто с него сняли верхний, маскирующий, слой. Оно походило на водную поверхность, которая под каплями дождя покрывается рябью, вмятинками и лунками. На нем попеременно отражалось все — радость, тревога, робость. Она сидела, чуть ссутулившись; в ярком свете прожекторов, смягченных парой желтых фильтров, ее высокие скулы блестели, напоминая что-то, но что именно, я вспомнить не мог, хотя сквозь музыку Генделя мне почудился некий вздох или дуновение — отдаленный и очень приятный звук.

Скрипка у нее чуточку потерта, как часто бывает со школьными инструментами. Ни малейшего признака, что она меня узнала. Да и с чего бы? Ей каждый день приходится обслуживать сотни посетителей. Я чувствовал себя четырнадцатилетним юнцом. Нет, старцем. Лет тридцати семи.

Чтобы отвлечься, я переключил внимание на прочих музыкантов. Виолончелист прямо-таки сошел с карикатуры Хоффнунга[1]: очень высокий, тощий, практически без подбородка, надо лбом торчит лохматый хохолок, пиджак болтается на узких плечах. Одна альтистка, играя, страшно пучила глаза и становилась невероятно похожей на Кеннета Уильямса[2]. Теорбист дергал головой в такт музыке, гриф его теорбы, подобно длинному носу корабля, разрезающего морские волны, двигался то вверх, то вниз над головой официантки. Арфист в волнении кусал губы. Певцы, мужчины и женщины самых разных форм и габаритов, для любителей оказались совсем не плохи. Тенор, исполнявший роль любовника Акида, был пузатым коротышкой, а певший партию Полифема бас — высоким блондином. У него были каучуковые губы; из-за этого фрагмент его арии, который начинается словами *Я свирепею... Таю... Я горю! Божок ничтожный сердце мне пронзил!*, сопровождался фонтаном слюнных брызг, сверкавших в свете прожекторов. Дородная Галатея пугала огромными зубами, зато пела почти дискантом.

1. Джерард Хоффнунг (1925–1959) — художник и музыкант; родился в Берлине, с 14 лет учился, жил и работал в Англии. Приобрел широкую известность своими юмористическими произведениями.
2. Кеннет Чарльз Уильямс (1926–1988) — популярный английский комический актер.

До той минуты я никогда не замечал, что женская спина невероятно похожа на скрипку: свет играл на плавных мускулистых изгибах полированного дерева, яркие ромбы скользили мимо осиной талии. Не могу понять, отчего скрипичные мастера предпочитают любому дереву ольху. Один изготовитель скрипок как-то объяснил, что ольха — дерево влаголюбивое, и поэтому, мол, когда он обтачивает детали скрипки, ему представляется речная излучина или взбухающая волна. Но у меня на уме было одно: нежная округлость голой плоти.

Хор временами напоминал домашнее любительское пение, английский превратился в тарабарщину, но от музыки Генделя голова моя совсем пошла кругом. Всё казалось золотистым, прекрасным, пронизанным тенями и образами допромышленной эпохи. Почему эта девушка не замечает меня? Страсть ничуть не изменилась с 1718 года. А то и с Золотого века, когда на Сицилии в пещерах Этны обитали циклопы.

Куда, прекрасная, ты рвешься?
Зачем в объятья не даешься?

На мой взгляд, ей чуть за двадцать. Надо надеяться, уже совершеннолетняя. Вдруг меня поразила мысль, что я не Акид, а Циклоп. Она по-прежнему избегала смотреть на слушателей, на меня. Глаза у нее были густо-зеленые. Нет, синие. Или даже серые. Может, бирюзовые? Такое бывает? Она уже не официантка, она скрипачка, скрипачка-любительница. Как будто это оправдывает мою тягу к ней.

О, знала ль ты любови страстной муки?
Акиду не снести с возлюбленной разлуки.

Странная тревога охватила меня — это адреналин, решил я, бьет в ноги, а потом вверх к сердцу, сминая его в жалкий комок, который годится только для мусорной корзины. Наверняка все, кто сидит сзади, за моей спиной — человек двести, а то и больше, — восторженно пялятся на нее. Или я один такой? Я завидовал всем мужчинам этого оркестрика: дирижеру, теорбисту, под руками которого гриф теорбы по-прежнему раскачивался, будто на океанских валах, в считаных дюймах от ее головы.

А он тем временем, позабыв обо всем на свете, увлеченно перебирал струны: наступил черед его соло. Отчаянно мотая конским хвостиком, он и не замечал, что в штормящем море длинный нос его корабля опускается к голове девушки, уже

совсем близко. Угрожающе близко. Того и гляди отправит ее в нокаут.

Она чуяла опасность. Испуганно вскидывая глаза, склонялась ниже и ниже, но все равно рисковала получить сильный удар. В уголке ее губ притаилась тень шаловливой улыбки, которая мне хорошо запомнилась со времени нашей встречи в кафе.

Я тоже улыбался, и она, очевидно, это заметила, потому что посмотрела на меня в упор, и наши глаза встретились.

Она отвела взгляд, но потом он вновь, словно из дальнего плавания, вернулся ко мне, я улыбнулся шире, она тоже, и мы вместе безмолвно потешались над этой забавной ситуацией: гриф теорбы все еще грозил размозжить ей голову. Потешались так, словно знакомы много лет. Я почувствовал, что краснею, и — о чудо! — она тоже вспыхнула (залилась рыжевато-багряной краской) и отвела глаза. Теорбист вдруг заметил опасность; продолжая перебирать струны, он высоко, точно корабельный нос на высокой волне, задрал гриф и отодвинул его от головы скрипачки.

Меня затопила радость. Но снова встретиться с ней глазами я не решался, опасаясь сгореть до тла. Пастух Дамон чуть дребезжащим голосом запел о любви, от которой одни неприятности, и точно — Акид был раздавлен в лепешку, Акида не стало, и зазвучал прелестный завершающий пассаж, настолько тихий, что можно было услышать шуршание смычкового волоса о струну.

А от Акида ей достается лишь его душа.

Больше она на меня не взглянула ни разу. После спектакля возле нее очутился взвинченный юный хмырь с тощей козлиной бороденкой. Я бесцельно слонялся среди еще не разошедшихся по домам зрителей, в полной уверенности, что она жалуется хмырю на меня — мол, этот тип сел в первом ряду только для того, чтобы на нее пялиться.

Потом она все же скользнула глазами в мою сторону, я кивнул и двинулся к ней, точно по рельсам.

— Замечательное исполнение. Скрипки были очень хороши, — начал я.

— Да-а? У меня — дерьмо, а не скрипка. Дешевка. Из музыкалки.

Она говорит на языке конца двадцатого века! Я был поражен, но продолжал нести чепуху:

— Слушайте, я знаю в Англии одного профессионального альтиста, у него есть несколько скрипок на продажу, очень приличных, и цена приемлемая. Человек хороший, надеж-

ный, не обманет. Живет на Эрлз-Корт, — ни к селу ни к городу добавил я.

— Ладно, буду иметь в виду, — сказала она, словно бы чуточку посмеиваясь над нашей беседой.

Обладатель козлиной бороденки разглядывал меня с откровенной неприязнью. Ясно же, что настоящая скрипка ей не по карману. Так что мою тираду вполне можно было принять за расчетливую попытку заманить девушку в свои сети.

Тем не менее я написал на краешке программки полное имя Говарда, его номер телефона и вручил ей. Она застенчиво усмехнулась — отчего сердце мое переполнилось счастьем, — и взяла программку.

— Вам моя книга, "Анна Каренина", случайно не попадалась? — спросил я, посреди фразы сглотнув комок в горле.

Она озадаченно нахмурилась. Видимо, не могла взять в толк, кто я и откуда. Подошли двое с болтавшимися чуть ли не до полу шарфами, она повернулась и с нескрываемой сердечностью поздоровалась с ними по-эстонски.

Чувствуя себя полным болваном и неприкаянным чужаком, я ретировался; по дороге зашел в китайский ресторанчик и в полном одиночестве перекусил возле огромного аквариума с меланхоличными золотыми рыбками.

Возьми себя в руки. Это же не кино. Это настоящая жизнь. А она у тебя одна.

Под бульканье воды и тихое жужжание приборов, поддерживающих жизнь за стеклом, золотые рыбки тянули ко мне рыльца, вокруг колыхались водоросли, пластиковая акула свирепо щерила алую пасть с несметным количеством острых белых зубов. Аквариум булькал, жужжал и вздыхал.

В кафе я разглядывал ее гладкие скулы под музыку "Саундз"[1] — вот откуда это наваждение.

Впервые я услышал альбом где-то году в 1966-м — еще совсем несмышленышем, мы жили тогда в Хейсе, графство Миддлсекс. Я играл под окнами родительского дома, на лужайке размером с носовой платок, но в семье ее величали "садом"; там стояли пластиковые стулья и росли декоративные кустики, обрамленные тщательно промытой галькой, которую наш кот упрямо считал туалетным наполнителем. Композиции "Саундз" запали мне в голову навсегда. Эти звуки не были похожи

1. "Саундз" (полное название "Пет саундз", т. е. любимые звуки) — 11-й альбом американской поп-рок-группы "The Beach Boys"; альбом оказал большое влияние на развитие музыки 1960-х гг.

на скрежет ручной газонокосилки соседа, на чириканье маминого транзистора, на завыванье реактивных самолетов, вылетавших из Хитроу, или на взрослые слова, которыми взрослые мальчики громко осыпали друг друга, петляя по нашему району на своих взрослых велосипедах. Эта музыка пришла издалека, из такого далека, что малыш — то есть я — задирал голову и, глядя на облака, дивился этим звукам.

Белые громады плыли по небу над Хейсом — над зеленной лавкой Данстена, над скобяной лавкой Дагли, над портновской мастерской Хепворта, над гудящими и клокочущими фабриками, — и я слушал музыку этих белых гор. Сидел, как приклеенный, на той лужайке, торчал, как пришитый, в том новеньком, недавно отстроенном образцовом жилом массиве под названием Эшли-Парк, где на тебя всегда глазеют в оба.

Конечно же, эта музыка нисходила с облаков. Звучала она на совершенно особой, секретной, частоте. И не имела никакого отношения к скулам какой-то девицы.

Позже, когда я научился читать ноты (буквально в считаные недели, хотя в прочих школьных предметах я был туп как пень), мне стали слышаться и другие звуки. Дорога, что вела в Эшли-Парк, упиралась в старомодный телефонный узел, к которому тянулась целая сеть проводов, на них охотно садились птицы — к примеру, жаворонки, — и я воспринимал их крошечные черные тельца как нотные знаки, как музыку. И она постоянно менялась. Так возникла пьеса “Не для латунных пташек”, я написал ее, когда мне было около десяти лет. Из моих произведений это, пожалуй, самое любимое.

На несколько дней я впал в хандру. Обручальное кольцо упорно не желало налезать обратно: что-то, видимо, произошло с суставом. Как только я не пытался втиснуть в него палец! Времени потратил уйму, и все напрасно. Очень похоже на то, как я работал над своим новым музыкальным сочинением — медленно, методично и с нулевым результатом.

Пару раз я совершал недолгие вылазки в центр города, один раз в зоопарк, другой — к огромной эстраде в виде раковины, что стоит на Певческом Поле; там началась Поющая революция. Подумать только — *Поющая* революция! Песни стали минами, подведенными под режим, и в конце концов его взорвали. Хор сотен и тысяч поющих людей. Бабах!

Поездка на троллейбусе вышла весьма занимательной. Покачиваясь и погромыхивая, троллейбус катил по мрачным окраинам, а я размышлял об угрюмых городах Северной Англии конца прошлого, девятнадцатого века. Билета у меня не

было, потому что я понятия не имел, как его купить. Где-то я читал, что каждый человек, чтобы не сойти с ума, должен ежедневно произносить некоторое количество слов. И тут до меня дошло, почему я разговариваю сам с собой. Я выполняю свою дневную норму.

В зоопарках у меня всегда возникает ощущение, что человеческий род на самом деле — это грубая ошибка природы. Я шел мимо животных с незнакомыми странными названиями; я об этих тварях отродясь не слыхал, никто о них не говорит, никто ими не восторгается, они напоминают расставленные на полке товары под вывеской "Полная распродажа". Остановившись перед клеткой снежного барса (я думал, в зоопарках снежных барсов нет, однако же вон он, огромный красавец, за кустами сохлого бамбука), я тут же представил, как стану целовать ее шею. Целовать ее нежную белую шею, когда мы на целый день уйдем бродить по городу.

Поодаль, через две клетки от меня, юная парочка самозабвенно обнималась-целовалась перед пятнистой гиеной. У меня подкашивались ноги; наверняка старина Циклоп испытывал на склонах Этны то же самое. Снежный барс поднялся и, неслышно ступая, двинулся к прутьям клетки. Ледяные высокогорные просторы со снежной поземкой и каменными плитами гнейса исчезли, как не бывало; барс смотрел на меня так, будто на столь близком расстоянии его глазам было трудно сфокусироваться. В глубине клетки крысы тянули в разные стороны большой шмат свежего мяса. Я мог бы еще разок заглянуть в кафе — просто чтобы проверить себя. Нет, они не тянут мясо, они его жрут. У меня на глазах оторвали и схавали половину леопардова обеда. Из клетки резко несло мочой, и эта вонь словно говорила: жизнь бессмысленна до смешного.

Невозможно отрицать, что все на земле пошло наперекосяк. Это факт. Зато можно стать выше этого факта и, глядя на него сверху вниз, утверждать, что все на земле пошло наперекосяк — и в том обретать утешение. Мне это представляется полифоническим хоралом, с примесью сивухи.

Клетка броненосца пустовала. Я купил открытку с его изображением и, присев в кафе зоопарка, написал Милли дурашливое послание.

На обратном пути народу в троллейбус набилось битком. Один папаша в... да, точно, в кожаной куртке — держал за руки двух девчушек. У обеих были густые очень светлые волосы. Одна прижимала к себе игрушечную мягкую собачку, другая, постарше, предпочла отцовскую руку. Вот оно, будущее Эстонии, да и всей земли! Стоя рядом, я чуял исходивший от папаши запах перегара; лицо опухшее, помятое, как у завзятого

пьянчуги, но он еще молод — примерно моего возраста — и не производит отталкивающего впечатления. Дочки, переполненные впечатлениями от увиденного в зоопарке (так я, во всяком случае, решил), радостно щебечут, и он слушает их с большим вниманием.

Те полчаса, что троллейбус катил обратно, покачиваясь на толстых, как у детских игрушек, шинах, девчушки не замолкали ни на минуту, и отец кивал головой едва ли не на каждое их слово. Малышки явно перевыполнили свою дневную словесную норму.

Я подошел к маленькому окошечку в перегородке, отделяющей кабину водителя от пассажирского салона, надеясь купить билет, но в ту минуту водитель — женщина с огромными медными серьгами-обручами в ушах — осторожно вела машину поперек шестиполосного, очень оживленного проспекта с бульваром посередине. Дело не простое: у троллейбуса мало возможностей для маневра. Я с трудом удерживал равновесие, поскольку стоял, прижавшись ухом к стеклянной перегородке и пытаясь разобрать, что кричит мне через плечо водитель, а ведь ей еще надо было откопать сдачу среди редкостно объемистых купюр, очень неудобных в обиходе. Советские власти выпускали их, скорее всего, не случайно, а с каким-то умыслом.

Быть может, моя музыка тоже умышленно трудна. Быть может, вся современная мало-мальски заслуживающая внимания музыка непременно требует от автора сохранять равновесие, когда он, прижавшись ухом к стеклу, ловит сигналы на чужом языке.

Я уступил место закаленной жизнью старушке в клетчатом платке. Она не улыбнулась в знак благодарности, даже когда я осклабился, глядя ей прямо в лицо. Ради чего улыбаться-то? Жизнь и история вышибли из нее эту глупую привычку. Зажав в зубах своего тряпичного пса, младшая из девочек во все глаза смотрела на меня.

И я мог бы жить так же, мелькнула мысль. Мог бы вернуться к исходной точке: существовать исключительно на собственные средства. Снова стать бедным, как церковная мышь. Чтобы прокормиться, пришлось бы сочинять музыку. И я бы воскрес.

Разумеется, если бы бросил Милли.

Я подмигнул девчушке и одарил ее широкой улыбкой. Она распахнула глаза, но не улыбнулась в ответ. Троллейбус вдруг сильно качнуло, и вместо поручня она ухватилась за мою ногу и несколько минут цепко держалась за штанину, но потом до нее дошло, что это не поручень. Маленькая ручка любви. Ее легонький нажим. Как, должно быть, замечательно быть ее отцом, подумалось мне.

У их настоящего отца-выпивохи, небось, совсем иное на уме: например, как заработать столько денег, чтобы водить дочек в зоопарк. Чтобы хватало на бутылку. И где их мама? Сам не знаю почему, я был твердо уверен, что жена в этой маленькой семье отсутствует. Я смотрел на людей в троллейбусе и чувствовал, как во мне поднимается теплая волна жалости. В лондонском общественном транспорте я никогда ничего подобного не испытывал.

Еще есть время начать жить заново. В киоске возле трамвайной остановки я купил коробку тонких сигар, сувенирную зажигалку и сел в Тоомпарке возле узкого озерца, под сенью замка. На одной стороне зажигалки красовалась надпись: *Таллинн, город удовольствий*, на противоположной — герб Таллинна. Запахнув пальто поплотнее, я выкурил три сигарки подряд. Хотя ветер улегся, и в небе показалось молочно-бледное солнце, осенний холод не отступал. Листья сыпались с деревьев равномерным потоком, будто их срывали с веток спрятавшиеся в кронах проказники-эльфы. Сначала я не мог опознать породу деревьев с серой корой, но потом решил, что это осины. Где-то в дальнем углу парка, недалеко от киоска и трамвайной остановки, чуть слышно стучали ударные — играла группа, которую мой отец назвал бы "наркотой". В шипастом "гóтском" снаряжении и майках на голых торсах, они выглядели изможденными мужчинами, брошенными своими девушками лет пятнадцать-двадцать назад; на самом деле они были совсем молоденькие, возможно, еще подростки. Я их немного побаивался: вдруг вздумают идти за мной? Кроме меня, в парке ни души.

Милли страшно раздражало, что я курю, и, когда мы сошлись, я очень скоро бросил. А теперь снова закурил. До чего здорово было сидеть одному в эстонском парке, кутаться в пальто и курить на ковре из золотых листьев. Почему-то почудилось, что лучше бы мне оказаться здесь до падения Берлинской стены, когда жизнь была трудна и опасна, а Запад — где-то очень далеко. Встречался бы тайком с композиторами — в грязных подвалах или на чердаках домов их родителей. На шпилях — антенны КГБ, в тайных комнатах неустанно крутятся магнитофонные катушки. Окна пыточных камер замурованы кирпичом. Из-за антирелигиозных предписаний Арво Пярт вынужден сменить название "Саре было девяносто лет" на "Модус". Вместо пьяных финнов — русские солдаты. Страна, похожая на смесь Олдершота и Уотфорда[1], только без магазинов.

1. Олдершот — небольшой город на юге Англии, там расположены военные лагеря. Уотфорд — живописный город на юго-востоке Англии.

Посасывая третью сигарку, я наблюдал за уткой: она то и дело опускала голову в воду, всякий раз отряхивала ее чуть не досуха и понятия не имела о смене режима в стране, о жестокости людей. Каждый — хозяин своей судьбы. В голове прокрутился еще один фильм, коротенький, вроде киноанонса. Я заказываю кофе. Хвалю ее английский, у нас завязывается разговор. Что потом? Пригласить ее выпить со мной рюмочку? Или поужинать? Поговорить о музыке? О скрипках? Рассказать ей про Генделя?

Я потряс головой, чтобы избавиться от наваждения. Наверно, подобные фантазии помогают держаться на плаву.

Моя будет подпитывать творчество. Жизнь пойдет своим чередом, спокойно и гладко, в любви к Милли и детям, сколько их нам ни подарит судьба. Я снял с языка налипший кусочек табачного листа. На душе стало хорошо. Во всяком случае лучше, чем прежде.

Черт возьми, нам *непременно* надо завести детей. Рука моя в кармане пальто безотчетно поглаживала член. Я вернусь домой переполненный спермой. Все дело только в психологии, главное — не тревожиться понапрасну. Эту гонку мы выиграем шутя.

На обратном пути я почувствовал запах гари. Между домами пробивался солнечный свет, в нем клубилась мгла. В горле запершило от мерзкого химического привкуса, забившего вкус табака.

Я свернул за угол; посреди улицы пылал массивный шкаф для хранения документов. Из полуоткрытых ящиков валил густой коричневый дым. Верхняя часть шкафа уже почернела, обгорелые бумаги свешивались из ящиков и валялись на булыжной мостовой. Какой-то человек поливал шкаф из шланга с душевой насадкой на конце. Шланг вился через улицу и уползал в окно небольшой конторы. Поливальщик охотно болтал с любопытными прохожими, которые, очевидно, даже не замечали едкого дыма, будто дышат им изо дня в день.

Я был сильно озадачен, но вопросы задавать не хотелось: от сигар и резкого запаха горло сильно саднило.

Надо возвращаться другой дорогой.

Для начала я сделал большой крюк по Ратаскаеву, потом, чтобы продышаться как следует, надумал побродить еще. Незаметно для себя свернул в незнакомый узкий, кривоватый, пропахший кошками переулок, тянущийся вдоль старинной стены; переулок неожиданно вывел меня на мощенную булыжником улицу. В первые мгновенья я ее не узнал, но вдруг увидел вывеску “Кафе Майолика”. И все вокруг разом сложилось в знакомую картинку, как в детстве стекляшки в игрушечном калейдоскопе.

Что-то тут не так. Ведь именно это место я хотел обойти стороной. Был уверен, что поднялся выше, где-то близ церкви Св. Олава. Конечно, мои познания о Таллинне очень скромны. Вообще говоря, старый центр города совсем невелик, и чем больше я его узнавал, тем больше он съеживался.

Кровь стучала в ушах, но не от физического напряжения. Нажимая на расшатанную ручку (дверь была подкупающе старомодная, во французском стиле), я сознавал, что делаю ошибку, сворачиваю не туда, куда надо. Но это даже возбуждало меня, потому что глубоко в душе я тем самым доказывал себе, что в действительности я свободнее, чем предполагал.

Не сказать, чтобы прежде я считал себя *несвободным*. В этом плане брак мало что изменил, даже притом что заключили мы свой союз в одной из стариннейших английских церквей, с древнесаксонским нефом и тисом времен Римской империи на церковном погосте. Свадьба была не рядовая, ведь ее устраивала не шушера какая-нибудь, а Дюкрейны, поэтому она — как бы поточнее выразиться? — *благоухала* богатством: гостей собралось человек пятьсот, среди них — цвет лондонского музыкального мира, сливки английской землевладельческой знати и банковского Сити. Мать невесты (славная старушка Марджори), указав на одного из приглашенных, шепнула мне, что он преодолел планку в три миллиона фунтов годового дохода, не считая премиальных. Гость, в визитке и полосатых брюках, выглядел совершенно счастливым.

— Недооценили его нюх, — добавила хлебнувшая лишку Марджори.

Ослепленные великолепием церемонии, мои родители съежились и сидели молча, не решаясь открыть рот. Потом мама вдрызг напилась и стала развлекаться от души — к большому смущению новобрачного, ведь мать у меня слепа (слепа по-настоящему, а не просто налила зенки). Пришлось просить слуг за ней присматривать, особенно возле прудов.

Если бы еще и погода была солнечная, то, по общему мнению, наша свадьба затмила бы своим блеском все когда-либо виданные бракосочетания. День, однако, выдался на редкость душный, окрестности под белесым небом были окутаны серой пеленой. Это напоминало пароварку; вдобавок невесть откуда взявшаяся мошкара облепляла все подряд, в том числе и гостей.

На фоне неоглядных угодий с просторными лужайками и по-осеннему медно-рыжими буковыми аллеями, ведущими к сложенному из серого камня хозяйскому дому, все собравшиеся походили на мелких жуликов. Дождь, правда, так и не

пошел, хотя одна сверхнервная дама в летающей тарелке вместо шляпы, едва выйдя из главного шатра, громогласно заявила, что ей на щеку упала большая капля, и окружающие тут же пристально воззрились на небеса.

— В пять часов — налет немецких “юнкерсов”! — крикнул кто-то. Не я.

Поскольку лужайки шли под уклон, несколько пузатых гостей, потеряв равновесие, буквально покатились по траве; впрочем, все они самостоятельно поднимались на ноги, хохоча над собственной неловкостью. Я видел это своими глазами. Я-то пьян не был.

К моему удивлению, из пятисот приглашенных в тот день лишь один расстался с жизнью — им оказался двадцатилетний родственник хозяев; после свадьбы он отправился в Лондон и всю ночь гулял по клубам. Дело кончилось тем, что на рассвете он захлебнулся собственной блевотиной на склоне Примроуз-хилл.

— Слава Богу, он нам *очень дальняя* родня, — заметила позже Марджори, моя новенькая теща, большая любительница горячительных напитков и бурного веселья.

Она стояла у стойки бара и разговаривала с каким-то пожилым типом, явно страдающим сколиозом. Мое лицо разом вспыхнуло, будто облепленное горячей салфеткой, но, если верить отражению в зеркале, это почти не было заметно.

Она меня не видела. Светлые волосы были стянуты на макушке розовой резинкой; сбоку это напоминало перевернутый кроной вниз осенний тополь, он чуть покачивался в такт разговору.

Я направился к прежнему столику, у окна. Та же музыка, тот же столик, но другое освещение, другой стул — с надписью *Рембо*. До чего же приятно. Вдобавок, я уже знаю, что она пиликает на скрипке, и зовут ее либо Риина, либо Каджа.

— Привет!

— Привет! — я дружески закивал ей. — Слушайте, вы замечательно играли на скрипке, правда-правда.

Она внимательно взглянула на меня, словно заметила впервые. В глазах блеснула искорка: все-таки узнала! Для нее ведь лица в зале как туманом окутаны, клиенты целыми днями только и делают, что заказывают еду, а она машинально принимает заказы.

— Спасибо, — отозвалась она. — Видно, плохо вы в этом разбираетесь.

— Почему вы так решили?

— Я *очень* на скрипке играю плохо.

— Тогда? Или вообще?

— А?

— Концерт был замечательный, — зачем-то повторил я.

Сдвинув брови, она глядела на меня, будто хотела понять, что я за птица.

— Кофе будете?

— Да, — я кивнул. — Все, как в тот раз.

Она была явно озадачена.

— Кофе с молоком, — смущенно пояснил я.

Она ушла, а я сидел, сгорая от неловкости, всю эту бурю диких чувств как рукой сняло. И из-за чего? Подумать только! Естественно, мне сразу вспомнилась первая встреча с Милли, — близко ничего похожего.

Это произошло в Саут-Банке[1]; в зале Перселл-Рум шел концерт современной музыки, и гвоздем программы было мое сочинение под названием “Место встреч № 2”. В перерыве я вышел на воздух и увидел девушку; она сидела в кафе, на столике перед ней были аккуратно, одна к одной, разложены программки. Вдоль щек висели длинные пружинки темных волос, а более располагающей улыбки я в жизни не видел. Прелесть что за девушка. Очарование я распознаю с первого взгляда. Но сам его лишен. Росту я невысокого, элегантно одеваться не умею и никогда не умел, волосы вечно растрепаны, но, увы, совсем не живописно. В моей внешности всегда есть какая-то незавершенность. А вот в Милли ощущается полная завершенность — как в первоклассной скрипке, которую мастер покрыл последним слоем лака. Но Милли родилась такой — ее отлакировали заранее. Когда наши тела тесно соприкасаются, я ощущаю эту особую гладкость и возбуждаюсь еще сильнее.

Официантка — Каджа или Риина — принесла мне кофе и предложила:

— Не хотите пирожное? Или что-нибудь пикантное? Селедку с ржаным хлебом? Может, булочку с говядиной и луком?

— Хорошо, давайте пирожное, — согласился я. — Звучит заманчиво.

Она взяла с соседнего столика меню и протянула мне.

— Неважно, принесите любое. На ваш вкус, — сказал я.

— Мне все нравятся.

— В таком случае выбирайте сами.

1. Саут-Банк — район Лондона на южном берегу Темзы, где расположены общественно-культурные заведения.

Она вздохнула, будто ей предстоял тяжкий труд.

— Тогда — кусок творожного торта, хорошо? Со взбитыми сливками? Или с миндалем и черникой?

— Замечательно! Любой. Особенно если это традиционный эстонский десерт. Пока что мне в Эстонии все нравится.

Она кивнула и, вытянув мой счет из-под блюдечка, что-то к нему приписала. В ту минуту, почудилось мне, я для нее почему-то перестал существовать. Наверно, она привыкла, что мужики в возрасте к ней клеятся, и наловчилась от них отбиваться.

Вскоре передо мной появился кусок творожного торта, увенчанного горкой сливок; эта горка напоминала кучку свежевыстиранного белья. Я решил прекратить заигрывание и как можно равнодушнее произнес:

— С виду очень аппетитно, спасибо.

— Он и правда вкусный, — сказала она. — Вам нужна ваша книга?

— Моя книга? Какая?

— Вы забыли свою книгу. Поэтому и вернулись.

— Но ее же не нашли.

— Потому что я унесла ее домой.

— А! — от смущения я замахал рукой. — Оставьте ее себе.

— Я унесла ее домой, чтобы починить. Из нее падало много страниц.

— Починить?..

— Клеем. У моего друга есть хороший клей. Он скульптор.

Я благодарно улыбнулся, а сердце мое покатилось куда-то во тьму. Значит, у нее есть парень... Небось, симпатичный, широкоплечий; расхаживает по студии в одной майке и обтесывает гранитные глыбы. А может, тот, с тощей козлиной бородкой?

— Хороший скульптор?

Она пожала плечами:

— Не знаю. Что такое хороший скульптор? По-моему, очень даже хороший. А пирожное вы лучше съешьте до меня.

Я хмыкнул и подтвердил — да, в самом деле лучше, а про себя подумал: *я бы охотно сначала съел тебя.* Но смолчал. Потешаться над английской речью иностранца — последнее дело, они же шуток не понимают. Однако есть пирожное в ее присутствии не хотелось, таким десертом неминуемо перепачкаешься.

— И что же он ваяет? — поинтересовался я, отделяя ложечкой кусочек с кремом.

— Акулы, — со вздохом ответила она. — Делает из мраморов.

— Из мраморов? Или из мрамора?

— О'кей, из мрамора. Только акулы. Он... э-э... ну, как это, камнем, знаете?...

— Шлифует? Пемзой?

— Нет, шершавым таким, на маленьком колесе...

— Полирует?..

— Да, *полирует*, пока они не заблестят жутко; выходит очень красиво, но он все равно очень несчастный от этого занятия; совсем одинокий в своей студии и не видит никакой смысл. Ни в чем. В акулах или чем там еще. Мрак, чернота.

— Может, хватит ему возиться с акулами? Может, перейти на что-то другое? — весело предложил я.

На самом деле я получал от нашей беседы огромное удовольствие; в жизни не испытывал подобного наслаждения. В кафе зашел еще какой-то посетитель и стал изучать меню. Бармен крикнул что-то по-эстонски. Она спокойно подняла руку. По всему было видно, что работа официантки ей надоела. Или же ей очень понравилось беседовать именно с этим клиентом. Нравилось упражняться в английском.

— Я говорила ему то же самое. Не в акулах его проблема. Сколько годов он тратил, чтобы акулы стали безупречные. У него просто обычный депрессант.

— Зато у него есть хороший клей.

— Да, я починила вашу книгу. Я знала, вы ее оставили, чтобы это подразумевать.

— Простите?

Свирепо поглядывая в нашу сторону, бармен уже обслуживал нового посетителя.

— Какой он жутко ленивый парень, — вполголоса произнесла она.

— Вас зовут Риина или Каджа?

Она не отвечала, явно озадаченная вопросом. Потом улыбнулась и назвала свое имя. Оказывается, я его неверно произнес: у меня оно рифмовалось со словом "раджа", то есть индийский принц, а у нее оно звучало, как Гея или вроде того. Сбитый с толку, я смутился, в голову лезло слово "каяк"[1].

— Риина играет скрипку лучше, — добавила она.

— Вы на самом деле эстонка?

— Да, с Хааремаа. Знаете Хааремаа?

— Гм, вообще-то нет.

Скрестив на груди руки, она посмотрела в окно. Под ярким солнцем булыжники стали похожи на имбирные пряники. Она повернулась ко мне:

— Это остров. Вам надо ехать туда.

1. Каяк — небольшая двухвесельная лодка, использующаяся народами, живущими по берегам Северного Ледовитого океана.

Да, я и сам понимал, что надо ехать, и я поеду — если она это имела в виду. Точно так же, впервые увидев Милли, я точно знал, что она станет моей женой. Пяти секунд хватило, чтобы это понять.

— Наверно, стоит съездить, — согласился я.

— Там правда классно, — заверила меня Кайя.

Похоже, английскому ее учил какой-нибудь американец.

— До 1994 года там была советская военная зона, понимаете? Совершенно закрыто. Вход запрещен. А нам без специальной визы в паспорт было запрещено уезжать.

Вытянув из заднего кармана сигарету, она, как киноактриса, зажала ее в эффектно вытянутых пухлых губах. Значит, она курит; я был одновременно рад и огорчен. Ощущение было такое, что мы болтаем с ней уже не первый год. Спереди по ее майке вилась надпись: *Планета Земля закрыта на реставрацию*, крупные буквы то карабкались круто вверх, то резко бежали вниз — прямо как американские горки. Мой взгляд непроизвольно то и дело возвращался к этой фразе. Я ничего не мог с собой поделать. Фраза была из тех, что нравятся Милли; досадно. Кайя хлопала себя по карманам в поисках зажигалки, и слова у нее на груди то взбухали, то сливались в кучки: *Плн Земл закрыт на рестрацию.* Я вытащил купленную утром сувенирную зажигалку и щелкнул.

— Шлух? — улыбаясь, спросил я. — Шлух?

— Что-что?

— Шлу-ух? — еще старательнее протянул я эстонское слово, мысленно рифмуя его со словом “пух”. И понимающе улыбнулся в знак того, что вполне сознаю смехотворность своей попытки говорить на ее языке (особенно тщетной по сравнению с ее американским английским). Открыв рот, она во все глаза смотрела на меня; сигарета тлела в ее руке. Вдруг я увидел, что другая ее рука медленно движется к моей физиономии. Движение было замедленным лишь в моем субъективном восприятии. Оплеуха, казалось, размозжила мне челюсть. К шоку, как ни странно, примешивалась уверенность, что это всего лишь шутка — хотя “шутка” почти сшибла меня со стула. Чашка кофе вместе с пирожным полетели на пол. Чашка ударилась о металлическую ножку соседнего столика и разбилась вдребезги, пирожное растеклось на полу в густую белую лужицу.

Сквозь звон в ушах и бешеные удары сердца я смутно чуял повисшую в зале мертвую тишину. Прикрыв рукой горящую щеку, я выпрямился. Бармен громко отчитывал Кайю — видимо, она убежала в кухню. Эстонские слова звучали отрывисто, резко. Кайя что-то кричала в ответ. Я еще не очухался от потрясения, на меня вдруг накатила тошнота. С трудом под-

нявшись со стула, я на неверных ногах двинулся к двери. Из носа потекла кровь, крупная алая капля плюхнулась мне на руку. Двадцать лет назад в Дареме, в облюбованном студентами кафе меня опрыскали газировкой из сифона: одетая в джинсу девица решила таким образом наказать меня за мой "шикарный" выговор (хотя учился я в заурядной государственной школе). Но она-то, хоть и вышла из среднего класса, состояла в Социалистической рабочей партии. Ее поведение было объяснимо. А тут я ничего не понимал. Разве только у девушки по имени Кайя с психикой не все в порядке.

Весь зал уставился на меня. Я и не глядя это чувствовал. Рука по-прежнему судорожно сжимала зажигалку. Я не расплатился за кофе и пирожное. И платить не собирался. Вошел бармен и открыл передо мной дверь.

— Мы здесь секс-бизнес не держим, — пробормотал он.

— Что-что?..

— Хочешь блуд, иди в сауна-двадцать четыре часа, — так же негромко буркнул он.

— Я же долько бредложил ей зажингалку, — прогнусил я.

— Чего?

— Долько ходел зажеджь ей сингареду. Джесдное злово.

Губы бармена насмешливо изогнулись:

— Ты хороший парень, да?

Я шмыгнул носом, но вкуса крови почему-то не почувствовал.

— Я составляю туристские путеводители и проверяю, куда стоит ходить, — без раздумий парировал я с такой же насмешливой интонацией. — Сотрудничаю с несколькими крупными английскими газетами. И пишу большую книгу с глянцевыми фотографиями.

В открытую дверь ворвался холодный воздух, у меня сразу заломило голову. Я подвигал челюстью. Перелома нет, но мягкие ткани щеки, похоже, разорваны. Меня ни разу в жизни не били по лицу, даже парни. Крикетным и футбольным мячом попадало, игрушечный медведь однажды расцарапал мне нос стеклянным глазом, но чтобы рукой, мужской или женской, — никогда. Теперь мы оба стояли на улице. Дверь сзади захлопнулась, отрезав осторожные косые взгляды посетителей. Я утер нос бумажным носовым платком. Захотелось вернуться в Лондон.

— Извини, к нам ходит всякая дрянь, много, — почти не разжимая губ, проговорил бармен; он закуривал сигарету, ловко прикрывая ладонью горящую спичку. — Дрянь люди. Каждый девушка — шлух. В Эстонии *не каждый* девушка —

шлух. Больше образования, чем у тебя. Только в книгу это не пиши. Андрес, это меня звать.

Он отшвырнул спичку и протянул мне руку, но я ее пожал не сразу: голова моя походила на глухую, темную каменную пещеру, в которой где-то далеко забрезжил огонек, но свет его шел очень долго. Кровь бросилась в осажденное болью лицо, оно вспыхнуло.

— Черт подери! — воскликнул я. — Не может быть. У меня котелок не варит. Я же думал, *шлух* значит вот что. — Я щелкнул зажигалкой. Ветер сразу задул пламя. — Это все таксист. Олев. Я сделал очень большой про-мах. — Для пущей ясности я даже заговорил с эстонским акцентом. — Ошибка. Сбой. Как в компьютере. Понимаешь? Какой же я остолоп!

В конце концов, Андрес опустил протянутую руку и нахмурился; пуссеты в его ноздрях поблескивали под лучами неяркого солнца. Не нос, а самый настоящий богомол. И вообще, хоть бармен с виду и продвинутый, на самом деле вряд ли он семи пядей во лбу, подумал я. Даже поверил моей брехне про путеводители. Зубы у меня ныли. Я отчаянно махал руками, объясняя недоразумение; как же это я не узнал такого знакомого слова и принял его за эстонское? Невероятно! Какой-то сбой в восприятии; скорее всего, вполне естественный.

Андрес вдруг расплылся в ухмылке:

— О'кей, я понимал, ага. *Tulemasin*. Не *шлух*, дерьмо, нет! Знаешь, что такое *шлух*?

У него *шлух* звучало так, будто что-то со свистом взмыло в небо или попало под лопасти вентилятора. Ничего общего с реальным словом. Все это походило на чересчур затянувшуюся шутку.

— Теперь знаю, — ответил я. — То же, что и в английском.

Андрес тряхнул коробок спичек:

— *Tuletikk*. — И указал пальцем на мою зажигалку: — *Tulemasin*.

Я повторил за ним эти слова.

— Да, теперь запомню. Спасибо.

— Эстонка, они бьют сильно. Только литовка, они бьют больше сильнее.

— В таком случае совсем не хочется, чтобы меня ударила литовка, — грустно заключил я; бармен расхохотался и обнял меня рукой за плечи. Я тоже засмеялся.

Пока мы с Андресом стояли на улице, мне стало гораздо лучше. Мы смеялись от души, точно старинные приятели. Прохожие настороженно поглядывали на нас и ускоряли шаг.

— Знаешь, она в спорте — класс, — попыхивая сигаретой, сказал Андрес. Он и мне предложил одну, но я отказался,

ткнув пальцем в ноющую челюсть. — Гимнастика. Чемпион гимнастики.

— Правда?

— Ага. Почему она такой крепкий, понял? Бам! — Андрес снова захохотал, и морщины волнами побежали по его бритой голове.

— Если бы я только знал! Чемпионка по гимнастике. Вот это да!

Сзади открылась дверь. Из кафе вышел посетитель, тощий малый лет двадцати с небольшим: узкие запястья, тонкая шея, одет в модную длинную желтую ветровку с капюшоном и кучей карманов на молнии.

— Извини, приятель, — обратился он к бармену. — Мне надо расплатиться, но никто не обслуживает. Я брал кока-колу и булку с мясом и луком.

Судя по выговору, парень был из Австралии или, может, из Новой Зеландии. Велосипедист, догадался я. Катит из Испании через Европу в Сибирь и обратно.

— Бесплатно, — сказал бармен и, затянувшись сигаретой, покосился на меня. — О'кей? Мне плевать.

— О'кей, приятель, лады, — разочарованно бросил австралиец и, повернувшись ко мне, сказал: — Гм, по-моему, в Эстонии проказничать — себе дороже.

— Не суй нос, куда не просят, блин! — не повернув головы, проворчал я.

— Да мне, вообще-то, до фонаря, — бросил австралиец и пружинистым шагом двинулся прочь.

Мне было тошно; глаза слезились. А вдруг глазные яблоки сместились от удара? Бывает такое? Кто-то сжал мне руку выше локтя. В доме напротив снова взвыла дрель.

— Слушай, я сейчас ей говорю, понимаешь? — предложил Андрес. — То, что ты на мне говоришь. Не то в другой раз — нож в сердце. Ага. После никто не ходит. И с твоей книгой — конец.

— Да, никто, кроме любителей кровавых видов спорта, — добавил я.

Меж тем мой нос кровить перестал. Андрес опять сжал мне руку выше локтя и, указывая на терраску, предложил:

— Садись. Пожалуйста.

И исчез за дверью кафе; я уселся за тот же столик, за которым несколько дней назад сидел теорбист. Теперь на терраске было не слишком холодно. Я потрогал щеку; она онемела, зато и боль заметно утихла. Все в точности как от удара футбольным мячом. Ну и в историю я вляпался. Меня так и подмывало удрать — рвануть вверх по симпатичному, мо-

щенному булыжником переулку. Итак, она чемпионка по гимнастике, значит, привыкла действовать решительно и напористо. Сначала бей, а уж потом задавай вопросы. Теперь, конечно, придется просить у нее извинения; очень досадно. Меня вообще не тянет с ней встречаться. А бармен-то всерьез поверил байке про путеводитель. Юмор — плохой путешественник, за кордоном он до людей не доходит, особенно если держится на интонации. Дрель в доме напротив смолкла.

Когда она вместе с Андресом вышла на терраску, я увидел у нее в руке потрепанную книгу — "Анна Каренина". Накинутая поверх футболки джинсовая куртка распахнута. Поддерживая девушку под локоть, Андрес вел ее к моему столику. Я поднялся со стула.

— Он уже объяснил?

Она кивнула. Лицо непроницаемое: то ли она мучительно стыдится происшедшего, то ли вконец разобижена.

— Послушайте, я вас ни в чем не виню, мне очень жаль, что все так вышло, — самым благожелательным тоном начал я. — Мы не поняли друг друга, это глупое недоразумение случилось по моей вине, чисто языковая ошибка. О, спасибо вам большое!

Я взял у нее из рук книгу. Ни единая страница не только не выпадала, но даже на миллиметр не выдавалась из среза. Впрочем, заметок моих тоже не было. Этот казус с нами обоими теперь уйдет в прошлое, подумал я.

— Ого, как здорово починили, — продолжал я, чувствуя, что челюсти вдруг свело болью. — Насчет щеки не беспокойтесь. Все в порядке. На моем веку мне много раз попадало железными гантелями по физиономии.

Андрес обернулся к Кайе:

— О'кей? — вопросительно произнес он. — Несколько минут. Будь друг.

Потом горячо зашептал что-то — наверняка про мой путеводитель — и исчез в глубине кафе; так директор школы оставляет своих повздоривших подопечных. Подопечные молча сели друг против друга и принялись разглядывать проржавевшую обшивку стола.

— Видимо, я не сильно преуспел в эстонском, — проронил я.

Боль немного притупилась, стала тошнотворно ноющей. Казалось, за щекой у меня взбухло целое глазированное яблоко, а вместо правой челюсти вырос огурец.

Теперь она смотрела мне прямо в глаза, в углу рта возникла складочка, но складочка эта не была предвестием улыбки. Я осознал, что еще не услышал от Кайи ни единого слова.

Она лишь оценивающе разглядывала меня, прикидывая, не сидит ли перед ней очередной заезжий враль. Глаза у нее потемнели, как залив в сумерки.

Внезапно припухлость в уголке рта чудесным образом превратилась в озарившую лицо улыбку, глаза заблестели. Не выдержав зрелища такой откровенной радости, я отвел взгляд, потом невольно опять посмотрел на нее. А она ни на миг не отвела внимательных глаз, будто вглядывалась в самую глубь моего сознания.

— Что ж, — наконец сказала она, — выходит, пора начинать вас учить.

Человеку свойственно меняться. Он решает свои проблемы, выбирая тот или иной путь, и каждое малюсенькое решение, подобно биологической клетке, способствует преобразованию всего организма.

Пусть все идет, как идет, решил я.

Хотя с самого начала знал, чем оно кончится. И, тем не менее, пустил все на самотек. В какой-то мере я был напуган, в груди трепыхалось множество шелковистых крылышек, бившихся о ребра клетки, вот я и пошел по пути наименьшего сопротивления.

Кайя не походила ни на кого из моих прежних знакомых. Правда, с самого детства в Хейсе жизнь моя текла легко и ровно, без трудностей и забот, под этаким передвижным куполом, где жила одна только музыка. И все же.

Кайя выросла в почти полной изоляции от остального мира, на небольшом, но стратегически важном острове, где основным занятием большинства людей было обслуживать ракеты, способные уничтожить весь мир. Кроме того, жители занимались сельским хозяйством, объясняла она, главным образом сообща, в колхозах, а также на своих небольших участках. Ее отец начал рядовым строителем, потом стал управляющим конторы, занимавшейся строительными материалами. И до получения Эстонией независимости он оставался одним из маленьких бюрократических зубчиков в шестеренках государственного механизма. А теперь он никто; свободен, но без гроша за душой.

— Вы представляете, что значит ничего не иметь?

— Гм, вообще-то, не представляю.

— Вы женаты? — спросила она. — Дети есть?

Я и сейчас поражаюсь тому хладнокровию, с каким солгал ей, решительно мотая головой. Помню, что большая прядь волос упала челкой на лоб до самых бровей. Я откинул ее назад. Возможно, я счел, что отвечаю на вопрос о де-

тях, а не о браке. Вот когда я обрадовался, что не сумел надеть снятое обручальное кольцо; впрочем, след от него был еще заметен.

— Пойду-ка я лучше работать, — сказала она. — А то Андрес сильно злится на меня из тумака вам.

— Я тоже злился.

Она впервые засмеялась. Под сильным порывом ветра брезент на доме через улицу вздулся, запарусил и с громким хлопком опал; по оттиснутому в углу, наподобие марки на гигантском конверте, логотипу — синей, в золотых звездах эмблеме Европейского союза — пробежала дрожь. Под коростой грязи, оставшейся еще с советских времен, соседний дом казался закутанным в мохнатую шкуру.

Ветер норовил откинуть обложку толстовского романа, и Кайя прикрыла книгу ладонью.

— Вы любите Каренина, бедного мужа?

За предыдущие попытки прочесть роман я не продвинулся дальше первых тридцати-сорока страниц. Я пожал плечами и наугад бросил:

— Изрядная зануда.

— А Вронского? — нахмурившись, спросила она.

— Так вы, стало быть, читали роман? — задал я встречный вопрос, судорожно пытаясь вспомнить, кто же такой этот Вронский. Студент? Не миновать мне однажды публично сесть в лужу, оттого что не прочел лучшего в мире романа. И вообще мало что читал.

Зато у меня абсолютный слух.

— Три раза, — кивнула она, — я его читала, да.

— Три?!

— А вы?

— Всего раз, когда мне было восемнадцать.

Я вдруг сообразил, что не сказал еще ни слова правды. Но стоит только начать врать, дальше все идет как по маслу. Автор путеводителей, поклонник Толстого, холостяк.

— Пора перечитать, поэтому я и захватил его с собой.

— Вронский похож на акулу. Очень белый, очень прямые зубы. Вы поэзию любите тоже?

— Люблю. Правда, читаю мало.

Из нагрудного кармана куртки она вытащила сложенный лист бумаги:

— Забыла это. Оно, видимо, важное. Похоже на проект большой бомбы.

Эта был мой нотный листок с музыкальными набросками. Но я вдруг сразу увидел, сколько в них лишнего, никчемного. И с чувством поблагодарил Кайю.

— Теперь запросто могу подорвать к чертям здание парламента. Раз плюнуть.

В дверь заглянул Андрес:

— Друг? Порядок?

Мы отлично подружились, сказал я; Андрес ответил тихим многозначительным смешком. Кайя обронила что-то по-эстонски, Андрес произнес в ответ несколько слов, махнул ей рукой и исчез.

— Он говорит, не торопиться.

— Славный парень

— Голова под кайф. Все время. Гашиш.

— Ничего себе!

— Вы здесь по делу или развлекаться?

При слове "развлекаться" я поспешно отвел глаза. Вытерев на удивление сухой лоб, я сказал:

— В поисках вдохновения. Я композитор.

— Композитор?

— Сочиняю современную музыку. Не попсу и не рок. Вот.

— А путеводитель?

— Нет. Наверно, Андрес меня неправильно понял. Это английская ирония.

— Или французская, — подхватила она. — Как у Вольтера. Вам нравится Вольтер?

— Ну, да. В общем, пишу я только музыку. Но вы ему про это не говорите.

Она медленно кивнула. По ее лицу было ясно, что она сильно заинтригована. При всем ее очевидном уме и образованности, этим своим признанием я разом повысил свои шансы. Если бы даже я назвался поэтом, и то не добился бы лучшего результата: это же происходило не в Англии, а в Эстонии. Что за игру я затеял? Моя жена только-только забеременела.

— *Почему* в нашей маленькой стране?

— Это британский проект к наступающему тысячелетию: в честь Новой Европы сообща сотворить большое музыкальное произведение, — объяснил я, а про себя подумал: как скучно, даже снисходительно это звучит. — По английскому композитору на страну. Мне досталась Эстония.

— Вы рады?

— По-моему, Эстония и эстонцы — сплошное очарование, — уверенно заявил я. Впрочем, мне еще только предстояло побывать в сельской глубинке, в густых лесах и на древних торфяных болотах. — Особенно когда они бьют тебе морду.

— Это для разнообразия, — объяснила Кайя. — Обычно бьют эстонцев, целых семьсот лет.

– Да, знаю. Но теперь этому конец.

– Пока что да, – заметила она. – Вы здесь ее будете играть?

– Мою пьесу? Нет. Она должна исполняться в так называемом "Куполе".

К моему удивлению, она слыхом не слыхала про "Купол".

– Это очень необычное сооружение, воздвигнутое в честь наступающего третьего тысячелетия, – как можно сдержаннее объяснил я, не желая уподобляться ярмарочному зазывале. – В захудалом районе Лондона на берегу Темзы построили махину в виде гигантской полусферы. Там предполагаются всевозможные интерактивные развлечения, например гигантское тело, внутри которого можно будет бродить, рассматривая внутренние органы, там будут выступать потрясающие воздушные гимнасты и прочие артисты. А наше общее произведение прозвучит на весьма торжественном концерте в честь открытия "Купола", съедутся важные персоны – королева, Тони Блэр, одним словом, "шишки". Плод наших усилий называется *Ветры Новой Европы*. Так что у меня непременно должен быть задействован хотя бы один *духовой* инструмент. Название выбирал не я, оно, по понятным причинам, уже доставило нам немало беспокойства.

Она озадаченно нахмурилась.

– Во всяком случае, задумано лихо, – поспешно продолжил я. – Вообще-то, будущее "Купола" сейчас под вопросом, но рано или поздно все образуется и будет классно. Участвовать в открытии – большая честь. А для меня это редкая возможность выступить перед такой большой аудиторией. Обычно на мои концерты приходит человек десять; пять из них – мои коллеги-композиторы, еще пятеро – музыковеды, ну и несколько злобных критиков впридачу.

– Получается больше десяти, – заметила она.

А я за последнюю минуту наговорил больше, чем за предыдущие девять дней, мелькнула мысль. Дело, видимо, в том, как она слушает: тихо и сосредоточенно, с едва заметным намеком на веселую усмешку. Но мне-то было ясно, что я нагородил много лишнего, особенно про себя. А она даже не спросила, как меня зовут, хотя другие на ее месте спросили бы обязательно, а услышав ответ, не сумели бы скрыть разочарования.

– А вы? Расскажите про себя, Кайя.

На следующее утро в моей квартире внезапно зазвонил стоявший на маленьком столике телефон. До того неожиданно, что я даже подскочил. Не вставая с дивана, взял трубку и с преувеличенной радостью воскликнул:

— Привет! Надо же! Что стряслось?
— Я думала, вдруг ты звонил.
— Мы же договорились, что звонить не будем.
— Так то было раньше. *До* хорошей новости.
— Ах, да, я не сообразил, — пробормотал я.

Рядом со мной на диване сидела Кайя, в одной комбинации, испещренной крошечными изображениями мишени. Я встал и с телефоном в руке предусмотрительно отошел в другой конец комнаты; там, сжавшись в комок, я стал почесывать голову — ни дать ни взять ученый муж или жертва мигрени. Меня снедало желание, чтобы жена исчезла, испарилась. И сам не мог поверить, что способен на столь низкие мысли и чувства.

— Короче, солнце мое, хорошая новость подтвердилась, — объявила Милли.
— Потрясающе!
— Ты меня слышишь?
— Конечно, — ответил я.
— Поздравлять будешь?
— Еще как. Фантастика.
— Что-то холодновато ты реагируешь.
— Да?
— Ты работаешь, что ли?
— Ага. Не волнуйся. Все идет прекрасно.

Я поднял глаза. Склонив голову набок, Кайя листала журнал про жизнь телезвезд, который оставил постояльцам хозяин квартиры. На обложке красовалась балтийская знаменитость в стрингах. Кайя явно старалась не прислушиваться к моему разговору. Она только что приняла душ. В тусклом свете ее кожа была ровно того же оттенка, что и мякоть разрезанного яблока, едва начавшая нежно коричневеть. Я влюбился в нее по уши. Ее маленькие груди формой напоминали колокольцы. Я отжал в нее семя, как отжимают сквозь марлю ягодную массу, — так Милли делает джем. Ощущение было именно выжимания, а не судорожного выпрыска, и длилось оно упоительно долго. Потом еще три раза, причем каждый немного отличался от предыдущих. Я был уже почти готов к пятому заходу.

Голос Милли в трубке прервал мои размышления:

— Не стану больше тебе мешать. Просто хотелось с тобой поделиться. Думала, тебе будет интересно.

— Рановато пока ликовать, — собрав в кулак всю свою волю, проговорил я; но само это напряжение неожиданно придало мне сил. С той минуты голос мой зазвучал вроде бы вполне искренне. — Вот о чем я думаю.

— И только?

— Наверно, стараюсь не давать воли надеждам. Чтобы не искушать судьбу.

— Что ты делаешь?

— Делаю? В каком смысле?

— Ну, когда не работаешь. Встречаешься с кучей элегантных красоток? Любуешься полураздетыми девицами в стрип-барах?

Я засмеялся, но мой голосовой аппарат вышел из повиновения и резко оборвал мой смех; едва не задохнувшись, я судорожно сглотнул, живо представляя себе, с какой ослепительной улыбкой Милли ведет этот шутливый разговор. Она любит меня. В трубке слышались негромкие стуки и потрескивание; это Милли расхаживает по дому, прижав телефон к плечу (голова у нее склонена набок под тем же углом, что у Кайи), и занимается обычными по выходным дням хозяйственными мелочами.

— Ну, хорошо, пора вернуться к работе, — выдавил я. — Тружусь не покладая рук. Дело вроде как движется. А у тебя?

— Не сказала бы.

— Досадно, — посочувствовал я, теребя пальцами кружевные нейлоновые занавески. В одной из них застрял высохший остов крошечной мушки.

— Не надо было мне звонить, отрывать тебя от работы, — покаянно сказала Милли; она мне явно поверила. — Мне это тоже важно. Лучше тебя во всей Англии нет. Целую в губы и далее везде. Особенно там, пониже. В постели всегда думаю о тебе.

— Да, я тоже. Пока-пока.

Я даже прощально скрючил пальцы. Затем опустил телефон и пожал плечами.

— Надеюсь, это не девушка твоя звонила из Англии? — спросила Кайя; мокрые прядки волос легли ей на плечи и руки, их острые кончики казались вытатуированными на коже шипами.

— Господи, конечно же, нет, — идиотски ухмыляясь, сказал я. — Это мама звонила.

Глава вторая

Десять лет назад, в 1990 году Милли сидела возле Перселл-Рум, веером разложив перед собой разнообразные программки; она еще слыхом не слыхала про Джека Миддлтона. Меня тогда это лишь позабавило, я ведь был гвоздем концертной программы. Именно в ту пору ей разбил сердце дружок по

имени Фируз — тихий, высоколобый интеллектуал, бежавший из Ирана. Она еще не успела оправиться от удара. Хотя мы с Милли быстро подружились, она противилась нашему сближению, во всяком случае, хотела сначала прийти в себя после потрясения.

Она решила годик отдохнуть, а уж потом поступать в Оксфорд — заниматься философией, политикой и экономикой. А для меня на этой девушке прямо-таки свет клином сошелся, другие не представляли никакого интереса; мой образ жизни изменился, стал почти целомудренным.

Я уехал в Гаагу, чтобы в Королевской консерватории изучить возможности использования компьютера в композиции. Увы, докторскую диссертацию по творчеству Корнелиуса Кардью[1] я так и не завершил. На время — к счастью, недолгое — я стал завсегдатаем ночных клубов, где играли настоящий джаз, подсел на гашиш и кокаин. Кончилось тем, что как-то ночью меня нашли у одного из амстердамских каналов: я ждал, что посреди психоделических бликов света из воды восстанет Закон Господень и в чистоте своей объемлет меня, рыдающего, целиком, без остатка. Словом, я был на волосок от смерти.

Три года спустя я вернулся в Лондон и через несколько месяцев выступил с концертом; после него на светском приеме в саду мы с Милли встретились снова. Но к тому времени я уже был, по словам одного рецензента, “самым многообещающим молодым композитором в Англии”.

Милли окончила Оксфорд почти с отличием и, сняв вместе с какой-то подружкой дом в Килбёрне[2], включилась в борьбу за права палестинцев. Несмотря на свои политические взгляды, на прием она явилась в длинном искрящемся платье, в ушах блестели гигантские серьги, а шею обвивал толстый золотой обруч в форме змеи. “Настоящая Клеопатра”, — заметно прибалдев от выпитого “пиммза”, восхищенно сказал я ей. Милли откровенно обрадовалась нашей встрече; казалось, у нее прямо-таки камень с души свалился, будто я воевал где-то на передовой. Она только что пережила крах романа с палестинцем по имени Салим, напыщенным кинорежиссером сорока с чем-то лет — тот успел ей изменить, — и теперь бесцельно плыла по течению.

К тому времени я оставил всякую надежду завести с ней серьезные отношения, поэтому, оказавшись той же ночью в

1. Корнелиус Кардью (1936–1981) — английский композитор-авангардист.
2. Килбёрн — район в северной части Лондона.

своей убогой комнатенке, на собственной постели, абсолютно голый — по ее недвусмысленному распоряжению, — и дрожащий от нетерпения, я поверить не мог, что это не сон. Милли прочитала мне небольшую шутливую лекцию о пользе для мужчины сексуального воздержания, после чего последовала моему примеру, то есть с пьяной неуклюжестью стянула с себя все, кроме драгоценностей. Несмотря на выпитый "пиммз", я забрызгал ее спермой до самого подбородка (презерватива под рукой не было, поэтому я кончил не в нее); мой фонтан ее сильно впечатлил. Я же дивился тому, что еще не лопнул от наслаждения, глядя на ее желтовато-медовое обнаженное тело и чувствуя, как снуют по моей коже ее проворные пальцы; во мне взрывались фейерверки, подобные тем, что давным-давно волшебно озаряли небо Хейса в ночь Гая Фокса[1].

Когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, я взял в городской библиотеке роман Николаса Монсаррата[2] со слащавой картинкой на обложке; действие происходило в Индии восемнадцатого века, а главной героиней была пылкая длиннорукая и длинноногая принцесса неземной красоты. Я пытался вообразить свой первый поцелуй. Он оказался и близко не похож на настоящий, случившийся вскоре на вечеринке: во время игры я в темноте ухитрился зубами расцарапать девочке щеку. И на первый "французский" поцелуй он тоже не походил: кончился семестр, и мы с девчонкой на радостях тискались в темноте, я совал ей в рот язык, но мы только обслюнявили друг друга. Совсем другим оказался и первый удачный поцелуй. Вместе с оркестром молодых музыкантов я поехал в Бельгию, где мне преподала предметный урок плоскогрудая тридцатидвухлетняя кларнетистка по имени Мари-Франс, она же лишила меня девственности в гостиничном номере (правда, из-за нервного напряжения я проявил полную несостоятельность). И уж конечно, совсем далеки были мои мечты от первого поцелуя с Милли, отчасти потому, что я отлично сознавал, что воплощаю собой для нее образ белого юноши из рабочей семьи, добившегося реального успеха, а с таким экземпляром она, видимо, еще ни разу не спала. Я не стал ей говорить, что не считаю себя выходцем из рабочего класса или типичным жителем района муниципальной застройки, хотя до моего восемнадцатилетия все это было абсолютно верно.

1. Ночь Гая Фокса — вечер 5 ноября, когда по традиции фейерверками и сожжением чучела Гая Фокса отмечается раскрытие "Порохового заговора" 1605 г.
2. Николас Монсаррат (1910—1979) — популярный английский беллетрист.

И вдруг — Кайя.

Первый наш поцелуй оказался ближе всего к тому, который я много лет назад совсем зеленым юнцом воображал себе в Хейсе, читая роман Монсаррата в своей детской спальне, оклеенной обоями с изображением игрушечных железных дорог (тут нужно добавить, что заполучить игрушечную железную дорогу мне так и не удалось — только на обоях).

Поцеловались мы часов через пять после того, как она отвесила мне оплеуху. Так нередко бывает. Мы сидели на террасе кафе, сердце мое готово было выскочить из груди. Поведав ей про пьесу к открытию "Купола Тысячелетия", я стал сосредоточенно слушать ее рассказ о планах изучать английский и русский языки в Тартуском университете, когда она скопит достаточно денег, чтобы снять комнатку. После чего Кайя вернулась в кафе дорабатывать оставшиеся до конца смены два часа.

Когда она встала из-за стола, я не без душевного трепета предложил:

— Давайте продолжим разговор. Гм, знаете, мне бы хотелось пригласить вас поужинать со мной — в качестве извинения.

Она кивнула и уточнила:

— В качестве извинения?

— Да, за мою промашку.

— И за мою тоже. Посмотрите на свой глаз. Вокруг все посинело и пожелтело, похоже на птичье крыло. — И продекламировала на эстонском, а на самом деле, как позже выяснилось, на русском, несколько строк Анны Ахматовой, которые тут же перевела на английский: "Тяжелы плиты, которые давят на твои бессонные глаза"[1].

— О, я-то сплю прекрасно, — не зная, как на это реагировать, брякнул я. До той поры ни одна девушка мне стихов не читала, во всяком случае так, будто бросала мне хрустальный шарик, надеясь, что я его поймаю и включусь в игру.

— Значит, дело не во сне.

— Возможно, и не в нем. Так как же насчет ужина? Я — целиком за. Совместный ужин в знак дружбы. Примирения Старой и Новой Европы.

— Вы не такой уж старый, правда?

— Мне за тридцать. Сколько именно — неважно. А вам?

— Двадцать шесть.

1. Имеются в виду строки: "Тяжелы надгробные плиты на бессонных очах твоих". Анна Ахматова "Поэма без героя".

У меня от изумления брови взлетели на лоб. Она облокотилась на деревянные перила террасы.

— Да, знаю, на вид восемнадцать. Это из-за спорта.

— Благодаря гимнастике?

— Ага. Нам давали таблетки, сдерживающие физическое развитие. Тренер из Восточной Германии. Теперь многие мои друзья болеют. Особенно пловцы. Они глотали пилюли, ускоряющие рост мышц. А теперь в результате — рак. Дети с отклонениями, с увечьями. Или выкидыши. Или вообще этих чертовых детей родить не могут.

Я кивнул, стараясь не думать о Милли и *наших с ней* чертовых детях.

— Как же, отлично помню советских тяжелоатлеток и пловчих. Женщины величиной с дом, с гигантскими бицепсами. Завоевывали все медали подряд. А вы их тоже получали?

Она рассмеялась.

— Чемпионкой я так и не стала. Но в двенадцать лет заняла втрое место по опорным прыжкам среди спортсменок из прибалтийских республик. Что такое опорный прыжок, знаете? Это когда прыгаешь через коня, широко расставив ноги — как ножницы.

— А, эстонская Ольга Корбут, — с восхищением вставил я, а про себя подивился, с какой готовностью люди распахивают душу, стоит только их немного расспросить. Чудно́.

— Что вы, это мне и во сне не снилось. — Она покачала головой. — Да и с чего мне было стать такой, как она? Я же с Хааремаа.

Я мысленно, словно в замедленной съемке, представил себе, как она прыгает через гимнастического коня, широко, почти в шпагате раскинув ноги. Вот откуда у нее свобода и грация движений, редкостная пластичность, вот почему ее запястья изгибаются, как у индийской танцовщицы. Впрочем, если честно, я был бы не менее счастлив, если бы она оказалась чемпионкой по ирландской чечетке в деревянных сабо.

Как было условлено, мы встретились в ресторане африканской кухни, притулившемся под сенью старой городской стены. Ресторан новенький, с иголочки, и очень стильный: низкие столы и банкетки, хорошая западноафриканская музыка. Один из поваров, здоровенный нигериец, оказался приятелем Кайи; он дружески подмигнул мне, и на душе у меня потеплело.

Кайя пришла в длинном платье, надушенная, и выглядела очень соблазнительно. Я не сводил с нее зачарованных глаз и думал: вот он, рай.

Мы еще ни разу не коснулись друг друга, за исключением оплеухи в кафе. Онемевшая щека не совсем отошла — как бывает после анестезии у зубного врача, но Кайа заверила меня, что со стороны ничего не заметно. Синяк под глазом явно решил еще больше разнообразить палитру красок и теперь походил на живописное небо в бурю. Это сравнение Кайи, не мое. Позже она отлучилась в дамскую комнату, а я, рассеянно оглядывая зал, заметил на стоявшем рядом резном буфете крапчатую раковину каури и в ту же минуту понял, что́ именно напоминают мне ее скулы. Тот же мягкий блеск, полукруглый изгиб, невиданное прежде чудо. Я заранее знал, какие они на ощупь, если провести по ним пальцами. Или губами. Две теплые раковины каури.

За ужином мы разговорились; наши слова смыкались мгновенно и без зазора, будто выточенные по чертежам швейцарских инженеров. Потом мы вышли на поросший травой склон у стены. Уже совсем стемнело, но похолодало не сильно. Скопления огней в предместьях Таллинна перемежались пятнами густой тьмы — скорее всего, там были водоемы или леса. Мы стояли рядом, нас разделял слой воздуха толщиной в пару дюймов. На самом деле то был не воздух — то была схватка электрических зарядов, феромонов, крошечных озорных ангелочков. Нельзя было упускать такой момент.

Последний, самый созидательный шаг — это всегда рывок (вперед), безрассудный, решающий.

Моя рука непроизвольно взлетела вверх, ладонь легла сзади на плечо Кайи. Такое бывает, и сам даже не понимаешь, с чего все началось. Я изменяю жене, мелькнула мысль. Рука заныла, но я ее не убрал. А Кайя уже прислонилась ко мне. Вплотную, бок о бок. Сквозь ее тонкое пальто я ощущал живительное тепло и покой ее тела. Голова ее тихо опустилась мне на плечо.

— Я совершенно счастлив, — вырвалось у меня.

— Как твой глаз?

— Тоже счастлив.

— Когда мне было семь лет, бабушка пыталась меня убить, — негромко проронила она.

— Правда?

Но эта новость просто дополнила общую картину. Все в порядке.

— Правда. По пьяной лавочке. Жизнь у нее была несладкая. Сначала она дала мне в глаз, потом схватила тяжеленную сковороду. Хорошо, что отец ее удержал, не то она разбила бы сковороду об мою головенку. Бабушку отправили в сумасшедший дом, там она и умерла. А синяк у меня был такой же, как у тебя.

Я шеей чувствовал, как вибрирует ее голос.

— Какой ужас! А почему она на тебя напала?

— Может, я напоминала ей о том, что́ она потеряла навсегда.

Кайя повернула голову, я приблизил к ней лицо, тут он и случился — поцелуй, который я воображал себе в двенадцать лет. Роскошный, шелковистый, чуточку клейкий поцелуй (после ужина нам принесли комплимент от заведения — похожие на пальчики медовые печеньица), в котором мои тонкие губы слились воедино с ее пухлыми чувственными губами.

Это длилось очень долго. Моя слегка еще саднившая щека отзывалась на ее резкие выдохи через нос. Сквозь окутавшую меня пышными фалдами нежную пелену счастья вдруг пробилась тревожная мысль: я старше ее на одиннадцать лет. Ничего страшного. Во всяком случае, в дочери она мне никак не годится.

Я поцеловал ее скулы, сначала одну, потом другую.

— Они похожи на ракушки каури, — произнес я давно отрепетированную фразу.

— На что? На ушки карри?

— На раковины каури. Это очень красивые раковины. В ресторане была одна такая.

Она не ответила. Наверно, мне лучше заткнуться.

Мы шли медленно — голова Кайи по-прежнему лежала у меня на плече, — выбирая тихие темные переулки, и так добрели до парка, раскинувшегося у подножия замка. По черной воде с шумом сновали утки, их лощеные спинки то и дело вспыхивали в свете ночных фонарей.

— Мне кажется, ничего подобного со мной еще ни разу не случалось, — проговорила она.

— А как же твой дружок?

— Я его бросила. Прямо *сейчас.*

— Ну и хорошо.

Признаюсь, на миг меня охватила паника. Это уже серьезно, *очень* серьезно.

— Мне кажется, мы знали друг друга еще в прошлой жизни, — продолжала она. — Незнакомого человека я бы ни за что не ударила, понимаешь? Да так сильно. И не почувствовала бы то, что чувствую сейчас.

— Возможно. А возможно, и наоборот.

— Ты веришь в прошлую жизнь, и не одну?

— Вообще-то, нет, — соврал я (ведь в глубине души я верил, да и теперь верю). — Таскать в себе груз прошлого страдания — вот ужас-то. И знать, что все повторится снова и снова. Рождение, боль, смерть.

— Поцелуи. Влюбленность. Шоколад.

Я уткнулся носом в ее волосы; после рабочей смены, а может, после ужина в ресторане от них шел слабый запах лука, кофе и сигаретного дыма. Странно, что она не помыла голову. Шелковистые волосы кажутся особенно мягкими по сравнению с жестким черепом. Мы брели где-то ниже замка, вероятно, недалеко от того места, где в прошлой жизни я курил тонкие сигары.

— Не спорю, это совсем неплохо, такое я согласен повторять без конца.

В тусклом, глухом закоулке моей души копошилась тревога: вдруг та свора го́тов все еще тут? Но, похоже, они куда-то делись. Деревья шелестели темной листвой. Высоко над нами вздымалась красиво, но в меру подсвеченная каменная башня. Счастье буквально распирало мою грудную клетку. Все это пригодится в музыке, подумал я. Для того и происходит. Мимо нас, напевая себе под нос, прошел одинокий бородатый пьянчуга. Мне сначала показалось, что он поет по-русски, потом почудилось, что на североанглийском диалекте.

— Слушай, мы даже не знаем, как нас с тобой зовут, — сказал я.

— Кайя. Джек.

— Я имею в виду наши фамилии.

— Оставим все как есть, — сказала она. — Фамилии только осложнят дело.

Мы оба рассмеялись. Так даже эротичней, с удивлением понял я.

— Отлично, оставим. Не зайти ли нам, гм, ко мне — пропустить по глоточку, а, Кайя?

Она не ответила, лишь прижалась еще теснее. Вскоре я стал мечтать о мгновенной телепортации в квартиру: близость ее тела и мое по-животному примитивное нетерпение стали, честно говоря, сильно затруднять ходьбу.

На самом деле прямиком в квартиру мы не отправились, а зашли на полчасика в подземный бар послушать, как иссохший парень с длинными обесцвеченными волосами поет песни “Лед Зеппелин”, “Прокол Харум” и “Линирд Скинирд” под драм-машину и подклеенную скотчем электрогитару. Трудно поверить, но в баре никого кроме нас не было. Когда мы шли мимо, я еще заметил название: “Рок-пещера”, и Кайя предложила:

— Здесь живая музыка. Давай зайдем.

Я взял ее за руку, и мы спустились по узкой лестнице, мимо наклеенных на стены постеров с портретами рок-звезд; мне показалось, что я погружаюсь в свое прошлое.

К этой задержке я отнесся спокойно; Кайе было заметно неловко, что она согласилась пойти прямиком ко мне. Меня тоже мучили подозрения: не подмешали ли нам в африканское рагу какой-то серьезный галлюциноген замедленного действия?

Массивные опоры, подпиравшие свод, скрадывали размеры зала и заодно его абсолютную пустоту, хотя на каждом столике уже горел ночничок. Певец помахал нам посреди песни, лицо его выразило такое облегчение, что мы поняли: надо остаться. Занятно. И забавно. Худой, болезненного вида официант подал нам по кружке пива. Я тихонько подпевал самым известным песням, а Кайя их не знала — она же росла на советском острове, двойной стеной отгороженном от мира.

Мы сидели, прижавшись друг к другу, и я подумал: а ведь поет-то он только для нас. Вот она, настоящая жизнь. И какая! Лучше не бывает.

Бар наверняка не понравился бы Милли, подумал я и тут же выбросил жену из головы. Это оказалось легче легкого. Словно застегнуть молнию над лицом уложенного в мешок трупа.

Мы были знакомы уже три дня. К началу второго дня мы лежали в постели рядышком, наслаждаясь теплом и уютом. По дороге я купил пачку презервативов под названием “Надежный”.

Весь последний год мы с Милли пытались зачать ребенка с непосредственностью и пылом двух начиненных электроникой кукол. Само собой разумеется, что Кайе я об этом не обмолвился ни словом, и она по-прежнему считала меня холостяком. Она рассказала, что до Хейно (того скульптора, что специализируется по акулам и, видимо, еще не заметил, что она ему не звонит) она спала с несколькими мужчинами — для наглядности она подняла одну руку с растопыренными пальцами, — и происходило это вот сколько раз — она подняла обе руки с растопыренными пальцами. Я не понял, какое число она имела в виду — десять или пятьдесят, — но уточнять не стал.

В последние дни советской империи она, пятнадцатилетняя девушка, поехала в молодежный лагерь, которым руководил вечно пьяный литовец; однажды она пошла со сверстником за водой, и возле затянутого мелкоячеистой сеткой забора он тихо и вежливо попросил ее сделать ему минет. От посторонних глаз их загораживала лесополоса. Он был внуком члена какого-то комитета при Верховном Совете Эстонии. Занятие это ей решительно не понравилось. В других случаях впечатления были лучше, но только с Хейно все решительно переменилось, и она каждый раз с нетерпением

ждала встречи. Правда, потом Хейно впал в депрессию, и ему стало совсем не до любви.

— Я думала, дело в пилюлях, которыми меня пичкали на гимнастике, — сказала Кайя. — Наверно, я отставала в развитии. Гормонов не хватало. Не знаю...

Я изумленно покачал головой. Мы лежали в постели, я сверху. Часы показывали одиннадцать часов утра. Я все еще был в ней, хотя член мой обмяк и съежился до размеров грецкого ореха. Она уткнулась подбородком мне в волосы; ее волосы струились до поясницы, а спереди, словно повинуясь ее желанию, совсем закрыли груди. Когда она бегает, распущенные волосы колышутся из стороны в сторону, как кисть художника.

Она пробежалась по парку — просто так, от радости — наутро после той пощечины в кафе. День выдался не очень ясный, то и дело принимался лить дождь, и лишь изредка октябрьское солнце заливало окрестности ослепительным блеском. Я не сводил глаз с Кайи, и меня не покидало ощущение, что я глотками пью это редкое яркое солнце, и оно сияет в моей душе. Очень может быть, что его лучи били из моего рта и ушей, делая меня похожим на изображение Аполлона, которое я видел в каком-то греческом музее. Надеюсь, что из задницы свет не бил. Впрочем, чувство вины делало свое дело: время от времени перед глазами в воздухе вспыхивало старомодное словечко "прелюбодеяние". Помнится, пару столетий назад прелюбодеяние именовалось романтической связью.

Если бы внезапно явилась Милли, слова "романтическая связь" не смягчили бы ее ни на минуту. Ни на секунду. Я чуть не въяве видел, как она выходит из-за дерева, зажав в руке утыканную гвоздями крикетную биту.

Ты загладил свою вину?

До некоторой степени.

Чем?

Тем, что рассматривал эти три недели как труд, как процесс работы, как врезавшийся в память опыт, который может быть преобразован в произведение искусства, если освободить его от вялости, повторов, скуки.

Это случилось вскоре после провала "CO2 в выхлопе семейного автомобиля", да?

Провал — чересчур сильное слово для такого экспериментального произведения. Мне заказали духоподъемный хорал, который должен был прозвучать на конференции "зеленых" в исполнении двухсот датчан; действо предполагалось провести на острове Борнхольм. Сама эта идея ничуть меня не вдохновляла. Заказ я получил через посредство жены.

Текст хорала тоже был жуткий, но слов, слава богу, никто разобрать не мог. В результате слушатели чуть не померли с тоски. Вдобавок, вопреки законам природы, поднялась метель.

Стало быть, это запланированный эксперимент...

Да. И посреди него явилась Кайя, моя Муза. Это было неизбежно, не знаю почему. Возможно, я в нее влюбился. Она в меня, кажется, тоже. Однако в глубине души таилась уверенность, что Кайя — явление временное. Моя душа наслаждалась настоящим, в котором слова "временное" не было вообще, поскольку оно имеет прямое отношение к времени, а время по природе своей существует лишь в данный момент. Это все равно что назвать Пятую симфонию Бетховена временной просто потому, что она существует лишь в движении, в дыхании времени. Другими словами, "временный" и "преходящий" — одно и то же.

И тебе этого достаточно?

Да. И потому, глядя на Кайю, легко и изящно, как положено бывшей гимнастке, бегущую по дорожке, я был переполнен солнцем. До этой минуты я, видимо, понятия не имел, что значит жить.

На выходные мы отправились на Хааремаа. Меня действительно тянуло посмотреть сельскую глубинку, а не окраины Таллинна, но на остров мне совсем не хотелось. Что-то слишком далеко я забираюсь, свербила мысль.

— А как твои родители отнесутся?

— Нормально. Я же не девушка твоя, а официальный гид по Эстонии. За долгую жизнь они уезжали с острова всего один раз. Люди они открытые, но не слишком. И наслушались разных историй про мерзких богачей, норовящих подцепить молоденьких эстонок для своих услад. Ну, договорились? На этот раз так будет лучше.

На этот раз. Она надеется, конечно, что настанет и другой раз. И третий. И — свадьба на острове. Я вообразил толпу гостей, все улыбаются, жмут мне руку. Простецкий народ. Ни гроша за душой. Я живо представил себе ее мать в деревенском платке, как у крестьянок из Косова и других подобных краев. Я бы достойно увенчал собою их самые смелые мечты.

В ту пятницу, пока Кайя мылась и наводила марафет в моей ванной, я минут десять всерьез размышлял, не собрать ли мне тихой сапой вещички да не улизнуть ли по добру по здорову. Обвел глазами шкафы и тумбочки, прикидывая, где что лежит. За десять минут покидал бы все в чемодан и умотал,

оставив Кайе на память зубную щетку и бритву. Проще простого. Бегом отсюда и — прямиком в аэропорт. От этой мысли я пришел в полный восторг. Но у Койта, хозяина квартиры, есть мой английский адрес. Кайя умолит Койта дать ей адрес негодяя-англичанина. Койт, человек мягкий, любитель разгуливать в жеваном свитере, адрес ей, конечно же, даст. Она помчится следом за мной в Лондон и разрушит мою жизнь. Определенно разрушит, и не со зла, а с горя.

Я, однако, не сбежал, а направился в ванную, где Кайя принимала душ. Сквозь полукруглую плексигласовую дверцу душевой кабинки смутно розовел ее силуэт — неясный образ, идеал, еще не оформившийся в тело из реального мира. Я попытался отодвинуть створку, но, как все на свете дверцы душевых кабинок, она упрямо не желала скользить вбок; пришлось ее толкать и дергать. Наконец, она дрогнула и двинулась с места. Кайя шутливо запротестовала. Стоя под горячими струями, окутанная паром, она подняла ногу и стала намыливать стопу. Даже не пошатнулась! Вот оно, чувство равновесия настоящей гимнастки.

Вода сама выбирала путь по ее телу, по его изгибам и ложбинкам, придавая ему влажный глянец. Вскипавшие меж грудей жемчужные ожерелья распадались, скользили по животу вниз и образовывали пышную запруду на шерстке лобка, с которого стекал целый ручеек; тонкие струйки бежали по внутренней стороне бедер к крепким голеням и ступням с высоким подъемом. Таких красивых рук я в жизни не видел. Еще когда Кайя играла на скрипке, я обратил внимание на ее редкостно длинные, тонкие пальцы. Меня обуяло острое желание. А какие поразительно красивые у нее колени!

— И что же ты сделала в лагере с тем противным парнем?

Не сводя с нее глаз, я стоял возле открытой дверцы душевой кабинки абсолютно голый; Кайя улыбалась, продолжая намываться с нескрываемым удовольствием. Милли наверняка осудила бы столь длительную трату воды как бессмысленную роскошь.

— У проволочного забора?

— Ну, да.

Помедлив, она произнесла:

— Считай, все позволено, а?

— Что?

— Можно сказать, он воспользовал меня, как хотел.

Она закрыла воду и в клубах пара вышла из кабинки. Я протянул полотенце; она взяла его, ловко увернувшись от моей попытки ее обнять. Водопроводные трубы дрожали и глухо постукивали.

— Или насиловал. Ты не хочешь опять сделать мне то же самое, правда?

— Я и в первый раз не насиловал. Просто хотел, чтобы мы стали еще ближе друг другу. Ты сделаешь мне, потом я — тебе. Да ладно, не будем. Проехали.

Теперь мой напрягшийся член меня только смущал. Чисто животное проявление — что у деревенского быка. Или у тех же свиней, обезьян и прочих. Я прикрыл его ладонями, небрежно прижал к животу. Голые ноги мерзли на кафельном полу. Пар окутал меня влажным теплом, дышать в нем было трудно.

И тут зазвонил телефон. Я застыл на месте, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Наконец, бесконечный трезвон смолк. От распаренной Кайи исходил невероятный жар. Я заметил, что терморегулятор стоит на максимуме.

— Твоя мама?

— Наверняка, — ответил я, поеживаясь на холодном кафеле. — Мы с ней каждый день перезваниваемся.

Она кивнула. Потом аккуратно свернула полотенце, положила у моих ног и опустилась передо мной на колени.

— Это, — проронила она, разняв мои руки и кладя их себе на затылок. Я сцепил пальцы на ее мокрых волосах. — Я сделала ему это. Иначе он доносил про меня своему деду, а дед — большой начальник, в наш Верховный Совет, — что я пою эстонские песни. Тогда — добро пожаловать в Сибирь, Кайя.

— Я на тебя не донесу, — сказал я, гладя ее по мокрым волосам; горло перехватывало на каждом слове. — Хотя в Верховном Совете я тоже очень большой начальник. — Не отрывая от нее глаз, я расставил ноги пошире. Она тоже внимательно смотрела на меня снизу вверх. — Ужасно хочется, чтобы ты спела мне эстонские песни.

Не отрываясь от меня, она глухо, где-то в самой глубине горла завела мелодию, которая отдавалась в моем истекающем желанием пенисе. В полном экстазе я поклялся себе, что вплету эти песни в свое сочинение к открытию "Купола Тысячелетия".

Мы с Кайей сели на междугородний автобус и четыре часа ехали по Эстонии к западному берегу Балтийского моря, потом автобус, подпрыгивая, перевалил на паром, и меньше чем через час мы прибыли на остров Хааремаа. Невозможное нам часто лишь мнится таковым, а в действительности события происходят легко и гладко.

Брат Кайи уехал на учебу в Берлин. А у Кайи был законный отпуск: она проработала все лето, и теперь имела право съездить домой.

Пока мы ехали в автобусе, я еще много чего рассказал ей об опусе, над которым как раз работал, и о своем интересе к музыке Арво Пярта. Она кое-что знала про творчество соотечественника, но не очень много. К примеру, ей был известен альбом “Alma”, и “Summa” тоже, а весной она ходила слушать “Kanon Pokajanen”.

Мы вместе обошли все самые известные церкви Таллинна, побывали во дворце Кадриорг и на таллиннской телебашне. Мы держались за руки в трамвае и жарко обнимались в дворцовом парке, воображая, как проводила там лето за летом царица со своей элегантной свитой в цилиндрах, корсетах и пышных муслиновых платьях. Среди опадающих листьев прыгали рыжие белки, но мы, поглощенные друг другом, не замечали ничего.

Кайя поехала к себе в общежитие укладывать вещи. По ее словам, там чистенько и мило, но, поскольку жилье самое дешевое, из удобств — лишь самое необходимое. Общежитие находилось на окраине, в довольно мрачном районе, и ей не хотелось меня туда звать. Я позвонил домой. В это время дня Милли всегда на работе, что мне было хорошо известно, и я оставил сообщение на автоответчике. Сказал, что путешествую по сельской глуши, собираю музыкальный фольклор певучего эстонского народа и позвоню сразу по возвращении в Таллинн. Помнишь, Милл, Кардью однажды сказал, что народных песен якобы больше нет. Ну, а я пытаюсь их отыскать.

Все это я проговорил с поразительным хладнокровием. Меня ничуть не смутило, что я обошелся с Милли не как с женой, а как с досадной помехой.

Хааремаа — это остров древних, чуть ли не доисторических болот, лесов, прибрежных топей и обширных известняковых плато, известных под названием альвары[1], на которые упрямо карабкаются лишайники; порой перед вами вдруг открываются пустые белые пляжи и тянутся, куда хватает глаз. В северном небе летают журавли и морские птицы, зимующие на более теплом западном побережье. Кайя опять объяснила мне, что поскольку остров, словно часовой, стоит в Финском заливе ровно напротив Швеции, при советской власти он был превращен в строго охраняемую военную зону. Его режимное существование закончилось всего пять лет

1. Альвар — голая или покрытая тонким слоем почвы безлесная поверхность известняков в Скандинавии.

назад, в 1994 году, когда армейские части оттуда убрали. Во время Второй мировой войны на острове шли тяжелые бои, погибли десятки тысяч человек, целые деревни исчезли с лица земли под обстрелом пушек и огнеметов, под гусеницами танков.

Вообще-то, я и раньше почерпнул немало подобных сведений из путеводителя по странам Балтии, хотя про Хааремаа информация там очень скудная. Но я восхищенно кивал Кайе, будто зачарованный рассказом. На самом деле меня зачаровывало то, *как* она об этом говорила. Особенно движения ее губ.

В автобусе она сообщила много интересных подробностей, каких в путеводителях не найти. Оба дяди ее матери погибли, но по разные стороны фронта: один в армии вермахта, другой — в Красной армии. Они сражались чуть ли не друг с другом. Не мудрено, что их сестра, бабушка Кайи, пристрастилась к спиртному и слетела с катушек. После войны начались страшные чистки; островитяне либо тысячами бежали на лодках в Швецию, либо, по приказу Сталина, тысячами высылались в Сибирь. Гражданское население сократилось на треть.

Я молча качал головой; перед глазами вставали картины былого ужаса. Все это напоминало рассказы моей матери про бомбежки Лондона во время Битвы за Англию — те же грандиозные масштабы войны, где история выступала в роли бога с мощными волосатыми кулаками.

Дед Кайи бежал с Хааремаа в утлой лодчонке, позже хотел вернуться за родней, но не сумел и, женившись на местной шлюхе, навсегда осел на Готланде. Слово “шлюха” подсказал я.

— Да, шлюха, во всяком случае, в глазах прочих членов семьи, — заметила Кайя.

По ее детским воспоминаниям, остров был наводнен коротко стриженными лопоухими русскими солдатами; они жили в запретной зоне, за высокими сетчатыми заборами, поверх которых шли ряды колючей проволоки; там же, в фальшивых силосных башнях, прятались огромные ракеты, готовые в любую минуту уничтожить планету Земля.

Погромыхивая на рытвинах и ухабах, автобус катил по пустой трассе, пересекавшей северо-западную часть материковой Эстонии; вокруг расстилался совершенно безлюдный пейзаж. Во время рассказа выражение лица Кайи менялось, и мне это страшно нравилось. Она была моложе меня на одиннадцать лет — я почти забыл сей досадный, но на самом деле несущественный факт. Окончив школу, она, по ее словам, не-

которое время “била баклуши”; страна только-только обрела независимость, в ней все еще царил хаос. Кайя пошла на бисквитную фабрику, в то время чуть ли не единственное действовавшее предприятие на Хааремаа. Ее мать работала там же мастером. Я сказал, что моя мать тоже работала мастером, только на ее фабрике делали сосиски и мороженое.

— А отец чем занимался, Джек?

— Отец тоже не сидел сложа руки. Он был квалифицированным электриком и работал на крупном заводе компании “И-эм-ай”[1] у нас в Хейсе. Сейчас он на пенсии. А мать у меня слепая, — вопреки обыкновению добавил я. — На фабрике случилась авария. Ни взрыва, ни разлития жидкости — ничего такого не было. Но маме на голову свалилось что-то тяжелое, и она ослепла.

— Очень жаль, — чуточку беспечно откликнулась Кайя.

Я думал, она заговорит на другую тему, но, помолчав, она повернулась ко мне и спросила:

— Сколько тебе было лет?

— Лет пять или около того... Чудно́, я напрочь забыл ту аварию. Вообще не припомню маму зрячей. Наверно, потому, что особой разницы между тем, что было до и после аварии, я не заметил. Она ведь свою слепоту скрывала. И до сих пор скрывает. Дома никто про это никогда не заговаривал. И теперь тоже — молчок. В жизни не слышал, чтобы кто-то из родных произнес слово “слепой”.

Кайя кивнула.

— Так вот почему ты стал композитором, — задумчиво сказала она. — У слепых обычно слух лучше, чем у зрячих. Музыке зрение не нужно.

Я был поражен. Мысль об этой взаимосвязи никогда не приходила мне в голову. Но я сделал вид, что ничего особенно нового не услышал:

— Н-да, возможно. Кто знает? Однако мне сдается, что я проявлял интерес к музыке еще до аварии.

— Кстати, у нее были такие же большие карие глаза, как у тебя?

— Пожалуй. Но почему “были”? И сейчас есть. Просто они теперь ничего не выражают. Иногда мама даже почти не открывает веки.

Мне было тягостно обсуждать эту тему; зачем только я ее поднял? Мама так и не смирилась со своей слепотой. И я то-

1. “И-эм-ай” (EMI) — крупная электротехническая компания, производящая радиоэлектронное оборудование и приборы; нынешнее название — “Торн И-эм-айз”.

же, именно поэтому я почти никогда о ней не говорю. А если и случается упомянуть мимоходом, реакция людей вызывает лишь огорчение.

— Что это? — спросил я, указывая на возникшие за окном два серых, казарменного вида строения и несколько ветхих сараев неподалеку.

— Это колхоз, — ответила Кайя.

— Я о них всякого наслушался. Жуткое зрелище.

— Жуткое?

— Ужасное.

— Да, плохая затея. Но тогда, по крайней мере, на фермах работали люди. А теперь — никого.

Я вытянул из-под Кайи ее руку, поднес к губам и поцеловал костяшки пальцев. Нагретая рука пахла тканью и по́том.

Автобус вез нас куда-то в туманную даль, неясную, как предсказание гадалки. В мое совсем иное будущее! А вам неужели никогда не хотелось пожить двумя разными жизнями одновременно? Я точно знал, что от Милли я не уйду. Но я так же твердо знал, что все оставшееся время проведу с Кайей. Эти две временные плоскости находились на разных уровнях моего существа — два исполнения в разных концах зала, оба независимы друг от друга, но в одной тональности; по загадочным причинам, а может, по чистой случайности, они вступают во взаимодействие. Меня прямо-таки подмывало расстегнуть на ней брюки, просунуть туда руку и дать своим пальцам волю. Интересно, чем сейчас занимается Милли? Небось, навязывает фотоэлектрические панели какому-нибудь бедолаге, одержимому идеей спасения нашей планеты.

— А чем занимается *твой* отец, Кайя?

Я и забыл, что она мне о нем уже рассказывала. При советской власти он был инспектором строительных объектов, напомнила Кайя, а теперь сидит без работы. Вместе с властью исчезли многие рабочие места. Развалилось здравоохранение, пенсионная система и прочее. Пришлось начинать все сначала. Теперь он изредка где-то что-то строит.

— Ничего, мы справимся, мы справимся, — заключила она, глядя в окно; казалось, развертывающийся за окном пейзаж — тоже часть этих усилий.

Если я и собрался сказать, что хочу на ней жениться, это не было бы сказано всерьез. Хотя отчасти мне этого хотелось всерьез. Я поцеловал ее в уголок рта. Сразу сильно пахнуло духами: то ли она плеснула на себя лишку, то ли духи из дешевых, но мне было все равно. Губы у нее припухли, словно еще не привыкли к холодному воздуху. Я раз пять-шесть чмокнул ее в милую припухлость; она не выпятила в ответ губы, они

даже не дрогнули. Она отлично знала, что они и так безупречны. У меня в паху вспыхнули огоньки пламени.

— Наверняка справитесь, — шепнул я ей в ухо; и, отыскав его, точно сладкий плод в листве, легонько стиснул зубами мочку; она тихо засмеялась. Запах духов придавал ее коже химический привкус.

— Тебе известно, что значит "Хааремаа"? — спросила она, отклоняясь от меня на очередной колдобине.

— Очень красивое слово.

— Оно значит "остров объятия", по-эстонски *haarama*. Некоторые называют его островом мертвой хватки, потому что он тебя не отпускает. По-эстонски *haare* означает "хватать". Но возможно, что это значит остров осин — осина по-эстонски *haa*; слово существует со времен владычества датчан, мы просто это забыли. А у вас в Англии есть осины?

Я кивнул, хотя никакою силой не мог припомнить, как выглядит осина. Может, как те деревья в парке возле замка, которые я счел осинами? Или то была ольха?

— У них листья трепещут, — сказала Кайя, словно поняв, что я осины не знаю. — И живут они недолго.

Эстонские слова своей длительностью и мягкостью отдаляли меня от нее и одновременно сближали с нею.

— Остров объятия мне нравится больше всех. — Я осторожно обнял ее одной рукой и прижал к себе. — Осинка ты моя.

В ответ она полушутя сжала мне пальцы другой руки, да так, что заломило суставы. Чувствовалась хватка тренированной гимнастки — ей же приходилось крепко держаться за перекладину, когда она раскачивалась на ней или даже крутила "солнышко".

Пока Кайя знакомила меня с родителями, я уловил эстонские слова, скорее всего, означавшие "зовут Джек", а еще, возможно, "гид" и "композитор".

— Здрасьте! — дружелюбно осклабясь, произнес я и пожал им руки. На душе у меня, как ни странно, было легко.

Они явно были рады знакомству со мной. Судя по двойному подбородку, мать в свое время переела печенья, но в молодости наверняка была красавицей. Отец тоже был хорош собой, все еще складен и крепок; это он наделил дочь сине-зелеными глазами. От него попахивало спиртным, по́том и штукатуркой.

— Здравствуйте, добро пожаловать, — сказала мать по-английски, чем меня изрядно удивила. — Добро пожаловать на Хааремаа, это *очень* хорошее место.

Она сама не знала, как ей удалось усвоить английский. Быть может, училась у детей. Но наверняка сказать не могла. Само собой получилось. Вскоре я понял, что она владеет английским в очень скромных пределах, но все равно был приятно поражен.

От их простецкого вида и манер у меня полегчало на сердце. Вот уж полная противоположность родителям Милли, думал я, сидя в скромной кухоньке рядом со старым шумным холодильником и видавшей виды газовой плитой. Сквозь испещренные следами мух и комаров занавески виднелась голая земляная площадка, по которой нарезал круги одинокий мальчишка на велосипеде. Рядом с этим зрелищем Уодхэмптон-Хилл казался неуместной шуткой. Собственно, вся Англия тоже казалась глупой шуткой, с нашими непременными обрюзглыми пьянчугами на вечерних улицах в пятницу, телепередачей "Отвечаем на вопросы садоводов" и бесконечной болтовней при свечах про детских нянь, цен на жилье и "ленд-роверы" с кондиционером. Как будто самое главное в жизни — это материальное благополучие, а бедняки всего мира пусть катятся к чертовой матери. Я сидел в этой безыскусной кухоньке, и мне хотелось каленым железом выжечь всю дрянь с лица моей родины. Но как? Я и сам стал денежным мешком, и все благодаря обручальному кольцу: оно открыло мне доступ в клан Дюкрейнов, с их древней и все расширяющейся галактикой английской роскоши. На кухонной стене — семейная фотография в рамке, Кайе на ней лет четырнадцать. Кроме этого снимка, еще календарь с картинками из жизни диких животных и диплом победителя спортивного соревнования; над небольшой красной звездой и красным силуэтом гимнаста в полете вписаны имя и фамилия Кайи. Фотография черно-белая, нечеткая — как при нестойких реактивах. Кайя снята в школьной форме.

Позже, когда родители вышли поболтать с соседкой, Кайя рассказала, что их снимал друг дома, военный фотограф, и он же тайком, без разрешения начальства, проявил пленку в своей лаборатории, находившейся на станции управления ракетами. В советские времена пленку нельзя было купить ни за какие деньги! Фотографировать вообще было опасно. Человека запросто могли обвинить в шпионаже.

Странно было это слушать. Все равно что рассматривать диковину где-нибудь за тридевять земель, в Перу. Неужели прежняя моя жизнь была настолько тускла? — спросил я себя. И ответил: до сих пор — да. Но теперь станет меняться.

Помню, как, высадившись из автобуса, мы с Кайей шли к дому ее родителей. Они жили на окраине главного города на

Хааремаа, у самого берега, который, правда, сплошь зарос камышом. Городок прехорошенький и, мягко говоря, сонный. Приземистые старые домики в скандинавском стиле, ослепительно белые церкви и редкие прохожие. Мы миновали пустырь, на котором рекламный щит сулил скорое появление супермаркета — финского, объяснила Кайя, — и вышли к десятку беспорядочно разбросанных прямоугольных зданий с осыпающимися бетонными стенами явно советской постройки. Все дома шестиэтажные, с парадными подъездами, отделанными неровным, коряво положенным кирпичом. Дома расставлены как попало, с откровенным пренебрежением понятиями общего проекта и дизайна. Однако отсутствие тротуаров, приличного асфальта и цветочных вазонов неожиданно показалось мне плюсом: конечно, этот жилой массив выглядел безрадостно, зато здания не лепились друг к другу, там было много воздуха; в целом это зрелище действовало не столь угнетающе, как аналогичные застройки в Британии.

На стенах — никаких граффити, в общей атмосфере — ни малейшего напряжения, вокруг ни завалявшихся объедков шашлыка, ни упаковок еды из "Кентаки фрайд чикен". Не видно тупых грубиянов, цепляющихся к беспомощным старикам. Я, по крайней мере, не заметил ни одного. Видимо, здесь не принято приставать к людям.

Еще меня поразила тишина — машин тут мало, догадался я; в основном разбитые, тронутые ржой драндулеты советского производства — "москвичи", "трабанты"[1], "ЗАЗы", хотя встретился и "рено-эспас", и "форд-гранада", и парочка "фольксвагенов-жуков". Стало быть, народ потихоньку богатеет, заключил я, но Кайя сказала, что все эти машины принадлежат одному человеку, который сдает их напрокат. Хозяина зовут Элвис, он носит синие солнцезащитные очки.

Я почему-то сразу почувствовал себя как дома.

У родителей Кайи имелась "чайка", раньше принадлежавшая КГБ, — черный седан типа "шевроле-шеви" с массивными хромированными бамперами. По словам Кайи, во время езды земля проносится почти на уровне пассажирского сиденья. Но убедиться в том не было возможности, поскольку еще до нашего приезда "чайка" совершенно вышла из строя и покоилась на четырех чурбанах перед расположенной на первом этаже квартирой хозяев. Кожаные сиденья вспороты, словно их резали ножом.

1. На самом деле микролитражный легковой автомобиль "трабант" производился в Восточной Германии.

Еще у ее родителей была дача, всего в десяти минутах езды по короткой песчаной дороге, шедшей от моря вглубь острова. Дорогу своими руками проложил отец Кайи; землю он получил от Советов взамен полноценной зарплаты, трудился каждое лето, и на десятый или одиннадцатый год дорога была готова. Вечером они поедут на дачу на велосипедах, сказала Кайя. Доберутся примерно за полчаса. Мне очень хотелось поглядеть на дачу. Я пил на кухне чай и впервые внимательно вслушивался в незнакомый и по-своему пленительный язык с иной, совершенно неанглийской, интонацией. Потом Кайя перевела мне вопрос матери, а та улыбалась, дожидаясь ответа.

— Надеюсь, ты не обидишься, но она говорит: “Спроси у него, он вдова?” Не знаю, почему ей приходит на ум. Прости.

Я слегка скривился:

— Ты имеешь в виду, вдовец ли я. Насколько мне известно, нет.

Они оценили мой английский юмор, посмеялись, и я решил продолжить в том же духе:

— Мне кажется, для этого нужно сначала жениться.

На душе у меня, честно говоря, скребли кошки, но я продолжал невинно улыбаться, прихлебывать чай и хрустеть фабричным печеньем. Вмятина от обручального кольца была все еще заметна. Что, если мать Кайи очень наблюдательна? Более наблюдательна, чем дочь? Впрочем, вдовцы ведь тоже носят кольца, правда?

— В Эстонии очень любят музыку, — перевела Кайя длинный монолог матери.

— Это все, что она сказала?

— По существу, да. Ты же уже знаешь про “Поющую революцию”? Я ей объяснила, что ты — видный молодой композитор.

— “Молодой” — это хорошо, мне нравится, — усмехнулся я; перед глазами всплыла целая вереница лиц: коллеги-композиторы неистово, точно ярмарочные жестяные утки, кивают головами.

— Больше, чем “видный”?

— Композиторы обыкновенно становятся видными только после смерти.

Кайя перевела наш диалог матери. Та весело рассмеялась, но во взгляде ее грустных глазах сквозило недоверие. Отец Кайи пошел чинить лампу в спальне. Как было бы здорово, если бы все это случилось лет десять назад. В ту пору я был всего на год старше сегодняшней Кайи, но тогда меня обуревали мечты. Через двенадцать лет мне будет без малого пятьдесят. Какие уж тут мечты.

— Она спрашивает, понравилось тебе печенье?

— Очень. И вообще я всем доволен. Большое спасибо. Ваша дочь — прекрасный гид, видно, что профессионал, — добавил я как можно бесхитростнее, стараясь обойтись без ненужных намеков.

Мать Кайи довольно засмеялась. Ее звали Маардже — неожиданное совпадение! Если напиться или едва очухаться после инсульта, то как раз такой вариант "Марджори" и выйдет. Через десять дней я уеду из Эстонии, расстанусь с Кайей, оставлю здесь мое сердце. Все это похоже на фривольную песенку. Может быть, именно такую мне стоит написать для концерта в "Куполе". Большая часть публики, начиная с Тони Блэра и королевы, будет очень довольна. С учетом общей ситуации песню сочтут ироничной. А может, и нет. Может, на этом моя карьера закончится. Или начнется новая.

Кайя с матерью принялись обсуждать новости на родном языке; я опять взглянул на фотографию, к горлу подступила темная волна печали. И я знал, отчего — от сознания, что я бесцельно плыву по течению, отрезав себя от прошлого и не видя смысла в будущем.

Вошел Микель, отец Кайи, и низким голосом объявил что-то на всю кухню.

— Он починил второй велосипед, — объяснила Кайя. — Теперь мы можем все вместе отправиться на дачу на педальном транспорте.

— А ты знаешь, что при советской власти пользоваться велосипедами не разрешалось?

— Серьезно? Ничего себе!

Я отвык ездить на велосипеде. Кайя без видимых усилий катила впереди, я же от натуги пыхтел как паровоз, хотя человек я не толстый, скорее плотный. Дороги были неровные, вдобавок, с обочин на них упорно лезла растительность; в какой-то момент мне в волосы вцепилась колючая плеть ежевики.

Позади дачи располагался большой огород, вроде тех участков, которые арендуют многие лондонцы. Росла там преимущественно картошка: без нее родителям Кайи было бы трудно продержаться в новой, свободной, но безденежной жизни. Дом был сложен из валявшихся возле строек шлакобетонных блоков, причем в строгом соответствии с предписанными советской властью размерами дачного строения. Под крутой крышей примостились две спаленки. Рядом с ванной непритязательная сауна. Изнутри все помещения были обиты сосновыми досками. Снаружи к стене притулилась теплица, целиком занятая рослыми помидорными кустами.

Воду качали по трубам из колодца; уборная представляла собой хлипкую пристройку с глубокой ямой, прикрытой обычным туалетным сиденьем. В доме пахло сосновой смолой, мхом и мышами. Он очень напоминал дом, о котором я когда-то мечтал. Наверно, читая "Коралловый остров"[1].

На полпути к задней границе участка находился курятник с просторным загоном, где бродили штук двадцать кур и молодой кичливый петух. В курятнике мы подобрали три яйца, еще четыре отыскали в разных углах загона, под жухлой листвой или клочьями сена.

— Чертовы куры, несутся где попало, — проворчала Кайя.

По соседству стояли еще три дачи, но ближняя была заброшена. Дом походил на сарай, а большой участок густо зарос малиной, терновником и камышом. В свое время, пояснила Кайя, там жила престарелая супружеская пара, но они уже умерли, а их сын, бизнесмен, живет и работает на материке.

В конце огорода, почти у самого леса, стоял дровяник, а рядом — клетка, от которой несло зоопарком. По клетке, время от времени чуть шаркая боком по железной сетке, без устали бегала тощая лиса; выражение на узкой мордочке было злобное.

— Это отцовский... э-э... *renard*[2], — объяснила Кайя.

— Лис, — подсказал я. — А зачем?

— Что зачем?

— Зачем держать его в клетке?

— Он там уже несколько лет сидит. — Кайя пожала плечами. — Отец его ловил. Как, не знаю.

— По-моему, он немного не в себе.

Сознание, что животное сидит взаперти в тесной клетке, удручало меня.

— Да, не в себе. А отец еще любит его обзывать.

— Вот как? И нехорошими словами тоже?

— Возможно.

Я почувствовал, что снова зашел в тупик. Быть может, причина некоторой сюрреалистичности всего того, что связано с Кайей, — ее английский?

— А как его все-таки зовут?

— Никак. Просто Ребане, то есть "лис" по-эстонски.

— Лис. Что ж, привет, Лис. Привет, Лисик.

1. "Коралловый остров" — роман для детей и юношества шотландского писателя Роберта Майкла Баллантайна (1825—1894).
2. Лис(а) (*франц.*).

Не переставая трусить по клетке взад и вперед, Лисик злобно зыркнул на нас желтыми глазами, и я отлично понимал почему. Кое-где его рыжая шубка лезла клочьями, точно старый ковер. Милли закатила бы тут знатную истерику, подумал я. Заточенный в клетку лис тоже может войти в мое сочинение, приуроченное к торжеству в Куполе. Семь минут сильных переживаний. Поэма об Эстонии. И не какая-то игривая песенка, а многослойное, будоражащее душу произведение, построенное скорее по вертикали, а не по горизонтали. Густое, полное иголок, вроде вон той высокой ели.

Мы с Кайей набрали в дровянике поленьев, раскололи их небольшим топориком и затопили сауну. Дожидаясь нужного жара и помаленьку попивая водку местного производства, мы с час играли в покер с раздеванием. Я остался в трусах и одном носке. Кайя прикрывалась своими волосами; я считал, что она просто жульничает. Волосы доходили почти до сиденья стула. Мы слегка опасались, что кто-нибудь неожиданно войдет в предбанник, такое не раз случалось в советские времена. Но кто?

Потом мы с Кайей пошли в сауну и, сидя на маленькой лавочке, наблюдали, как наша сухая кожа вдруг разом стала покрываться крошечными прозрачными зернышками пота. В такой жаре было не до объятий, но всякий раз, вновь зайдя в сауну, я гладил рукой ее податливое скользкое тело, целовал солоноватые губы и влажно поблескивающие груди, зарывался лицом во влажные волосы между ног.

Меня забавляло обилие собственного пота. Сколько его из меня изливалось! Невероятное количество.

В ведре мокли свежесрезанные березовые ветки; мы попробовали похлестать ими друг друга. Ничего подобного мне прежде испытывать не доводилось. Казалось, теперь я по-настоящему связан с живым, зеленым корнем сущего: боль не сильная, даже приятная, сквозь запах пота пробивается аромат измочаленных листьев — что-то очень нежное из далекого прошлого, и даже если это прошлое не было моим, то наверняка должно было им быть. Поначалу Кайя хлесталась охотнее меня, но скоро и я вошел во вкус.

Это было восхитительно. Спина у Кайи побагровела. Мою жгло от боли. На полу возле сауны я заметил выпавшую из моих брюк визитку Олева. Мы со смехом прочли: *Диско, Баар, Саун – 24 ч.*

— Так, детка. И где же дискотека?

— Вместо дискотеки я спою тебе песню. Эстонскую, старинную. Раньше мы пели ее тайком, и кто-нибудь обязательно дежурил у входа: вдруг подкрадется шпион или явится не-

званый гость. Тогда нас могли арестовать и отправить в лагеря за пропаганду национализма.

— За пропаганду? Ого. Смело с вашей стороны.

— Нет. Что ты хочешь сказать? Что нам *не обязательно* было петь?

И там же, в предбаннике, завернувшись в полотенце, она тихонько запела. Мне даже стало страшно: оказывается, я почти напрочь забыл, что́ способна выразить музыка.

Я остался ночевать в баньке, а Кайя вернулась в дом, что меня совсем не удивило. Сначала я взялся за "Анну Каренину". Потом поработал над партитурой; вдохновленный старинной песней, которую пела Кайя, приписал еще несколько тактов, но затем стер. До глубокой ночи где-то поблизости ухала сова.

Наутро я проснулся чуть свет и пошел в одиночку побродить вокруг крошечного, пустынного, заросшего камышом заливчика. Над ним летали журавли, в камышах плескались мелкие, непроглядно черные волны. В голову приходили какие-то замыслы, диатонические пассажи, которые можно было бы осторожно ввести в сочинение. Когда я вернулся, Кайи все еще не было. Я ждал ее час, стараясь подавить беспокойство, и вдруг услышал хруст гравия под велосипедными шинами. Она привезла корзину, в которой было молоко, хлеб и мюсли финского производства. Я порывался заплатить за провизию, но от денег она наотрез отказалась.

Покончив с поздним завтраком, мы сели в низкие кресла — раскладной диван был сломан, — и немного почитали. Странно было молча читать рядом с Кайей, удивляло острое ощущение большей, чем когда-либо, близости с нею. Кайя начала с толстенной книги по языкознанию — по виду настоящий научный трактат. Потом взяла двуязычный томик Ахматовой — на русском и эстонском. К счастью, много лет назад я читал кое-какие стихи Ахматовой: собирался сочинить вокальное произведение о гласности, но так и не осуществил эту затею. Кресло мне попалось старое, обтрепанное и неудобное. В нем трудно было сосредоточиться на толстовской прозе. В одном я не сомневался: красотой Кайа ничуть не уступает Анне.

На склоне дня я помог Кайе копать картошку. Мы смеялись, я растирал в пальцах сухие укропные зонтики с семенами. С тех пор пряный запах укропного семени мгновенно воскрешает в памяти то место и ту минуту. Я выпрямился и огляделся, словно старался запечатлеть эту картину в своем сознании. У ограды за высохшим малинником высилась шеренга тополей, морской ветер срывал с них ярко-желтые листья.

Я не привык к такой физической нагрузке и решил, что растянул мышцы спины. Кайя копала в охотку, ловко стряхивая землю с крупных кремовых картофелин; наверно, в плечах она сильнее меня, что и понятно — этот труд знаком ей с детства.

Она провела со мной почти весь день, а вечером мы поехали на велосипедах обратно — ужинать. Хорошо бы такая жизнь длилась вечно, думал я. Но опять же, именно скоротечный характер моего пребывания там делал его столь сладостным. И одновременно мучительным. Впрочем, Кайя об этом не подозревала. Примерно в тот день я решил, что назову свой опус "Эхо" — в честь ее имени и самой Кайи.

Квартира ее родителей мне понравилась.

Я сказал им, не особенно кривя душой, что она напоминает мне квартиру моих собственных родителей в районе "социальной застройки". Но не стал объяснять, что веду речь о своем детстве в шестидесятые годы. Потому что здесь мебель была отделана виниловой пленкой под красное дерево, с ручками под бронзу. Где-нибудь в Ричмонде, подумал я, в этом был бы свой, особый шик: мебель в стиле "ретро" собирают целенаправленно, покупают в магазине подержанных вещей прошлых эпох, скажем, в Брайтоне. А здесь она выглядела жалко. И весь остров словно застыл в каком-то временно́м провале; после ухода военных он нерешительно и бесцельно болтался между двумя мирами. Лишь журавли и совы чувствовали себя на месте. Туристы остров не посещали, хотя до Первой мировой войны это был известный водолечебный курорт. В те времена люди съезжались сюда со всей Европы, рассказывала Кайя, в особенности из Пруссии; надменные пруссаки хозяйничали в Эстонии более двух веков, жестоко наказывая своих крепостных за малейшую провинность.

Тем временем мы неторопливо шли мимо большого бетонного здания в стиле конструктивизма, построенного в тридцатые годы на месте санатория; краска на нем облупилась и сходила хлопьями. Это напоминало кожную болезнь, от которой люди когда-то надеялись избавиться именно здесь. Существует проект восстановления прежнего курорта, сказала Кайя. Из соснового бруса, в чисто финском стиле. Она хорошо знакома с плотником, нанятым для строительства, это ее старый школьный приятель по имени Тоомас. По подъездной аллее, шаркая ногами, бродили согбенные старики.

— Молодежь по большей части уехала с острова, — заметила Кайя. — В полях не увидишь ни души. А во времена моего

детства там работали сотни людей. Сейчас подход такой: "Так, что теперь будем делать? Строить супермаркет? Да кому он нужен?"

— А ты? Ты собираешься сюда вернуться? Я имею в виду навсегда?

Она ответила без околичностей:

— Я люблю остров. Может быть, ты его тоже полюбишь.

Она взяла мою руку и прижала к своей щеке. На миг в душе возникла гадливая неприязнь, но я постарался не показать виду.

В родительском доме всегда было жарко; этим он также напоминал мне мое детство в Хейсе. Центральное отопление работало на полную мощь, снизить температуру в одной отдельной квартире было невозможно, поэтому в постоянно распахнутые окна дуло холодом. Милли непременно осудила бы эту бессмысленную трату энергии. Назвала бы квартиру тепловой дырой.

Отцу Кайи было уже под шестьдесят, но он все еще выглядел широкоплечим здоровяком. Сунув руку в карман комбинезона, он вытащил три обтрепанные черно-белые фотокарточки:

— Дача.

На первой, в высокой траве перед черным прямоугольником расквашенной земли с вешками по углам, хохочут двое малышей. На втором снимке Кайя с братом держат вместе ведерко — такие картинки встречаются на часах с кукушкой; позади высится строение из шлакобетонных блоков, без крыши, но очертания дачи уже проглядывают. Рядом с детьми отец — молодой, бородатый, в ковбойке; его запросто можно принять за хиппи, исповедующего принцип "назад к матери-природе". На третьей карточке тоже Кайя с братом, но уже — прыщавые подростки, застенчивые и нескладные; они стоят возле допотопного трактора среди иссеченной вкривь и вкось бороздами земли — будущего огорода. Снимок был плохо проявлен и вдобавок измят.

Микель ткнул пальцем в фотографии и сказал что-то по-эстонски.

Кайя улыбнулась и перевела:

— Я делал ее для детей и кончил, когда мои дети уезжали!

Я состроил сочувственную гримасу. Снимки ему очень дороги, объяснил Микель, его друг проявлял их в фотолаборатории на ракетной базе. Тогда невозможно было даже купить пленку, про фотостудию смешно и говорить. Не было ничего, кроме уверенности, что тебе на всю жизнь обеспечена ра-

бота и крыша над головой. Я согласно кивал, хотя Кайя мне это уже рассказывала. Микель долго смотрел на карточки, потом сунул их обратно в карман.

Брат Кайи, изучив в Берлине немецкий, решил уехать в Париж учить французский. Он оказался способным и получал стипендию Европейского союза. Между двумя поколениями пролегла пропасть. Это ничего, утешила меня Кайя, любовь строит мосты, преодолевая расстояния. Я согласился. В полной страданий истории этой страны есть нечто, способствующее укреплению таких мостов. Здесь они надежнее, чем мост в моей собственной семье; возможно, его вообще никогда не существовало, разве только в несбыточных мечтах всех Миддлтонов.

Каждый раз по приезде домой в Хейс у меня возникает стойкое ощущение, что мы радостно окликаем друг друга через глубокий каньон; оно особенно усилилось в Ричмонде: родители робко входили в дом, и мама громко восхищалась тем, чего не видела и не могла увидеть. Однажды мы показали ей небольшую старинную картину маслом, Милли купила ее на аукционе к моему дню рождения. Как обычно, я исподволь дал понять, что на полотне изображена молодая купальщица — застенчиво кутаясь в развевающийся турецкий халат, она осторожно пробует ножкой воду. Милли была очень довольна приобретением, хотя оно обошлось ей в пятизначную сумму.

Моя мать сделала вид, что вглядывается в картину, после чего заметила:

— Очень мило, но обнаженное тело не в моем вкусе.

Ее раздирали презрение и благоговение перед богатством Милли. Перед богатством Милли и ее сына. Перед нашим богатством.

Кайя сварила традиционную эстонскую кашу, которую сама называла супом. На вкус варево напоминало жидкое тесто, приправленное мускатным орехом и корицей, мы пили его из чашек. Еще во множестве поглощали маленькие мягкие кексы и сухое печенье с той самой фабрики, на которой работала мать Кайи. Несколько месяцев назад фабрику купила финская компания по производству печенья. По всей видимости, финны массово скупали в Эстонии фирмы и предприятия. Я посмотрел на тяжелую глубокую сковороду, в которой варилась каша, и подумал: уж не та ли это сковородка, которой бабушка Кайи пыталась укокошить внучку? Но спрашивать не хотелось. Фотографий бабушки в доме не видно. Тяжелые времена канули во мрак.

Семейное авто по-прежнему стояло на чурбанах, поэтому мы всюду ездили на велосипедах. Из дорог только одна была покрыта слоем щебня, она вела к паромному причалу. Зато все дороги были широкими, прямыми и рассекали лес как по линейке. Густой, без прогалин, лес тянулся, куда хватало глаз. Я опознал березы, ели и сосны. Остров был военной зоной, напомнила Кайя, и в случае войны дороги планировалось использовать как взлетно-посадочные полосы для бомбардировщиков. И настал бы конец и лесам, и нам, и всему на свете.

— Кроме нескольких политиков, засевших в своих бункерах, — заметил я. — Что очень утешает.

— Тебя это коробит, что ли?

— Нет, ничуть. *Обожжжаю* политиков.

Однажды во время прогулки мы вышли на обширный известняковый плитняк, почти голый, за исключением редких чахлых кустиков можжевельника, сухих лишайников и мха. На известняковом щебне валялись ржавые исковерканные останки военных машин. По сравнению с этим мертвенно пустынным пространством даже вересковая пустошь казалась бы полной жизни. Здесь же почву будто гигантским пылесосом содрало; и все-таки мне это нравилось. Вдалеке серебрилась тонкая полоска: море. Порывами налетал сильный ветер, сменявшийся вдруг полным штилем.

— Эта местность очень-очень уязвимая, — сказала Кайя. — Она называется альвар. Слово настолько редкое, что оно еще не вошло в ваши словари. Думаю, что шведское. Короче, балтийское слово.

— Мне альвар нравится, — сказал я. — Невольно чувствуешь, что ходить тут надо осторожно.

— Правильно. А советские раскатывали здесь на танках. Такое не забыть.

— Никто не считает нужным ходить осторожно, — охотно подтвердил я, мысленно отмечая свою готовность соглашаться со всем подряд; даже Милли приятно удивилась бы моей покладистости. — На самом деле вся наша планета — один большой альвар.

— Альвар — это жизнь каждого из нас. Разве нет?

Кайя взяла меня за руку и повела дальше по унылому пространству обнаженной породы и щебня.

Мы посетили множество деревянных ветряков, больших пустых белых церквей и один старый хутор, с одобрения советской власти восстановленный еще в пятидесятые годы, во время коллективизации, как безвредный образчик устарелого народного уклада. Я подошел к деревянной, покрытой гус-

той шерстью овце, с зада которой свисали старинные ножницы, приосанился и напустил на себя загадочный вид, а Кайя меня сфотографировала. Потом мы отправились смотреть фестиваль народного творчества. Я оказался там единственным неэстонцем.

Сидя на лавке в стылом амбаре, мы смотрели, как женщины, преимущественно пожилые, одетые в эстонские национальные наряды, с тяжелым топотом выплясывают замысловатые танцы. Почти все зрители рано или поздно становились участниками действа; меня тоже стянули с лавки и поставили в хоровод. Вместе со всеми я кружил то в одну, то в другую сторону, а Кайя с улыбкой наблюдала и хлопала в ритм танца. Я ощущал ладонями сухие, натруженные руки, крепко державшие меня. При всей моей английской неуклюжести, плясать было очень весело. Мои сравнительно недавние предки, возделывавшие землю, наверняка плясали лучше.

Кайя переводила мне пояснения организатора фестиваля, лохматого седобородого мужчины в толстом вязаном свитере. Он очень долго говорил что-то в неисправный микрофон, превращавший взрывные согласные в подобие автоматной очереди. Потом те же пожилые дамы с большим чувством, но очень по-любительски спели хором. Я внимательно слушал, но не опознал ничего, что могло бы выйти из-под руки Арво Пярта.

Тем не менее, когда исполняли гимн Эстонии и в грязном дворе взвился национальный флаг, у меня комок подкатил к горлу.

Потом хор завел другую песню; одно мощное сопрано фальшивило настолько безупречно, что невольно подумалось: а вдруг это намеренный модернистский прием?

— Песня называется “Ээсти вабакс”, — шепнула Кайя. — Раньше была запрещена. За нее прямиком отправляли в лагеря, представляешь?

На глаза вдруг навернулись слезы; я смущенно нахмурился: “Ээсти вабакс” напоминала церковный гимн, ничего особо трогательного в ней не было. Собственная реакция удивила меня — совершенно непроизвольная, она казалась навеянной влажным воздухом, скромностью безалаберного сельского двора и всего фестиваля.

Кайя прислонилась ко мне, я обнял ее за талию. Пожилые женщины невозмутимо, но с явным интересом наблюдали за нами из-под своих матерчатых капоров.

— Боюсь, одна из них проболтается про нас твоим родителям, — сказал я.

— Ну и что? Кому какое дело? — шепотом ответила она. — Мы же не дети. И Советского Союза уже нет. И вообще, неужели ты думаешь, они ни о чем не догадываются?

Фестиваль шел три или четыре часа, без крошки еды и капли питья. Силы мои были на исходе. Я наблюдал редкостное зрелище — осколки образа жизни, сообща разрушенного коммунизмом и капитализмом; собрать их снова воедино уже невозможно. Два часа спустя пожилые женщины в очках и пестрых плотных — может, фетровых? — нарядах удалились, их сменило женское джазовое трио в желтых джинсовых комбинезонах и бейсбольных кепках. Эти стали что есть мочи лабать каджунский джаз. Я не выдержал:

— Пойду, пожалуй. Для меня это чересчур продвинуто.

— Продвинуто? Куда?

Мы предавались любви везде — на даче, в лесу, в дровянике, на безлюдном пляже (укрываясь, однако, за камышами), а один раз даже в квартире, в комнате Кайи, пока ее мать разговаривала по телефону в соседней комнате.

— Все в порядке, — успокоила Кайя, стаскивая платье. — Это звонит Кадри, моя тетя. Она всегда болтает подолгу.

В белом белье, которое она предпочла не снимать, Кайя выглядела особенно стройной.

Она села на край кровати, упершись ногами в пол, я стал на колени и нетерпеливо устремился в нее; она сама направила меня в обход рубчика на ее хлопчатобумажной нижней юбке. Из открытого окна несло холодом прямо мне в спину. Сквозь тонкие стены было слышно, как мать Кайи, повесив трубку, ходит взад-вперед. Дверь в нашу комнату не запиралась — не было замка. Маленькая фарфоровая белочка, стоявшая на подоконнике, вскинула лапки, будто молила нас прекратить безобразие. Кайя крепко вцепилась в меня и оглушительно дышала мне в самое ухо, я чувствовал, что вот-вот кончу. Я вправду ее люблю! Люблю по-настоящему!

Если бы в ту минуту вошла Маардже и увидела нас, — меня в спущенных трусах и свою дочь, ее широко расставленные, упершиеся пальцами в пол ноги, ее влажный, потемневший от моих поцелуев лифчик (я ощущал во рту странную смесь: вкус хлопчатки с химическим оттенком умягчителя тканей), — она не посмела бы возмутиться, ведь я всей душой любил ее дочь. А дочь очень-очень сильно любила меня, особенно теперь (шептала она мне), когда я заполняю ее изнутри своим чудесным горячим извержением.

Но Маардже к нам не вошла. Чтобы не закричать, Кайя закусила губу; ее дыхание отдавалось в моем ухе подобно грохо-

ту могучего прибоя, мгновенно заливающего песок белой пеной. Потом она откинулась на спину, я лег рядом; как она рада тому, что мы имеем друг друга и познали друг друга, сказала Кайя, а во мне шевельнулось сомнение: вкладывает ли она в эти слова сексуальный смысл или даже не подозревает, что оба глагола имеют и совсем другие значения. Кроме того, мне не терпелось отодвинуться от нее и одеться, пока нас не застукали.

А если бы застукали — кто знает? Быть может, ее отец убил бы меня... Хотя Микель с виду не был склонен к буйству и жестокости.

Она не дала мне отодвинуться. Шаловливо улыбаясь, еще крепче прижала к себе. Перед дачей стояла высокая береза, в то ветреное утро последние листы упорно цеплялись за ветки. Я указал на них Кайе, а она в ответ процитировала слова эстонского поэта, которого ей хотелось переводить: “Или береза упрямо держится за свои листья”.

Я почувствовал, что мой член выскользнул из гнезда и устало лег на густую, пушистую шерстку в развилке ее ног, но зацепился за край ее трусиков, и я чуть заерзал. Решив, что я хочу высвободиться, Кайя сплела руки за моей спиной и обняла меня сильнее прежнего.

— *Haare*, — произнес я.

— Да.

От ее живота шел жар; может, на самом деле она не принимает противозачаточных таблеток? А я, как на зло, в этот раз не надел презерватива. Чистое безрассудство! Впервые за все время! Что, если какой-нибудь пьяный матрос заразил ее в Таллинне СПИДом? Мало ли с кем она спала до моего появления. Может, она регулярно водит к себе мужиков. Но в этом я сильно сомневался. С другой стороны, я прекрасно помню Мэрилин Принд, в высшей степени чинную с виду флейтистку: несколько лет назад она за неделю перетрахалась с семерыми, каждую ночь меняя хахаля. Я это знаю точно, потому что она сама рассказала Говарду, а он — мне.

Я предавался этим пошлым размышлениям, прижавшись щекой к ее груди, у самого соска, широкого, темно-коричневого, напоминавшего мне лежалую падалицу под яблоней в нашем садике. Член мой совсем съежился; время было уже позднее. Я охотно заснул бы в той же позе; будь мы на даче с ее низкими карнизами, да в моей кровати, мы так бы и поступили. Как было бы здорово всласть выспаться, потом проснуться, босиком прошлепать в душ, который содрогается и воет из-за неполадок то ли в насосе, то ли в трубах. Я бы с на-

слаждением намыливал ее самые сокровенные местечки, а она бы смеялась, зажав в руке мыло. Или натопил бы сауну и посадил бы Кайю к себе на колени — стянул бы ее с горячей лавки спиной ко мне и прильнул бы щекой к ее прямому позвоночнику, а руки положил бы ей на бедра и растопыренными пальцами тихонько тискал бы их упругую округлость.

Но мы находились в квартире ее родителей, где комнатки крохотные, а стены не толще вафельной пластины; было слышно, как в кухне хлопочет ее мать. Наверно, сейчас войдет и предложит горячего свежезаваренного чая.

Глава третья

— Смотрите-ка, Джек малость поправился, — сказала мать Милли. — Раньше-то он был сущим эктоморфом[1]. Или эндоморфом[2]?

— Он? Кто он? — спросил Джек.

— Верно я говорю? Ну, не тяни, признавайся!

Она успела перебрать джину, причем на пустой желудок, и глаза ее злобно блестели.

— Это все жвачка с винным вкусом, — засмеялась Милли, тронув Джека за руку.

— Жвачка? С винным вкусом?

— Да, мамочка. Пакет этой жвачки должен лежать у него на столе, иначе он за партитуру не садится

— Ну, ты и мямля, — буркнула ее мать.

— Уж лучше жвачка, чем по бутылке виски за раз, — прозвучал с дальнего конца стола, из-за горящих свечей, недовольный бас отца Милли.

— А кто сказал, что я обхожусь без бутылки виски? — усмехнулся Джек.

— Ах ты, негодник! — взвизгнула мать Милли; она заигрывала с зятем, только изрядно накачавшись спиртным.

— Одно неясно, — отец Милли зафыркал, еще не досказав шутки, — жвачка нужна ему для успешного сочинения музыки, или сочинение музыки усиливает удовольствие от жвачки?

Все пропустили шутку мимо ушей. Даже в собственном семействе тесть Джека считался хоть и милым, но занудой. Он не скрывал, что произведения зятя вызывают у него лишь добродушное недоумение.

1. Эктоморф — человек худощавого сложения.
2. Эндоморф — человек, склонный к полноте.

— Какая пьеса у тебя самая любимая? — спросила мать Милли, устремив на Джека серьезный взгляд. — Из твоих собственных?

— Вы же знаете, что говорят в таких случаях. Та, которую еще предстоит сочинить, — сказал Джек.

— Ты увиливаешь от ответа, — заявила теща, подливая себе бургундского.

— Мама, не части с этим пойлом.

— Я и не чащу. Оно жидкое, пьется легко.

— С ней невозможно никуда пойти, — пожаловался отец Милли.

С год назад мать Милли слегла с тяжелой формой рака. Все были уверены, что жить ей осталось года два-три, но она чудесным образом выкарабкалась. И, естественно, только больше пристрастилась к алкоголю. Не сводя глаз с Джека, она поднесла бокал к губам и сделала пару глотков. Джек очень тепло относился к теще, потому что мысленно всегда видел в ней юную, худенькую, сияющую девушку, которая начала выезжать в свет сразу после войны.

— Ну же, признайся.

— В чем, Марджори?

— Какую из твоих пьес ты ценишь особо? Наверняка во всем этом шуме есть *одна*, которая больше других тебе по душе.

— Мама, это просто невежливо.

— Джеку это только на пользу, — парировала ее мать. — А ты, как и все прочие, с ним чересчур миндальничаешь.

— Он со мной, как правило, тоже, — чуточку жеманно отозвалась Милли.

— Например, как ты относишься к той странной вещи, которую написал в Сомали?

Джек нахмурился. Вино приятно дурманило голову. Он любил тестя с тещей и с грустью смотрел, как они стареют, мужественно стараясь не поддаваться надвигающейся дряхлости.

— Нет, в Эфиопии, — поправилась Марджори. — Не важно, где именно. Ты *сам* знаешь. Что-то вроде "эстрагона".

— По-французски это шалфей, — вставила Милли.

— Так зовут одного из героев пьесы "В ожидании Годо", — заметил Джек.

— Как же, видел, ее тогда только-только поставили, — сказал отец Милли, чем сильно всех удивил. В ответ на изумленные взоры родственников он утвердительно кивнул. — Произвела на меня огромное впечатление.

Джек почувствовал прилив теплой нежности. Подумать только, живешь с человеком рядом, ни о чем не подозрева-

ешь, и какие неожиданные вещи в нем порой открываются. Да и не в нем одном.

— Везет же некоторым! — воскликнул он.

— Да не видел ты ничего, — отрезала мать Милли.

— Нет, видел. Молодой был, свободный как ветер, и деньжата в кармане водились, вот и старался ничего не пропустить. — Его лицо в свете свечей вдруг показалось необычно благородным. — Давненько все это было.

— В Латвии, вот где, — решительно заявила мать Милли. — А совсем не в Эфиопии. Милли как раз узнала, что она с пузом.

Все тихо ахнули; повисла тишина, от которой веяло ужасом, какими-то темными, недоступными глазу болотными тварями.

— В Эстонии, — храбро улыбаясь, уточнила Милли.

— Ну да, я это и имела в виду, — откликнулась Марджори, явно не заметив, какую боль она только что причинила дочери. — И название у пьесы такое длинное и дурацкое.

— *Шкаф для хранения документов, пылающий посреди улицы, и Лис в клетке,* — подсказал Джек.

— Любишь выпендриваться.

— Знаю, — усмехнулся Джек.

— Небось, тебе это все приснилось.

— Да, пожалуй, — на миг запнувшись, согласился Джек.

— Что-то ты не слишком в этом уверен.

— Возможно, это мне и вправду приснилось. Или я сам нафантазировал. — Он чувствовал, что краснеет. Милли смотрела на него с откровенным, как ему казалось, любопытством. — Но впечатление осталось очень яркое. Может быть, я где-то видел фотографию горящего шкафа...

— И бедного лиса в клетке тоже? — спросил отец Милли.

— И лис в клетке тоже приснился.

— Все-то у вас *случайно* происходит, — с неожиданной злобой прошипела Марджори. — Вот оно, нынешнее искусство. Все *случайно.* В наше время сочиняли *про что-то конкретное.* Про любовь, или войну, или природу, или... про смерть.

— Верно подмечено, Марджори, — пробормотал Джек; не объяснять же им, как оно было на самом деле.

— Кто будет десерт? — на всю столовую чирикнула Милли, как будто вокруг стояли столики с посетителями. Но никаких посетителей за столом не было.

— Мы пока еще красное пьем, — сказал отец Милли.

— Можем пить дальше, но уже под сыр, — предложил Джек.

— А к сыру я принес вам "Фиту" восемьдесят восьмого года, — возразил отец Милли.

— Считать это приказом? — усмехнулся Джек, едва скрывая раздражение.

— Держу пари, именно *это* произведение у тебя любимое, — не унималась мать Милли, тыча в зятя пальцем, на котором поблескивал крупный густо-синий сапфир.

— Не сказал бы.

Поднявшись со стула, Джек стал складывать грязные тарелки в стопку. Мать Милли поднесла руки к щекам, чтобы освободить ему доступ к ее тарелке. В тусклом, неверном свете свечей казалось, что она чем-то испугана.

— Тогда давайте сначала прикончим вино, — предложила Милли.

— Как угодно, — отозвался Джек.

— Прошу тебя, не раздражайся, — обронила Милли; глаза ее смотрели куда-то далеко, в только им ведомый край страданий и боли. Такое случалось часто, но никто, кроме мужа, ничего не замечал.

— Не с чего мне раздражаться, — бросил Джек, чувствуя, что раздражен не на шутку, и понес тарелки на кухню.

— Почему бы не поручить это прислуге? — крикнула ему вслед теща.

— У нас прислуги нет, — долетел до него голос Милли. — Изредка приходит девушка, помогает мне по хозяйству. Она из Венесуэлы, приехала учить английский.

— Все они так говорят, а потом тебя же и взрывают, — заметил ее отец.

Сквозь сервировочный люк в стене до Джека донесся общий смех. Он ополоснул тарелки и сунул их в посудомойку. Улицу уже окутал сумрак, но небо еще не почернело; сквозь свое отражение в оконном стекле Джек видел темные силуэты деревьев, раскачивающихся под сильными порывами ветра. Да, он глубоко, до боли любит Милли, но отдает себе отчет: подобно цементу, которому крепости придает песок, его любовь держится на жалости.

И еще на толике вины. Мать Милли, как обычно, вопреки всякой логике, инстинктивно и безжалостно попала в самую точку, на это она мастерица. Самое любимое свое произведение он действительно сочинил в Эстонии, шесть лет тому назад. Уже шесть лет! Концерт в "Куполе" обернулся полной катастрофой, запланированные *Ветры Новой Европы* были заменены эстрадным певцом, очередным любимцем публики, но далеко не Элтоном Джоном, а сочинение Джека впервые было исполнено полтора года спустя на музыкальном фестивале в Олдборо. Автор переименовал свое произведение: вместо прежнего, "Эхо", он дал ему новое, длинное и "ду-

рацкое" название; партитуру он тоже переработал, несколько ее усложнив, но сути не менял.

Первое исполнение его детища на публике поначалу сильно взволновало Джека. Посреди сцены стоял выгоревший шкаф для бумаг, из которого выплыл клуб дыма, слегка затруднивший игру гобоистов; балалаечники, сидевшие у задней стены, по-видимому, вызывали раздражение у самых почетных слушателей: своей бравурной игрой они заглушали расположившийся на сцене оркестр. Пьеса, разумеется, исполнялась в небольшом "Снейп-Молтингз", где места для слушателей расположены только в центре зала; там и сели Джек с Милли, ее родители, его родители и несколько близких друзей. Когда гобои и голоса солистов начали сливаться воедино с группой балалаек, Джек даже всплакнул, но постарался незаметно смахнуть слезы. В знак поддержки Милли одарила его ослепительной улыбкой.

В переднем ряду сидел Арво Пярт; длинный коричневый плащ делал его похожим на убогого французского сыщика. Приехал он только потому, что на следующий день должно было впервые прозвучать его собственное сочинение. Чуть нахохлясь и подавшись вперед, он отрешенно слушал; большой палец утонул в темной окладистой бороде, над длинными волосами сиял лысый череп. Угловатый, с острыми локтями, Пярт оказался неожиданно тощим; вдобавок он беспрестанно покусывал кончики длинных пальцев и вообще для ветхозаветного пророка вел себя слишком нервозно. Рядом сидела жена, огромные очки делали ее похожей на сову. Она часто давала интервью от имени мужа, и ее мнение занимало Джека больше, чем суждения самого Пярта. Когда дым обволок зал тонкой пеленой, и жена Пярта зашлась туберкулезным кашлем, Джек понял, что получит по заслугам. С помощью капельдинера чета Пяртов выскользнула из зала — судя по реакции слушателей, это событие заинтересовало их больше, чем звучавшая на сцене музыка. Милли сочувственно сжала Джеку руку, будто утешала горюющего на похоронах родственника.

Потом Джек вышел на поклоны, а когда аплодисменты стихли и в зале вспыхнул свет, присмотрелся к публике. Многие известные, увенчанные сединами слушатели перемигивались, там и сям тонкие губы кривились в насмешливой улыбочке, сопровождавшей признание в собственной стойкости и долготерпении, а окружающие едва удерживались от ответных усмешек.

Иначе говоря, они смеялись над его музыкой. Над ним. Если на то пошло, ему милее престарелая хромоногая дама, реплику которой он случайно услышал в баре:

— Типичная нынешняя дрянь. До Мессиана[1] ему как до небес. Но надо же быть в курсе, не так ли?

А Пярта и след простыл.

В тот раз родители Милли провели в Хэмпстеде целых две ночи.

На второй день к вечеру они поехали в Кенвуд, на концерт в дворцовом парке и, как обычно, взяли с собой большущую корзину с провизией, приторочив ее к багажнику "бентли". Уже десять лет Дюкрейны каждое лето непременно ездили в Кенвуд. Невзирая на уговоры, отец Милли упрямо вел старинный "бентли" в Лондон и ставил его на Уиллоу-роуд как можно ближе к дворцу-музею. К счастью, в эту пору большинство местных жителей уезжают на континент, в свои летние дома, так что возле дворца места для парковки сколько угодно. Тем не менее "бентли" вполне может привлечь пристальное внимание угонщиков, вандалов и, наконец, просто компании заурядных выпивох из ближнего паба. Эта угроза не давала Джеку покоя, хотя он сознавал, что тем самым лишь выдает свое плебейское происхождение; меж тем неколебимая уверенность Дюкрейнов в том, что фортуна неизменно на их стороне, всякий раз находила подтверждение. Никто пальцем не тронул "бентли", хотя о его прибытии непременно возвещал по-слоновьи трубный рев клаксона.

Концерты в Кенвудском парке проходили в праздничной обстановке: на лужайках у подножия дворца, похожего на огромный свадебный торт, толпились многочисленные любители музыки с запасами еды и напитков, а также с подушками для сидения на траве; вокруг стоял веселый гомон. Для тех, кто приезжал из южных районов и пригородов, к деревьям в темных, лесистых участках парка были прикреплены неоновые указатели. Поскольку Марджори еще не вполне оправилась после операции, семейство Дюкрейнов двигалось медленно. Их дом в Гемпшире временно оккупировала многочисленная группа киношников, снимавшая фильм по одному из романов Джейн Остин. Ричард Дюкрейн утверждал, что по "Мэнсфилд-Парку", но его жена возражала:

— Нет, по "Доводам рассудка". А тарарам какой подняли!..

— Но вы же их наверняка спросили, — засмеялся Джек.

1. Оливье Эжен Шарль Проспер Мессиан (1908—1992) — французский композитор, органист, музыкальный теоретик, педагог, орнитолог.

— Они как на подбор все здоровенные, а сколько их — и не счесть; в результате полгруппы думает, что снимает кино по одной книге, а остальные уверены, что совсем по другой.

Один из неоновых указателей часто мигал, бросая на сумрачный парк и дорожку зловещие отблески. Кучки людей, обгонявшие Дюкрейнов и Джека, громко и весело переговаривались между собой. Кого только там не было: австралийцы, индийцы, американцы, японцы, немцы. Казалось, в парк съехался весь мир — точнее, мир зажиточных людей. Джек с Милли вдвоем несли стянутую кожаными ремнями корзину со снедью. Прочная тяжелая корзина много чего повидала на своем веку, начиная с Хартума, где дядя Милли служил еще во время войны. Когда Дюкрейны только начали ездить с этой тарой на кенвудские концерты, Марджори ходила по дорожке размашистым шагом здоровой крупной женщины.

— Ох, до чего же я медленно тащусь.

— Ты, мамочка, молодец. С этой корзиной нам тоже не по силам идти быстрее. Такое впечатление, что она тяжелеет с каждым шагом.

— Старость куда хуже, чем люди могут себе представить.

— Руководитель киногруппы, или продюсер, или как там он называется, словом, он мне сказал, по какому роману, — вступил в разговор отец Милли.

— Узнаем, когда по ящику покажут, — с плохо скрытым раздражением буркнула Марджори. — Крапива тут растет? В прошлый раз я ого как обстрекалась.

— Мы заказали на всех шезлонги и прихватили с собой огромное одеяло, — успокоила ее Милли.

— Да я про тропинку говорю.

— Тогда просто не сходи с тропы, и все дела, — отец Милли рассмеялся, будто удачно сострил.

— Ой, ты-то хоть заткнись, — отрезала жена, стараясь не наступать на подол длинного шелкового платья.

Поскольку концерт каждый раз приходился на второй день пребывания тестя с тещей в доме Джека и Милли, напряженность в отношениях обычно давала себя знать. Джека эти поездки страшили, особенно после того как концерты перешли под крыло "Английского наследства"[1]: попса почти вытеснила классическую музыку. Сыграло свою роль и ново-

1. "Английское наследство" — государственная организация, ведающая охраной исторических памятников, старинных домов и т. п.; создана в 1984 г.

введение: организаторы стали предлагать пакет услуг "все включено" — как на главных спортивных мероприятиях. Но эти перемены ничуть не стали помехой его музыкальным заказам.

На самом деле ручеек заказов сильно обмелел. В минуты уныния Джеку мерещилось, что в мире современной музыки он превратился в предмет обстановки... в нечто вроде запасного стула: в случае большого наплыва гостей его вытаскивают из кладовки, после складывают и суют подальше, а потом не могут припомнить, куда поставили. Милли ему сочувствовала, но была слишком загружена работой и потому ограничивалась голой правдой: муж все преувеличивает, на самом деле он должен понимать, что ему невероятно повезло.

— Многие дорого бы дали, лишь бы добиться твоего положения, — твердила она.

Вечер выдался душный, чересчур теплый, как перед грозой. Заранее было решено, что они пойдут слушать Хэйли Вестенру[1], новозеландскую звезду, прославившуюся исполнением песен из австралийской мыльной оперы "Соседи". Джек слыхом о ней не слыхал, но, увидев программу, наотрез отказался идти на ее концерт. Об Ибраиме Феррере[2] и речи быть не могло, потому что Джек на дух не переносил кубинскую музыку, а также группу "Бутлег Битлз" и мюзикл "Бриолин", тем более в концертном исполнении.

— Ну, какое все это имеет значение, — укорила его Милли. — Ей просто нравится слушать, как музыка разносится над озером. Быть может, это последний год ее жизни.

— И ты называешь это музыкой? Для "Английского наследства" это всего лишь способ заманить в шатры как можно больше денежных мешков.

— Людям нравится такая музыка, — возразила Милли. — Хорошие мелодии всем по душе. На такие концерты народ валит толпами.

— Хорошие мелодии есть у Сати[3], Сибелиуса и Малера, у Яначека и Шумана, Бриттена и Бартока. Называю тех, чьи имена первыми пришли на ум. Зачем слушать всякую хрень?

В конце концов, остановились на "Опера-гала" при поддержке радиостанции "Классика FM". В программе были типичные оперные шлягеры: хор плененных евреев из "Набук-

1. Хэйли Дее Вестенра (р. 1987) — новозеландская певица.
2. Ибраим Феррер (1927–2005) — кубинский музыкант, певец.
3. Эрик Альфред Лесли Сати (1866–1925) — французский композитор и пианист.

ко" Верди, "Nessun dorma"[1] Пуччини и "Полет валькирий" Вагнера. Набор этот ничуть не удивил Джека, но жители окрестных домов жаловались на страшный шум.

Он подвел Марджори к ее шезлонгу у самой воды и предупредил, что будет фейерверк.

— Обожаю фейерверки, — заявила она.

— Она сама — фейерверк! — громко воскликнул отец Милли, к немалому смущению Джека. На самом деле, все кругом кричали. Точнее, вопили, открывая сумки-холодильники и выдергивая пробки из бутылок с терпким вином из Нового Света.

— Раньше я и правда была — огонь, скажи?

— Огонь, да какой! Господи Боже!

— Только погляди, как работяги на нашу корзину зарятся, — почти без иронии шепнула мужу Милли.

Откинув крышку, она достала бутылку шампанского; хотя паковали его прямо из холодильника, оно успело нагреться, и, открывая, Джек нечаянно облил себе спереди брюки. Набор снеди был неизменный: традиционные английские деликатесы — такими лакомились на пикниках в каком-нибудь давно забытом романе эпохи короля Эдуарда VII[2], там же лежал непременный набор клетчатых льняных салфеток и мягкий плед. В пироге с дичиной, как всегда, попадалась дробь, но тесть опоздал предупредить зятя: Джек услышал хруст во рту — уцелел ли запломбированный коренной зуб? Крыжовник из собственного сада почему-то опять был раздавлен в кашу. "Открытая чаша" эстрады, подобно мультяшной разинутой пасти с трепещущими от напряжения миндалинами, изрыгала музыку на лужайки и озеро. Эти звуки мучительно действовали на нервы, хотя Джек незаметно сунул в уши изготовленные на заказ затычки. А вокруг царил всеобщий восторг.

Год назад Джек вернулся туда в полночь за забытым на дереве пиджаком и поразился: лужайки были покрыты слоем бутылок, бумажных салфеток и пластиковых стаканчиков. В ушах еще звенела музыка, и от этого зрелища в памяти всплыло все то, что, пусть символически, было для него связано с Хейсом (хотя родители Джека всегда были очень опрятны). Теперь же грязь и хаос Хейса снова захлестывают его, а он, неспособный, как другие композиторы, проявить некоторую снисходительность, забивается в уголок и в очень узком кругу пытается отвести душу.

1. "Nessun dorma" ("Пусть никто не спит", *итал.*) — ария из оперы "Турандот" итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858–1924).
2. Король Эдуард VII правил с 1901 по 1910 гг.

— Ничего себе наяривают! — крикнула мать Милли.

— По-моему, чертовски здóрово! — рявкнул в ответ ее муж.

— А я и не спорю!

До самой операции мать Милли ездила на охоту со сворой собак. Теперь, как известно, охота запрещена вовсе; так, во всяком случае, считается. Но кто же принимает всерьез дурацкий запрет? — посмеиваются знатоки. Джеку довелось наблюдать, как охотники в красных куртках отъезжают от хозяйского особняка. Эта картина, к его собственному удивлению, взволновала и восхитила его, хотя сам он ни разу в жизни не сидел в седле. Но когда охотники вернулись, шумно требуя чаю, они показались Джеку недалекими и тщеславными. Один местный фермер с пафосом утверждал, что кампания против охоты началась с подачи евреев и негритосов.

— Он просто хотел произвести впечатление, — объясняла потом Милли. — На самом деле он очень славный. Но сильно пострадал от ящура.

— По виду не скажешь.

Как только смолкли звуки Вагнера, вспыхнули огни фейерверка, забухали и зашипели, взрываясь, петарды. С неба начал крапать легкий дождик. Джек по-детски обожал фейерверки, хотя давным-давно — ему было тогда четыре года — "огненное колесо", слетев с оси, опалило ему волосы.

— "Победа народа", — вполголоса проговорил он, глядя в небо, где ярко-зеленые огни разом взорвались и превратились в букет темно-синих цветов, угасающих неровными дымными полосками, словно плакучая ива на рисунке безумца.

Когда они уже готовились к отъезду, откуда ни возьмись появился Говард Давенпорт, весь в черном, с букетиков розовых цветов. Говард обожает концерты в Кенвуде, хотя в вопросах культуры он изрядный сноб. Может быть, сегодня опять тусовка геев, подумал Джек, — вроде просмотров "Лоуренса Аравийского" или шикарных пикников группы "Квин".

— Смотри-ка, ты тоже здесь! — просиял Говард.

— Я и сам удивляюсь, что я здесь, — отозвался Джек.

— Пышнейший, вопиющий отстой!

— Просто народу туча, — вставила Милли, складывая плед. — Мама, уже сыро.

— Почему вы в черном? — раздраженно спросила Марджори.

— На черном машинное масло не так заметно, — ответил Говард, указывая на лежащий в его сумке большой круглый шлем.

Джек, как положено, познакомил его с родственниками, и они вместе двинулись лесистыми дорожками обратно к дворцу. Хотя у Говарда была назначена неотложная встреча, мотоцикл он припарковал далеко, на Танза-роуд.

— Я снова безумно влюбился, — Говард беспомощно развел руки.

— И кто же эта счастливица? — поинтересовался отец Милли; видно, выпил лишку шампанского.

— Маркус, — ответил Говард. — Ему двадцать шесть лет, он пишет биографию Сесила Стивенсона.

— Вас никто за язык не дергает, лично мне вообще плевать, — бросил отец Милли.

Он споткнулся о корень, и Марджори, встревоженно цокая языком и придерживая подол длинного платья, другой рукой подхватила мужа.

— В свое время у меня была куча знакомых педиков, — сообщила она. — Так что из-за нас можете не волноваться.

— Постараюсь, леди Дюкрейн, — отозвался Говард.

Джек поморщился: до чего же Говард любит аристократические титулы. Никто не признался, что слыхом не слыхал про Сесила Стивенсона. Чтобы отвлечь друга от амурной темы, Джек стал расспрашивать его про работу.

— В квартете дел невпроворот. На той неделе едем в Японию.

— Замечательно.

— Очень изматываюсь, но из квартета ведь не улизнешь. А у меня еще и частные уроки.

— Мне казалось, ты преподавание терпеть не можешь.

— Мало кто из нас имеет счастье состоять в браке с живым банкоматом.

— Большое тебе спасибо, Говард, — бросила Милли.

— Это он про тебя, зайка? — встрял ее отец.

— Нет, папа. Про дырку в стенке.

Джека раздражало, что тесть с тещей слушают их разговор, это все-таки неправильно с их стороны. Компания уже вышла на главную аллею, но Марджори дышала так шумно и тяжело, что, к ее удивлению, все дружно замедлили шаг.

— Что вы ползете, как черепахи! — возмущенно воскликнула она.

Дойдя до дворца, они уже стали прощаться, как вдруг Говард сказал:

— Между прочим, у меня появился вундеркинд.

— Мучений с ним много? — пошутил Джек и сам почувствовал, что неудачно; видимо, от усталости.

— Поразительный мальчишка. Ему всего пять лет.

— Скрипка?

— Представь себе, альт. Еще и на фортепьяно учится. Но альт — его первая любовь. У матери за душой ни пенса, она вроде бы беженка, но ради сына готова пожертвовать всем. Повезло мне!

— Жаль малыша — угораздило же его получить тебя в качестве учителя музыки!

— Вот именно. Мать как-то пришла на мой концерт, потом навела справки в интернете. Она работает уборщицей в гостинице, снимает на севере Лондона, возле окружной, задрипанную клетушку с тараканами. Я беру за урок половину обычной цены.

Их спутники уже скрылись в доме. Дождем очистило ночной воздух, дышалось легко. Из рощ и с лужаек Хэмпстед-Хит доносились чудесные запахи буйного разнотравья.

— Я тебя понимаю, ты же сам был вундеркиндом, — заметил Говард. — Причем из довольно бедной семьи.

— Брось, Говард, не такие уж мы были бедные.

— Ну, из рабочих.

— Мы жили в новеньком, с иголочки, районе, перед домом — сад, сзади тоже. Отец работал на заводе крупной компании. И не кем-нибудь, а электронщиком. Для этого нужна высокая квалификация. Может, мы и принадлежали к рабочему классу, но мне об этом никто и словом не обмолвился.

— А в других отношениях ты был обычным мальчишкой?

— Посмотри на меня. Что, я не такой, как все?

— Даже слишком как все.

— Вот именно.

— Карапуза моего зовут Яан. Он из... сейчас скажу... из Эстонии. А то меня всякий раз тянет сказать: “Эритрея”.

— Несколько лет назад я прожил в Эстонии три недели.

— Правда? А, да-да, припоминаю.

— Мне там очень понравилось.

— За три месяца он освоил то, на что у меня ушло года три или около того. А я начал заниматься уже в десять. И чтобы такой кроха решительно предпочитал альт скрипке — никогда с подобным не сталкивался.

— Замечательно. Смотри, не испорти его.

— Он очень одарен. Нравится мне это словечко: “одарен”. Его употребила мать малыша. Она прекрасно говорит по-английски, но, слава Богу, не безупречно. Когда встречаешь настоящий талант, не веришь своим глазам. Я тебе говорил, что Маркус пишет биографию Сесила Стивенсона?

— Говорил.

Зачем он рассказал мне про мальчишку? — размышлял потом Джек. На самом деле Давенпорту недостает уверенности в себе. Его почти пугает ответственность за мальчика; взвалив на себя это бремя, Говард боится, что оно подкосит его стоический цинизм.

Этот разговор живо напомнил Джеку поездку в Эстонию. А вспоминать ее не хотелось, особенно теперь, потому что в глубине души он был уверен: все, что с ним там произошло, каким-то образом стало причиной бесплодия Милли. А бесплодие жены каким-то образом связано с его собственной неспособностью сосредоточиться на работе; в результате за последние шесть лет он не сочинил ничего, кроме упражнений для тренировки беглости пальцев. Он даже себе не признавался, что причина тому очевидна и, что еще страшнее, она связана с пошлой и нелепой случайностью.

По возвращении домой семейство собралось в гостиной, чтобы пропустить по глоточку на сон грядущий; после духоты и шума кенвудского концерта Джек был настроен довольно мрачно. К его досаде, к ним заявился сосед, Эдвард Кокрин, финансовый консультант без малого пятидесяти лет. Жена его бросила, и, видимо, в отместку он стал ухлестывать за Милли. Кокрин тоже ездил в Кенвуд, но на другой концерт: в начале сезона Джулз Холланд[1] исполнял R&B[2].

— Хватит хмуриться, мальчики, — попросила Милли.

— Держу пари, Джек, тебя от той музыки воротило, — сказала ее мать.

Это было первое упоминание о прошедшем концерте.

— Пожалуй, вы правы, Марджори.

— Но она хотя бы понятна людям, — заявил Кокрин. — У всех лица счастливые, заметили?

— Автомобильная сирена, Эдвард, тоже вполне понятна.

— Ну, ты же знаешь, о чем я.

— Увы, знаю.

— Не пора ли на боковую? — предложила Милли.

— Их главная приманка — "все включено", — продолжал Джек. — С души воротит.

— Злишься, что там не играют твою музыку, — глупо ухмыльнулся Эдвард.

— Да пошел ты!..

1. Джулиан Майлз "Джулз" Холланд (р. 1958) — английский пианист, певец, композитор (джаз, блюзы и другие жанры популярной музыки).
2. R&B — "Ритм-н-блюз" — жанр популярной музыки.

— Джек, прекрати, — твердо сказала Милли.

— А что, пускай говорит, — заявила Марджори; ее муж одобрительно забормотал во сне. Он дремал в плетеном кресле; на каждое движение его тяжелого тела оно отзывалось скрипом. — Ей-богу, хочется хоть изредка услышать крепкое словцо!

Эдвард почесал лысеющую макушку; его зеленовато-синий летний блейзер был и так уже обсыпан перхотью.

— Пора топать домой, — сказал он. — Завтра вставать в шесть. Еду в Глазго.

— Говард, по-моему, в хорошей форме, — заметила Милли.

— У него появился ученичок-вундеркинд, — сказал Джек. — Пятилетний малыш.

— Вы про того Говарда, с которым мы сегодня познакомились? — зевая, спросила Марджори. — Про педика?

В свете лампы ее пальцы вдруг показались особенно старыми и хрупкими.

— Он из Эстонии, — не отвечая теще, продолжал Джек. — Зовут Яан.

— А мне он показался насквозь, до ужаса англичанином, — сказала Марджори.

— Я про мальчика. Мальчик приехал из Эстонии.

— Предприимчивость — потрясающая, — вставил Эдвард.

— У мальчика?

— У Эстонии, — Эдвард расхохотался.

— Джек раньше прямо-таки бредил Арво Пяртом, — объяснила Милли.

— И теперь брежу.

— Но не настолько, — проронила Милли; Джек часто поражался, как глубоко, до тонкостей она изучила творческую эволюцию мужа.

— Развивается очень динамично, — гнул свое Эдвард, потягивая коньяк. Тяжелые мешки у него под глазами то набухали, то разглаживались. — Самая успешная из всех Балтийских республик. Не страна, черт побери, а одна сплошная интернет-компания.

— За это ручаюсь, — решительно заявила Марджори, будто кто-то посмел усомниться в сказанном.

— Я там был, — сказал Джек, глядя на Эдварда с нескрываемым отвращением.

— Я тоже, — отозвался Эдвард; он ухмыльнулся и подмигнул, явно наслаждаясь впечатлением от своей неожиданной реплики. — Такой до чертиков лихой холостяцкой пирушки, как там, мир еще не видывал.

— Надо понимать, ты напился в стельку, — заключил Джек; у него руки чесались вышвырнуть Эдварда из дому.

— Да уж, мы все сильно... очень... *очень* сильно надрались, — согласился Эдвард и даже подался вперед — для пущей выразительности; в нем проснулась привычка растягивать слова, характерная для ученика частной школы. — Чего скрывать, боюсь, мы слегка наклюкались. Чуток налистились и набрамсились, что было, то было.

— А при чем тут Лист? — удивилась Марджори.

— Это просто каламбур, мама.

— Листать всех наверх! — довольно фыркнул Эдвард, едва не опрокинув кресло.

— Бьюсь об заклад, местные были от вас в полном восторге, — сухо бросил Джек.

— А то!.. К твоему сведению, когда мы съезжаемся туда побухать, эстонцы срубают бабки по-черному. Твердой валютой. В евро.

Лицо Джека исказила откровенная враждебность, глаза злобно сверкнули.

— Не самый легкий способ зарабатывать на жизнь, — бросил Джек и отвернулся. Его удивила вскипавшая в груди ярость. Даже голос изменился. Эдварда Кокрина впору бы пожалеть, ведь от него сбежала жена, прихватив с собой детей, но Джеку в голову не приходило осуждать Лилиан.

— Кстати, о ком там пишет книгу любовник твоего бородатого дружка? — спросила Марджори.

— О Сесиле Стивенсоне.

— Кто ж это такой?

— Понятия не имею, — ответил Джек.

— Могу назвать куда более трудные способы, — губы Эдварда искривились.

— Пускай более трудные, но хотя бы отчасти достойные, — заметил Джек, неприязненно глядя на него.

— Баиньки пора, — бодро сказала Милли и встала. — Папа, пошли.

— Эх, только интересный разговор завязался, — подосадовал Эдвард. Он не сводил глаз с Милли: она склонилась к отцу, и в большом вырезе ее модного платья Джеку и Эварду были видны ее груди чуть ли не до сосков.

— Папочка, встаем!

— Неисправимый тип, да? — засмеялась Марджори. От усталости и под грузом лет она стала бледна как полотно.

Венесуэлка Марита явилась в час ночи, когда хозяева уже укладывались спать. От девушки сильно пахло табаком, духами и спиртным. Ее комнатка на верхнем этаже первоначально предназначалась для няни — если бы у Джека с Милли

были дети. Кабинет Джека был в мансарде под самой крышей, из окна открывалась панорама Хэмпстед-Хита. Когда Марита запускала у себя музыку — всегда негромко, — в кабинете дрожали половицы. Несмотря на великолепные зубы, добродушие и приветливость, свойственные латиноамериканцам, Марита порой раздражала Джека. По-английски она говорила довольно бегло, но очень невнятно. Обязанности ее тоже были расплывчаты, им явно не хватало определенности: она уборщица и сторожиха, изредка — учительница испанского для Милли или повариха; готовила она отменно. Когда у них собиралось больше шести-семи гостей, она прислуживала за столом. Наконец (но только в воображении Джека), она же — няня у воображаемых детей, которых им с женой иметь не суждено, и у призрака того младенца, которого они потеряли, словно мячик в высокой траве за крикетной площадкой.

Вот как это случилось.

Двадцать девять недель спустя после возвращения Джека из Эстонии (они тогда исчисляли время не месяцами, а неделями) живот у Милли был уже очень внушительных размеров. Беременность она переносила хорошо.

Настолько хорошо, что они справились с переездом из Ричмонда в Хэмпстед. Предприятие было не из легких, но их грела мысль, что там они будут любоваться лесами и лугами. Еще прежде, заехав к друзьям в Хэмпстед, они приметили на Уиллоу-роуд один дом, он был объявлен к продаже, но по несуразно высокой цене.

В мечтах Джек с Милли рисовали свою будущую семейную жизнь, опираясь главным образом на иллюстрации Кейт Гринуэй[1], а не на суровую действительность. Однажды Милли целое утро провела на обочине дороги, замеряя вес проходящего транспорта и уровень шума.

— На удивление низкий уровень, — сообщила она. — От птиц и то шума больше. И если дети научатся осторожно переходить дорогу, их можно будет отпускать в луга играть. Там нисколько не хуже, чем за городом.

— А как насчет мерзавцев в плащах?

— Ну тебя, Джек. Ты во всем видишь только плохое.

— Милл, а ты помнишь, что случилось на прошлой неделе? В Ричмондском парке?

1. Кейт (Кэтрин) Гринуэй (1846—1901) — английская художница, писатель, известный иллюстратор популярных детских книг.

— Кто знает, милый, что будет завтра? Вдруг я попаду под автобус, и от меня только мокрое место останется?

Их ричмондский дом был куплен мгновенно, причем за такую цену, что они ушам своим не поверили, но началась канитель с оформлением бумаг, и в результате переехали они за одиннадцать недель до предполагаемых родов.

Хозяйка — дряхлая, тщедушная старая дева, державшая в доме дюжину кошек, — сразу сообщила, что в тысяча девятьсот девятнадцатом году в парке Незерхолл ее погладил по головке сам сэр Эдвард Элгар[1]. После чего заявила супругам, что по их виду и разговору ей ясно: в ее родном доме они оставят все как есть. Только поэтому она его отдает им, а не кому-то другому, да еще по столь умеренной цене (жутко завышенной на самом деле).

— Я вас понимаю, — сказала Милли, одарив старушенцию ослепительной улыбкой. — Дом совершенно восхитительный.

— Вы ведь не станете ничего менять, правда? Поймите, здесь прошла вся моя жизнь. Вся, от самой колыбели.

Как только она съехала, Миддлтоны перебрались в Хэмпстед, и через две недели работа закипела. Милли с Джеком решили выпотрошить и обновить жилище от подвала до крыши: дом был страшно запущен, пропитан застарелой кошачьей вонью и кишел мышами. Со времен Первой мировой войны там не сменили ни единого ковра. Некоторые балки прогнили насквозь; когда на втором этаже один дюжий строитель спрыгнул со стремянки, в кухне рухнул потолок, засыпав все помещение дранкой и штукатуркой. Обои были покрыты пятнами сырости, а в хозяйской спальне — красновато-коричневыми брызгами загадочного происхождения. На чердаке Джек обнаружил кошачий скелет, покоившийся на коническом холмике сгнившей плоти. Хотя Милли еще не стала директором "Гринливз дезайнз", у нее уже были все возможности создать жилье, наносящее минимальный урон окружающей среде и минимально вредное для обитателей, — насколько это возможно в Лондоне. К ее большому сожалению, проект туалетов с механизмом компостирования нечистот оказался неосуществимым. Джека огорчало другое: вместо нормальных ванн в доме установили душевые кабины, но если в их ричмондском доме били мощные струи, здесь из душа едва-едва писало.

Когда начались самые тяжелые и пыльные работы, Джек с Милли на две недели уехали отдыхать в Умбрию. По возвраще-

1. Эдвард Уильям Элгар (1857—1934) — английский композитор романтического направления.

нии они укрывались в той части дома, куда еще не вторглись строители, и наглухо конопатили щели, отгораживаясь от грязи и шума. Марджори Дюкрейн считала их безумцами. Джек и сам не сомневался, что спятит, и очень скоро. А Милли волновалась за ребенка: она была уверена, что через околоплодную жидкость он ощущает вредные вибрации отбойного молотка. Тяжкая была пора.

Сегодня у вас тяжкая пора, а завтра настанет трагическая. И тогда тяжкая пора покажется вам безобидной и прекрасной по сравнению с нынешней, невообразимо горестной порой.

Они поехали ужинать к Николсонам, давним друзьям Милли по Оксфорду. Он — богатый и успешный адвокат, она — хранитель музея Виктории и Альберта[1]. Примечательно, что никто из супругов ни разу не поинтересовался работой Джека. Жили они в прекрасном районе Мейда-Вейл, в самом дальнем его уголке, и въехать туда на машине было не так-то легко. Впрочем, не слишком и трудно, просто Джек не любил ездить к Николсонам. Не то чтобы он жаждал внимания к своему сочинительству — вопросы наверняка были бы нудные, а то и глупые, — только все же хотелось, чтобы его признали профессионалом в своей области. А у них он чувствовал себя тунеядцем; замужество Милли их глубоко разочаровало, и произошло оно, по их мнению, из-за ее левых политических взглядов. Разумеется, они этого не высказывали прямо, но неловкие паузы и недомолвки были очень красноречивы. Хотя Джек немного старше Николсонов, они подавляли и даже пугали его. Трое их малышей и те раздражали, хотя, как на зло, были премилыми и разносторонне одаренными. Мужа почему-то звали Оскар, а жену — Олив. Оскар и Олив. Детьми занималась няня, боливийка по имени Хевен.

Милли и Джек опаздывали к ужину. Утром Милли ездила на ультразвуковое обследование, и среди скользивших по экрану рыбообразных теней и вспышек ей привиделись веки младенца. И она чуть ли не до вечера спешно шила шторы для детской комнаты, под топот сновавших взад-вперед рабочих и оглушительную музыку из их приемника. Милли уже утомилась носить свой большой тяжелый живот, она с удовольствием легла бы в постель и почитала книжку. Но Николсоны водят знакомство с премьер-министром, от званого ужина у таких людей не отказываются. Оскар Николсон — большой знаток вин, даже более тонкий, чем ее папа. Он в восторге от вин из Южной Африки.

1. Музей Виктории и Альберта — находящийся в Лондоне национальный музей изящных и прикладных искусств разных стран и эпох.

Джек ехал на ужин в большом раздражении. Заявил, что не станет пить вино из страны с режимом апартеида, тем более что оно отдает керосином, на котором его привезли в Англию, и вовсе не горит желанием слушать хвастливые разглагольствования Оскара и Олив об их обалденном необъятном особняке во французской глубинке.

— Не глупи, — бросила Милли, оттягивая ремень безопасности от своего огромного живота, — режим апартеида давно канул в Лету, а терпеть Николсонов тебе приходится не чаще двух раз в год.

— Время летит быстро, — отозвался Джек.

В представлении большинства людей, фактически ошибочном, шел первый год двадцать первого века, и ожидания лучезарного будущего уже стали меркнуть.

— Твое любимое выражение.

— Ага, я ведь их не выбрасываю — почищу, подновлю и снова пускаю в оборот. Берегу окружающую среду.

— Пожалуйста, сбрось скорость. Меня тошнит.

Позже, вспоминая подробности той поездки, Джек не сомневался, что сбросил скорость еще *до того,* как все случилось. Они уже въезжали в Мейда-Вейл, и машина шла по прямой длинной дороге в пределах предписанных тридцати миль в час. Слева примыкала дорога поуже, второстепенная, на ней появился полноприводный джип и, заметил Джек, стал замедлять ход, но вдруг, совершенно неожиданно, его тупое рыло, прикрытое пятью толстенными трубами "кенгурятника", вылезло прямо перед капотом их маленького "фольксвагена". Джек крутанул руль, машина резко свернула, ударилась о высокий бордюр островка безопасности и через несколько ярдов остановилась. Они чудом уцелели; еще полдюйма, и их "фольксваген" раздавило бы в лепешку.

— Твою мать!.. Он даже не остановился. Как ты, в порядке?

Милли тяжело дышала и обеими руками держалась за живот.

— Ремень, — с трудом выговорила она. — Меня чуть не сплющило об него.

— О Господи! — запаниковал Джек.

— С малышом все нормально, — сказала Милли, редко теряющая присутствие духа. — Он даже возмущенно брыкался.

— Могло бы кончиться куда хуже, — буркнул Джек. — Надо же, чтобы за руль этого жуткого трактора сел, черт подери, *набитый дурак!..*

Джип, однако, остановился. Джек вылез из машины и, багровый от гнева, направился к нему. Сквозь боковое стекло на него сверху вниз смотрела пожилая женщина. Своими всклокоченными, выбеленными перекисью волосами она на-

помнила Джеку широко известную фотографию, на которой убитая горем беженка выглядывает из поезда, направляющегося в лагерь смерти. Женщина щелкнула замком дверцы, и та под собственной тяжестью распахнулась. Джек злобно воззрился на водительницу джипа:

— Вы что, убить нас решили?

Сидящая за рулем тетка была хорошо одета, на запястьях болтались золотые браслеты.

— Я смотрел, но ничего не заметил, — сказала она с акцентом, похоже, голландским. — Вы приезжал, как сумасшедший человек.

И грустно улыбнулась Джеку. От удивления он даже разинул рот. И услышал, что его зовет Милли. Он все еще держался за тяжелую дверцу джипа; дорога была с небольшим уклоном, петли явно работали плохо; Джек с силой захлопнул дверцу и побежал к своей машине.

— Что случилось?

— Ничего, — ответила Милли. — Просто мы очень опаздываем.

Милли казалась белой как мел — наверно, от бледного света фонаря на островке безопасности. Джеку никогда не нравился Мейда-Вейл, с его прямыми дорогами и огромными домами в викторианском стиле; несмотря на обилие зелени, район выглядел бесплодным. К Николсонам они опоздали на сорок пять минут. Олив заверила, что это даже к лучшему, у нее было время почитать детям книжку, а теперь Хевен рассказывает по-испански сказку, которая им очень нравится, потому что они все понимают. У Оскара сквозь напускное добродушие проскальзывало раздражение.

— Как себя чувствует ходячая колыбелька? — пророкотал он.

— Я-то? Отлично, — пошутил Джек, опережая жену. — Я, братан, хоть кого укачаю.

Ему нравилось разыгрывать перед Николсонами добившегося успеха простачка из рабочей среды, хотя на самом деле он никогда не ощущал себя *пролетарием*. Заодно он подрывал их попытки уязвить его тонкими намеками на его низкое происхождение.

— Сегодня утром была на ультразвуковом обследовании, — сообщила Милли. — Слышала, как бьется сердечко. Видела веки.

— И кто же у нас, мальчик... или девочка?.. — строго, будто вел допрос свидетеля, спросил Оскар.

Сзади подошла Олив, положила руки на плечи мужа и со смехом воскликнула:

— Может, они не хотят это выяснять!

— Вот именно, — подтвердила Милли.

Олив поцеловала гостей в щеки на французский манер и пригласила в гостиную:

— Проходите, ребята, и познакомьтесь с нашими соседями.

Соседи оказались индийцами, молодой супружеской парой из Бостона; "жутко талантливые химики", отрекомендовала их Олив, работают в области биотроники. Как водится в таких ситуациях, незнакомые до сей поры люди с полчаса усердно обменивались очень интересной информацией друг о друге, но, едва сблизившись, немедленно включили защитные механизмы. Индианка Муна была редкостно тонка и красива; под шелком блузки парочкой яиц круглились маленькие груди. Джек вообразил, как прижимает Муну к себе, и они лопаются в его объятиях. Тем временем между хозяевами возникли небольшие разногласия — непременная прелюдия к званому ужину: Олив не терпелось повести гостей к столу, а Оскар хотел, чтобы сначала они отведали его южноафриканского хереса урожая тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года. В стратегически важных местах гостиной были расставлены майоликовые мисочки с необычными закусками к аперитиву, но к ним никто не притронулся, и они казались немым укором собравшимся.

— Я же говорил, опять апартеид, — по дороге в столовую шепнул Джек жене.

Херес отведали за необъятным дубовым столом, пока Олив на кухне доводила до полного совершенства первое блюдо, суп "вишуаз", — перед самой подачей надо было добавить в оригинальную смесь лимонного сока. На горячее подали великолепную утку à la provençale[1], "приправленную травками с нашего огорода в Лебо", и разговор перешел на политику. В свете свечей хозяева выглядели дочерна загорелыми, по контрасту с ними Милли и даже сидевшая рядом Муна казались совсем бледными. Оскар и Олив были решительно против поблажек и льгот иностранцам, они уверяли, что массовая иммиграция плохо скажется на самих иммигрантах. В Мейда-Вейл целую группу косоваров поселили в местном здании для административно-культурных мероприятий.

— Они в жуткой депрессии, — сообщила Олив. — Я привезла им кое-какие игрушки для малышей и почувствовала себя прямо-таки Мэри Поппинс: они всей толпой бросились об-

1. По-провансальски (*франц.*).

нимать меня и целовать. Это, конечно, очень приятно, вот только запашок от них...

— В первую очередь человек лишается чувства собственного достоинства, — заметил Оскар.

— Надеюсь, Олив, ты потом хорошенько отдраила себя с головы до ног, — сказал Джек.

Они с Милли не одобряли бомбардировок Сербии, хотя и считали Милошевича жестоким тираном. Муна с мужем заявили, что не поддерживают ни одну из сторон конфликта, отчего Джек еще больше разозлился. В тысяча девятьсот девяносто девятом году в знак протеста против событий в Югославии он сочинил пьесу для меццо-сопрано, кларнета, фортепьяно и трех мимов, назвав ее "Ни рук, ни ног". Во многом она была навеяна циклом Яначека "Rikalda"[1]. Мимы, правда, оказались так себе. Тем не менее в Дартингтоне исполнение пьесы завершилось овацией, зал встал; "Гардиан" напечатала благосклонную рецензию, а потом "Ни рук, ни ног" со сцен как ветром сдуло. Джек рассказывал о пьесе хоть и небрежно, но весьма обстоятельно, обращаясь главным образом ко второй паре гостей, но его вдруг прервал Оскар:

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он, обращаясь к Милли.

На лбу у Милли блестели капли пота, она была бледна как смерть, но все же ослепительно улыбнулась и сказала, что, видимо, перетрудилась за день и немножко устала.

Повисло неловкое молчание; Джек чувствовал себя круглым дураком. Оскар открыл вторую бутылку "Haut-Medoc" из окрестностей Йоханнесбурга, а Олив заговорила про Шери Блэр. Жена премьер-министра восхищала ее — как та ухитряется быть одновременно и прекрасной матерью, и очень успешным юристом? Позади Олив, как раз за ее головой, Джек заметил на стене старинную картину: корова, стоящая посреди ручья. Джек даже разглядел на табличке имя: Wenzel Hollar[2]. Тони Блэр, безапелляционно продолжала Олив, — замечательный отец и муж, а также блистательный политик, он замечателен тем, что не боится во всеуслышание говорить о своих идеалах.

— Он действительно на редкость славный малый, — вставил Оскар, видимо, для вящей убедительности.

1. "Прибаутки", пьеса чешского композитора и дирижера Леоша Яначека (1854—1928), написанная на стихи для детей, для камерного хора и инструментов (1927).
2. Вацлав (Венцель) Холлар (1607—1677) — чешский график и рисовальщик.

– Вы с ним лично знакомы, Оскар? – спросила Муна; на это Оскар, собственно, и рассчитывал.

– Зубами он вооружен до зубов, – вставил Джек, но его никто не услышал.

– Да, – скромно подтвердил Оскар, – знаком, еще по Излингтону[1].

– А что случилось в Излингтоне? – поинтересовался муж Муны, сверкая линзами тяжелых очков убежденного экзистенциалиста.

– Мы и Блэры жили там какое-то время, – объяснил Оскар. – Можно сказать, соседствовали. Одалживали друг у друга чай и другие мелочи.

– Одалживали чай? – Муна свела бровки. – А потом его же возвращали?

Не отвечая на шутку, Оскар продолжил:

– Кофе там, инструменты и прочее такое. Однажды он попросил кусок трехслойной древесно-стружечной доски – зачем она ему понадобилась, один Бог знает.

– На мой взгляд, наш друг Тони всегда держится довольно экстравагантно, – снова попытался пошутить Джек. Собственно, эту фразу он позаимствовал у Говарда, который сам был утрированно экстравагантным, и не случайно.

– Экстравагантно?..

Повисло неловкое молчание. Во время паузы Джек представил себе Оскара в парике и мантии – наверняка чрезвычайно экстравагантное зрелище!

– Я за ним ничего такого не замечала, – обронила Олив.

– А даже если б и так, ничего плохого в этом нет, – пробормотал Джек и, под влиянием насыщенного, крепковатого "Haut-Medoc", вновь решил блеснуть остроумием: – С другой стороны, если он уверен, как утверждают многие, что у него прямая связь с Господом, разве это хорошо? Нам-то, мелкой сошке, приходится дозваниваться через телефонистку.

Никто даже не хмыкнул. Но Джек не унимался, хотя язык его слушался плохо:

– Слушай, Олив, нынешний премьер правда верит, что у него прямая линия связи с Господом?

Олив беспокойно заморгала:

– Да, *водится за ним* этот маленький недостаток.

– Какой именно? Отсюда поподробнее.

– Ну, он действительно каждый вечер встает на колени и слушает, что Бог ему скажет.

1. Излингтон – район Лондона.

— Так я и думал, — удовлетворенно отозвался Джек. — Должно быть, душа у него всегда покойна, он же знает, что никогда не примет неверного решения.

— Подозреваю, что ведущие политики чуть не поголовно убеждены: Бог на их стороне, — вступил в разговор муж Муны; это был голос зрелого, разумного человека. — Почти все американцы думают так же. Мы недооцениваем влияние религии, полагаем, что люди мыслят рационально. Возьмем хотя бы Джорджа Буша, сына бывшего президента Буша. Знаете, он ведь собирается участвовать в выборах от Республиканской партии.

— Краем уха слышал, — отозвался Джек.

— Теперь его поддерживают "Правые христиане"[1], — продолжал муж Муны. — То ли еще будет, когда он сядет в президентское кресло. Вот когда дерьма нахлебаемся, мало никому не покажется.

Олив брезгливо поморщилась — скорее всего, ее покоробила прозвучавшая за столом вульгарность, а вовсе не известие, что американским президентом станет человек, о котором она толком ничего не знает.

— Круто, — Джек поднес бокал к носу. — Жду не дождусь.

— Пожалуй, я пойду прилягу, — едва слышно проговорила Милли. — Простите меня, пожалуйста.

— Извини, Милл, что с тобой? — спросил Оскар.

— Это ты нас прости, голубушка, мы про тебя совсем забыли, — склонив голову набок, проворковала Олив; она явно не расслышала слов Милли.

Все смолкли, охваченные безотчетной тревогой, затем дружно поднялись, лепеча извинения, — может быть, в надежде заглушить подсознательный страх какого-то непоправимого несчастья. Джек повел Милли в гостиную, Олив с Оскаром бестолково суетились рядом. Муна налила из кувшина стакан холодной воды и намочила салфетку. Ее муж, единственный из всей компании, остался за столом, сказав жене, что предпочитает не путаться у людей под ногами, и продолжил трапезу. Салфетку положили Милли на лоб.

— Ох, как неловко, — виновато сказала Милли, — по-моему, у меня открылось кровотечение.

Джек почувствовал, что от ужаса у него тошнота подкатила к горлу.

1. "Правые христиане" — радикальное фундаменталистское направление в политическом спектре США, отвергающее многие либерально-демократические ценности, укоренившиеся в стране.

— Черт возьми, Оскар, где тут телефон?

— Погоди, не паникуй. Не надо нервничать.

— Я не нервничаю, твою мать!.. Просто хочу срочно вызвать врача.

— Не могу нащупать ребенка... Видно, все пошло не так, как надо.

Милли лихорадочно тискала свой живот. По большому удобному дивану, накрытому покрывалом ручной работы, расползались влажные пятна. Свисавшие по углам покрывала несообразно большие пухлые кисточки путались у нее под руками.

— Я его не чувствую, он не движется...

Пятна, хотя и мутные, не были кроваво-красными.

— Но не все же время ему двигаться! — воскликнул Джек.

Он никогда не видел Милли в таком состоянии. Вот ужас. Жена почти раздражала его. И почему она сказала "он"? Им ведь неведомо, какого пола ребенок. Муна гладила Милли по лбу, Олив ушла за полотенцами. Оскар дозвонился до врача и своим басистым голосом сдержанно, как подобает адвокату его ранга, объяснял, как к ним проехать. Милли заплакала. У Джека все перевернулось внутри. Ведь чем больше она расстраивается, тем хуже для ребенка.

Оскар положил телефонную трубку.

— Не дать ли ей глоточек бренди, как ты думаешь? — спросил он.

— Это все из-за той дурынды на чертовом джипе, — выпалил Джек. — Ни с того ни с сего выперлась прямо перед нами, вот и напугала Милли.

— Ее стиснуло ремнем безопасности? — вдруг спросила Олив.

— Да. А что? Это известная травма?

— Все будет хорошо, — сказала Олив, но в ее глазах мелькнула тревога.

Через пятнадцать минут, которые показались вечностью, приехал врач; к тому времени Милли успокоилась. Лицо ее было мраморно-белым, только под глазами выступили багровые пятна. Полотенце под ней не сильно намокло, с облегчением отметил Джек, и явно не кровью, хотя кое-где виднелись красноватые полосы. Стало быть, первым долгом надо прекратить истечение жидкости. В эти пятнадцать минут разгорелся спор, не стоит ли самим отвезти Милли в травматологию. Оскар не был уверен, что знает дорогу до ближайшей больницы, и принялся разыскивать справочник. Книга, судя по всему, осталась в конторе, объявил он в конце концов. Когда заскрежетал дверной звонок (что-то с ним, видимо, случилось — очень уж редкая модель), все с облегчением

вздохнули. Врач, маленькая полная женщина лет пятидесяти с небольшим, почти не скрывала, что поздние субботние вызовы ее изрядно утомили, но, узнав про историю с ремнем безопасности, немедленно стала звонить в "скорую помощь".

— Почему вы сами сразу не вызвали "скорую"?

— Как-то в голову никому не пришло, — признался Оскар.

— Понятно, — врач выразительно вздохнула; окружающие поняли, что экзамен на зрелость они провалили.

— А я как раз об этом думал, — объявил подошедший наконец муж Муны.

Сидя на полу, Джек держал Милли за руку. Ему казалось, что, пробившись сквозь густой туман, он взобрался на обширную, исполненную покоя равнину. Теперь все наладится. Узор на покрывале, чересчур пухлые кисточки, влажные волосы на лбу Милли, расшитая гарусом подушечка у нее под головой представлялись ему эпически важными подробностями. Оба они находились в самом центре мироздания, времени и пространства. Насчет третьего существа — невидимого ребенка — такой уверенности у него не было.

Ультразвуковой экран был пуст. Пуст и черен, чернее выключенного телевизора. Ни маленьких белых вспышек, ни расплывчатых очертаний ручек, ножек, головы, ни намека на желанное движение, на толчки сердца.

— Боюсь, сердцебиение не регистрируется, — проговорила врач; на нагрудном кармашке ее белого халата темнело пятнышко от шариковой ручки.

Экран был неправдоподобно, космически черным. Он отказывался показать даже мертвое дитя. У Джека чесались руки вдарить по крышке черного ящика — так однажды бахнул по телевизору отец, когда во время любимой передачи Джека "Самые популярные"[1] телик вдруг сломался, — бахнул от обиды за сына, сам он терпеть не мог эту передачу. Они собирались назвать малыша Макс. А родилась бы девочка, назвали бы Пиппа. Медсестра велела им ехать домой и до четверга не возвращаться, потому что в отделении занимаются только экстренной родовой помощью. Джек хотел возмутиться, но было не до того — он прижимал к себе Милли; сидя в коридоре на пластиковом креслице, она безутешно рыдала. Они решили обратиться в клинику Св. Иоанна и Св. Елизаветы, эта частная больница напротив крикетного ста-

1. Еженедельная музыкальная программа Би-би-си-1 с участием поп-музыкантов.

диона "Лордз" казалась более надежной. Вызвали такси, приехали, но даже там их не приняли, предложив вернуться утром. Он смутно помнил, как они дожили до утра. Милли лежала на их супружеской кровати, Джек держал ее в объятиях, но она твердила, что никогда не чувствовала себя такой одинокой. Джек понимал, откуда у нее это чувство: она долго носила в себе другое существо, а теперь его не стало.

На следующий день в стандартной маленькой палате вполне сформировавшийся, но спящий вечным сном ребенок с помощью кучи всевозможных медикаментов покинул материнское чрево; Милли кричала от боли так, будто рожала живого младенца. К этому Джек не был готов. Ему казалось, что он наблюдает за всем из дальней дали, с огромной высоты. Акушерка поразила его безграничным терпением, нежностью и силой, будто она явилась из иных, высших сфер специально для облегчения мук и утешения страдалиц. Ребенок оказался мальчиком.

— Макс, — дрожа всем телом, пролепетала Милли. Она постарела лет на пятьдесят. — О, Макс. Макс мой дорогой.

Макса обмыли, завернули в полотенце, и в течение двух часов они по очереди держали тельце на руках. От него пахло детским лосьоном, присыпкой и сырой рыбой. Сквозь чуть приоткрытые веки виднелись белки глаз — как у мраморной скульптуры. Крошечные пальчики с безупречными ноготками не пытались ни за что ухватиться. Как никогда прежде, Джек чувствовал, что они с Милли — одно целое, но она замкнулась в своем горе, превратившем ее в нечто ровное, белое, невозмутимо-покойное, ему недоступное.

Позже у Милли начались осложнения. Они опять поехали в ту же клинику Св. Иоанна и Св. Елизаветы, прозванную в народе "больницей Джона с Лиззи"; там "ведущий" акушер страны (хорошо, что не "самая многообещающая" повитуха, вертелось у Джека на языке) занялся его женой. После операции, которая обошлась в такую сумму, что их обоих прошиб пот, хирург сказал, что все прошло хорошо, однако теперь у миссис Миддлтон очень мало шансов забеременеть, не говоря уж о том, чтобы выносить ребенка.

— То есть я теперь бесплодна? — уточнила Милли.

С той минуты, когда перед их машиной выскочил джип, ее не покидало ощущение, что кто-то "перевел стрелки", и поезд ее жизни пошел по тупиковой ветке.

— Этого я не говорил, миссис Миддлтон, — возразил хирург.

Он сидел за широченным старинным столом и слегка поворачивался в кресле из стороны в сторону. Ему было лет со-

рок пять или около того. Пальцы толстые, кожа на тыльной стороне рук гладкая и блестящая, словно после ожога, тем заметнее на ней черные волоски. Джек был бы рад, если бы хирург ему понравился, но совладать с неприязнью не мог.

— Страшное слово на букву "б" я не произнес, — с едва заметной улыбкой добавил акушер.

— Ну, смысл тот же, — отрезала Милли.

Важные персоны не вызывали у нее трепета, ведь она могла проследить свою генеалогию аж до Уильяма Руфуса[1]: в его свите, за спинами самых приближенных вельмож, маячил некий Генри Дюкрейн. Но Джек уловил нотку ужаса в ее голосе.

— Не совсем, — отозвался врач.

Наступило молчание. Милли съеживалась на глазах.

— На эту попытку у нас ушел целый год, — обронила она.

Врач перевел взгляд на Джека:

— У вас часто или хотя бы регулярно происходили половые акты с полным проникновением?

— Достаточно часто, – сгорая от смущения, выдавил Джек.

— Такое бывает, и нередко, — врач надел очки в тонкой металлической оправе. — Как вам, вероятно, известно, по неустановленным пока причинам количество сперматозоидов в семенной жидкости за последние годы сократилось.

— Из-за пестицидов, — глядя в пол, проговорила Милли.

— Или из-за слишком тесных джинсов, — добавил врач, глядя на Джека поверх овальных очков, — ни дать ни взять директор школы, заподозривший неладное.

— Тесных джинсов не ношу, — буркнул Джек.

— Люди считают, что произвести на свет потомство — легче легкого, все равно, что купить гамбургер или машину. А на самом деле, хотя уровень материнской и детской смертности сильно сократился...

— В богатых странах, — вставила Милли.

— Совершенно верно, — со знанием дела согласился доктор: очень многие пациенты приезжают к нему в клинику в длинных лимузинах. — Однако, и тут все отнюдь не просто.

— Есть нам смысл подавать в суд? — уже обычным деловитым голосом спросила Милли. Она держалась просто замечательно.

— В суд? — врач заметно встревожился, что само по себе было приятно.

1. Вильгельм II по прозвищу Руфус (1056–1100) — третий сын Вильгельма Завоевателя; правил Англией с 1087 г.

— Да, на водителя автомобиля, помешавшего нам продолжать движение; мы чудом избежали аварии. Тот водитель и виновен в рождении мертвого плода.

— Столкновения, однако, не произошло, так?

— Так, но нас бросило на бордюр. Мы опаздывали, и муж немного торопился.

— Как бы то ни было, миссис Миддлтон, у вас нет прямых доказательств, что именно это происшествие явилось причиной смерти вашего ребенка. Наши внутренние органы — мозг или матку — ремнями безопасности зафиксировать невозможно; при толчке они продолжают движение вперед, а скорость транспортного средства значительно увеличивает их вес. Полагаю, ваш ребенок погиб вследствие травмы головы от удара о стенку живота, жестко закрепленного ремнем. Однако суд вряд ли сочтет все это убедительным доказательством вины второго водителя.

Зазвонил телефон, врач взял трубку. Милли и Джек пустыми глазами посмотрели друг на друга и уставились в окно. Небо уже почти прояснело. Из просторного кабинета был прекрасно виден стадион “Лордз”: веселые дюжие парни беспечно сражались в крикет. Время от времени доносились негромкие щелчки — удары битой по мячу. Муж немного торопился, сказала Милли; может быть, стоит возразить? Джек точно помнил, что скорость была не больше тридцати миль, но само происшествие из памяти почти стерлось — кроме жуткой картины: огромный капот, вдруг выросший прямо перед их бампером. Врач закончил разговор и стал вертеть в пальцах серебристую шариковую ручку. К доске объявлений был прикноплен листок, алыми печатными буквами предупреждавший о “Проблеме 2000”; катастрофа обернулась пшиком, и спустя полгода устрашающие фразы казались глупыми, но на общем безнадежном фоне почему-то немного обнадеживали. Джеку вспомнился концерт в “Куполе”, его мегашанс и — провал.

— А вы, мистер Миддлтон, чем занимаетесь?

— Я композитор.

Врач оживился:

— Вот как? И что вы сочиняете? Надеюсь, не поп-музыку?

— Нет. Современную. С разнообразными скрипами и скрежетом.

— Очень интересно! Я большой поклонник Берио[1]. А вы как к нему относитесь?

1. Лучано Берио (1925—2003) — итальянский композитор-авангардист.

У Джека возникло странное чувство, что эскулап обставил его по всем статьям: сначала поковырялся во внутренностях его жены, а теперь как бы между прочим сообщает, что он — знаток Берио.

Джек неторопливо кивнул и произнес:

— Весьма хорош.

— Других в Италии просто нет. Раньше я думал, что Лигети[1] тоже итальянец, но он, оказывается, румын.

Такой возможности поставить собеседника на место Джек упустить не мог.

— Венгр, — сказал он и, терпеливо вздохнув, добавил: — Формально, по месту рождения.

К его разочарованию, врач признал свою оплошность лишь едва заметным кивком головы.

— Не пойму, отчего иссяк музыкальный источник в нашей любимой Италии. Были же там и Верди, и Пуччини. Я сам играю на трубчатых колокольчиках.

Милли прикрыла лицо руками, хотя плакать не плакала.

— Не знаю, как жить дальше, — вполголоса сказала она, ни к кому не обращаясь. — Мне не на что надеяться.

Из клиники они вышли рука об руку, провожаемые взглядами смуглых мужчин в солнечных очках с зеркальными стеклами; в центре этой группы стояла женщина в чадре, скрывавшей ее лицо. За плечами у Джека висел рюкзачок с вещами Милли. На стадионе "Лордз" раздались аплодисменты. Мать с новорожденным в переносной люльке усаживалась в серебристо-черную "ауди" с откинутым верхом. Позади кабриолета урчал на нейтралке "ягуар"; из него, весело хохоча, не без труда вылезла беременная, на сносях, пассажирка.

— Пойду, посмотрю крикет, — неожиданно заявила Милли.

— Да? Не лучше ли поехать прямо домой?

— Хочется чего-то нормального.

— Не уверен, что крикет вполне нормален, — заметил Джек, — но, коли мы оба свободны...

— Разве? А что ты наметил бы на тот день, когда я вышла бы из роддома?

— Я же сказал, мы оба свободны.

Наблюдая за матчем, Джек размышлял о том, где именно он совершил ошибку. Его преследовало чувство, что над их

1. Дьёрдь Шандор Лигети (1925—2003) — венгерский композитор-авангардист, педагог; его музыка использовалась в фильме Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея".

жизнью теперь нависла зловещая тень. Некое проклятие. Так на рентгеновском снимке темнеет силуэт опухоли. В давние времена — или если бы они были американцами — они молили бы Бога об укреплении духа и о прощении. О прощении? За что? За чрезмерную беспечность, вот за что. Невеликий грех.

Вы приезжал, как сумасшедший человек. Но это же неправда.

Он понимал, почему Милли не хочет возвращаться домой. Дело не только в том, что дом насквозь пропах краской (строители, сантехники и электрики теперь превратились в маляров и дизайнеров), главное — там нет того, что должно было быть. Нет Макса. Нет его в той комнате, которая была отведена под детскую. Они с Милли заранее договорились, что если имена Макс или Пиппа почему-либо не подойдут, через несколько дней их можно будет поменять. Имя должно соответствовать ребенку. Теперь ребенка не стало, имя превратилось в фантом, в каллиграфическую надпись на маленькой пластмассовой урне с пеплом, который они когда-нибудь потом рассеют по вересковому лугу Хита или по угодьям Уодхэмптон-Холла. Впрочем, окончательно они еще ничего не решили. Урна стояла в глубине шкафа, завешанная платьями Милли. Джек порой открывал шкаф, брал урну в руки и смотрел на содержимое. Пепел в точности такой, как зола, которую садовник Грэм разбрасывает вокруг розовых кустов, слив и персиковых деревьев в оранжерее Холла. Пепел не был просеян, в нем попадались твердые кусочки. Крохотные обломки костей.

Они следили за ходом матча. Игра успокаивала, вызывала дрему. Солнце грело деревянные сиденья; на фоне синего неба вид ярко-зеленого поля, деревьев и одетых в белое игроков действовал умиротворяюще. Висевший в воздухе чуть слышный запах льняного масла, смешанный с ароматом шоколадного кекса и нагретой солнцем травы навевал забытье. Шел практически первый матч сезона, играли команды известного крикетного клуба MCC. Зрителей было не очень много, и лишь небольшая группка в широкополых соломенных шляпах, сидевшая в дальнем конце той же трибуны, бурно выражала свои чувства — явно под влиянием выпитого пива.

Et in Arcadia Ego[1], мелькнула тоскливая мысль. Давным-давно, в Хейсе он пошел со старшим братом Денни на кри-

1. "И (даже) в Аркадии я (есть)" — тема нескольких картин французского художника Николя Пуссена (1594–1665), благодаря которому фраза вошла в широкий оборот. Эту надпись пытаются прочесть на саркофаге аркадские пастухи; "Ego", то есть "Я", символизирует смерть, посещающую даже идиллический край невинных наслаждений.

кетный матч. Была суббота, солнце светило вовсю, из стоявшего между ним и Денни транзистора неслась голос Сэнди Шоу[1]... Внезапно музыку прервал экстренный выпуск последних известий: только что убили Бобби Кеннеди, сообщил диктор. Сколько же тогда ему было лет? Шесть? Семь? Он помнит все, как будто это случилось на прошлой неделе. Денни, длинноволосый парень на целых десять лет старше Джека (именно поэтому родители всегда казались Джеку старше родителей его сверстников), вдруг, к великому изумлению младшего братишки, разрыдался. Лишь недавно Джека осенило: наверно, брат оплакивал не гибель Бобби Кеннеди, а слепоту матери в результате несчастного случая; заводская авария произошла примерно за год до их похода на крикетный матч.

Порой Джеку казалось, что в своем творчестве он пытается определенным образом зафиксировать ту минуту, собрав все ее разнородные элементы в единое взаимосвязанное целое.

— Ты как, ничего? — сжимая Милли руку, спросил он.

Она высвободила руку, положила себе на колени и сказала:

— Конечно, нет. Поверить не могу, что такая нелепая случайность может разрушить всю жизнь.

— Вообще-то люди время от времени даже погибают, — неуверенно пробормотал Джек.

Хотя на дворе был июнь, солнце изрядно напекло ему голову.

Милли удивленно посмотрела на него:

— Господи, ты, случайно, не забыл? Тут тоже кто-то *погиб.*

Расстроенный собственной бестактностью, Джек замолчал.

Игра на площадке тем временем продолжалась, и негромкие щелчки — удары битой по мячу, — ропот и всплески аплодисментов переплетались у него в голове, сливаясь в некие музыкальные фразы. Он забыл темные очки, приходилось постоянно щуриться, и у него уже ныли щеки.

В конце концов, оторвавшись от ткавшегося у него в мозгу музыкального полотна, он сказал:

— Я где-то читал, что беременность — дело случая, чистая лотерея. Главное, что у нас есть хоть какой-то шанс. А если нам повезет, все вернется в свою колею.

1. Сэнди Шоу (наст. имя Сандра Энн Гудрич; р. 1947) — английская певица, победительница конкурса песни Евровидение 1967 г.

Но — выше головы не прыгнешь; ему стало ясно, что достучаться до Милли он не в силах. Вместе с болельщиками она похлопала после "четверки"[1] бэтсмена, потом едва заметно пожала плечами. Вот и весь ответ.

Позже, когда они уже ехали на такси домой, она сказала:

— Возможно, тот твой сон про горящий шкаф для бумаг был нам предостережением.

Уходя со стадиона, Милли снова всплакнула; глаза у нее покраснели, будто после бассейна: она каждую неделю ходила в фитнес-клуб возле своего офиса в Сохо, а потом плавала в бассейне.

— И еще сон про лису в клетке. Может, это вообще один и тот же сон?

Джек мотнул головой:

— Нет, разные сны. Разные.

И перевел взгляд на мелькавшие за окном автомобили и фигуры прохожих.

Стоит только начать врать, тут-то зловещая тень и возникает. "Тут-то она и возникла", — повторил он про себя.

Глава четвертая

Пять лет спустя, через два дня после концерта в Кенвудском парке, Джек слушал у себя в кабинете "Spiegel im Spiegel" Пярта — образец для изучения минималистской лирической музыки, снискавший, тем не менее, большую популярность среди образованной публики. Эта пьеса неизменно действовала на Джека умиротворяюще: только фортепьяно и скрипка, снова и снова зеркально воспроизводящие друг друга, только ветер и капли дождя, все очень просто, бесхитростно и неизменно возвращается к ноте ля. Мощные колонки "Боуз" точно передавали звук, включая тончайшие, еле различимые нюансы, вплоть до шороха и стука педали фортепьяно. Невероятно красиво. Сидя за роялем, Джек наскоро записывал приходившие в голову идеи, поспешно чиркал по нотным линиям, похожим на тонюсенькие проволочки, соединяющие одно внутреннее ухо с другим. Эти внутренние проволочки иногда напоминали ему забор из колючей проволоки; стоит такой забор среди бескрайней, поросшей травой

1. "Четверка" — удар в крикете, за который бэтсмен — игрок, отбивающий мяч, — получает четыре очка.

и продуваемой ветрами равнины, к примеру, в Монголии, и цепляет все подряд. Порой даже обрывки целлофана. И они сгодятся.

Потом он сел у мансардного окошка в уютное мягкое кресло и стал смотреть на просторы Хита. Все у него есть — и нет ничего. Он не нуждается в средствах и, следовательно, может не обременяться уроками, однако подающих надежды учеников он все же берет, просто чтобы быть в курсе событий и в этой области; одна такая ученица вот-вот приедет. После взрывов в метро месяц назад эта пугливая таиландка купила себе велосипед, который то и дело выходит из строя. Она именно так и выражается: “выходит из строя”. Разве может столь простенький механизм выйти из строя? На самом деле у девушки то колесо спускает, то цепь слетает. Поэтому она регулярно опаздывает.

После урока он должен был идти на внеочередное заседание местного совета для обсуждения безотлагательного вопроса: поселившиеся за три дома от них приезжие вознамерились покуситься на святое — на расположенную перед их домом стоянку для инвалидов. Вероятно, соответствующая табличка на металлическом столбике портит им вид из окна. Впрочем, их недовольство скорее вызвано более эгоистическими причинами: у новых хозяев дома есть громадный джип с сильно затемненными стеклами — ни дать ни взять катафалк, опоясанный по периметру хромированными трубами, точно строительными лесами. Теперь его хозяева хотят заполучить удобную парковку прямо перед домом.

Вообще-то на собрание должна была идти Милли, но она в тот день работала. Джек ненавидит собрания. Он член консультативных советов трех крупных музыкальных заведений, в том числе Дартингтона, и заседания приходится посещать с устрашающей регулярностью.

Хорошо хоть родители Милли уехали к себе в Гемпшир.

Под свинцово-серым небом даже зеленый Хит, кажется, был сам себе не рад. Взрывы остались в прошлом, спасатели закончили поиски в пышущих жаром воронках, крысы уже не глодали останки погибших, все положенные слова были сказаны. Добавить больше нечего. Эти события прямо не коснулись знакомых Джека, за исключением тех, кто, случайно оказавшись поблизости от мест терактов и услышав необычно многоголосый вой сирен пожарных машин и карет “скорой помощи”, затрепетал от ужаса. Милли уехала на машине в Гастингс — давать указания частному застройщику многоквартирного дома для престарелых касательно установки, позволяющей повторно использовать не сильно за-

грязненную воду. Едва услышав о взрывах, она позвонила мужу, но он в ту минуту принимал душ, в спальне из стереомагнитофона неслись мощные звуки Шостаковича, и Джек звонка не услышал. Милли оставила на автоответчике сообщение, но, поскольку она звонила из машины, мобильная связь была неважная, Джек почти ничего не разобрал. Позже, в час дня, он решил отдохнуть от обуревавших его идей, съесть салат и послушать новости — и тогда только понял, что произошло. Кроме Милли, ему никто не звонил, так что о трагических событиях в Лондоне он, видимо, узнал последним.

В тот вечер, когда случилась вторая серия терактов, — к счастью, никто не погиб, потому что бомбы не взорвались, — Джек с Милли отправились пешком в индийский ресторан на Флит-роуд. И там, у них на глазах, двухэтажный автобус сбил возле старого кинотеатра чернокожую женщину в длинном черном платье. Джек успел заметить могучие бедра негритянки. Держа в руках сумки с покупками, она ступила на пешеходный переход. Вдруг на противоположной стороне улицы выросла громада автобуса, раздался крик (нечто среднее между визгом и воплем от осознания ужаса происходящего). Секунды спустя автобус остановился, из-под него к ногам Джека и Милли подкатилось несколько ярко-оранжевых апельсинов. Джек бросился через дорогу, уверенный, что увидит жуткое зрелище — рассеченное пополам или разодранное в клочья тело. Посреди мостовой, перед самым автобусом лежала на боку негритянка; отвалившийся белый пластмассовый бампер кротко прислонился к ее телу, такому тучному, что женщину можно было принять за беременную. Автобус то ли отшвырнул ее, то ли протащил ярдов двадцать.

— Беда! — кричала она, пытаясь приподняться на локте. — Беда, точно беда. Еще какая беда, уж поверьте.

Рядом, на перекрестке с Понд-стрит, стояла "скорая помощь" из расположенной неподалеку больницы "Ройял-Фри", так что Джеку не пришлось помогать несчастной. Женщину осторожно перекатили на носилки под ее беспрерывные причитания:

— Беда. Беда-беда, точно беда.

Сложив на макушке руки, словно пойманный с поличным опасный преступник, из автобуса вышел водитель.

— Господи Иисусе, не понимаю, как оно могло случиться, — повторял он. — Просто ума не приложу.

Собравшиеся зеваки бесстрастно наблюдали за происходящим, как обыкновенно бывает в таких случаях. Молодой

парень, который тоже собирался перейти улицу вместе с темнокожей женщиной, повернулся к Джеку и сказал:

— Неудачный вышел день. Вот не задался денек, и все тут, ага?

Но и это прошло, неудачный день исчез в сонме других дней, стерся из памяти, за исключением отдельных клочков, еще всплывавших в сознании или в глубине подсознания некоторых людей.

И теперь Джек работал над сочинением, в котором пытался выразить кое-какие мысли, навеянные тем происшествием. Предварительно озаглавив пьесу “Не задался денек, и все тут”, он оркестровал ее для камерного хора и ударных. Ее первое исполнение было назначено на ноябрь, и не где-нибудь, а в Перселл-Рум, в рамках фестиваля современной музыки. С общего молчаливого согласия главной темой этого мероприятия стал террор. Но работа шла туго. Разные музыкальные куски не желали сочетаться друг с другом, сочинение рассыпалось, точно браслет без связующих звеньев. Ничто на свете не возникает ниоткуда, одно порождает другое. Четыре взрыва он решил передать с помощью барочных литавр, потому что современные металлические ударные перекрывают доминирующие обертона, а ему требуется ясная, отчетливая тональная окраска. Еще его донимал один пассаж, удар тарелок с последующим тремоло: сколько ни пытался, Джек никак не мог найти ему подходящее место. А ведь взрыв стоит у него перед глазами, звучит в ушах. Но сущим бедствием стала навязчивая, как банный лист, популярная песенка про неудачный денек, почти с тем же припевом; казалось, едва он ступает ногой за порог, как отовсюду несется гнусный въедливый мотивчик.

Он вспоминал снежного барса из эстонского зоопарка. Вспоминал частенько, как и того лиса. Звери были связаны друг с другом, только один встретился Джеку сначала, а другой — позже. Оба сидели в чересчур тесных клетках. Все это было словно вчера. Он чувствовал, как вспыхивают щеки при этом воспоминании. *Шкаф для хранения документов, пылающий посреди улицы, и Лис в клетке* описывал происшедшее, но только языком музыки, язык этот не поддается буквальному пониманию, зато можно воспринять какую-то мысль, чувство или строй произведения; они взаимосвязаны и перетекают друг в друга до самого финала — до безмолвия, предваряющего аплодисменты.

В две тысячи первом году, сидя в центре зала “Снейп-Молтингз” и слушая собственное произведение, Джек спрашивал себя: зачем он вообще что-то сочиняет? Понача-

лу его музыка казалась ему очень поверхностной и банальной. Но к середине, когда мелодию, которую вел голос, восторженным мажором подхватили инструменты, Джека унесло куда-то вглубь его существа, где его все это время поджидал некто.

Будто земной шар повернулся на своей оси, чтобы он оказался перед нею, беззащитный и совершенно одинокий.

Взволнованная таиландка явилась на пятнадцать минут позже положенного времени и сообщила, что перед самым выходом из дому у нее украли велосипед. Джек ей не поверил, потому что она жила в западной части Хампстеда, а оттуда за пятнадцать минут к нему пешком не добраться. Любопытно, что толкает такую одаренную музыкантшу на ложь, пусть и безобидную? Ей идет двадцать второй год, а она все еще живет с родителями, которые держат ресторан на Эрлз-корт. Там же, кстати, живет и Говард.

Тут раздался телефонный звонок: звонил Говард. По голосу было слышно, что он в смятении.

— Ты представляешь, Джек!..

— Что?

— Я себе палец сломал, черт побери.

— Плохо дело, — вполне серьезно посочувствовал Джек.

Говард объяснил, что вытрясал скатерть и ударился пальцем о стену дома.

— Где же ты ее вытрясал? — озадаченно спросил Джек.

— У моего друга. В его чудесном саду. Но какая теперь разница где. Турне по Японии отменяется. Во всяком случае, для меня. Я в отчаянии. И мои уроки!.. Придется давать одной рукой.

— Ой-ей-ей!

— Мне наложили шину: открытый перелом верхнего фланга; спасибо, что поинтересовался. Канитель на месяц, не меньше.

— Любопытное словечко — “фланг”. Фаланга, что ли?

Говард нуждался в утешении. Кроме того, ему требовался кто-нибудь, кто смог бы аккомпанировать его ученице на прослушивании в Королевском музыкальном колледже, она должна исполнять “Marchenbilder” Шумана, и ей положен последний урок.

— Когда?

— Сегодня в пять часов. Per favore[1].

1. Умоляю (*итал.*).

— У меня собрание местного совета на чрезвычайно важную тему.

— Пусть Милли сходит.

— Ты же знаешь, Милли работает. В семь вечера возвращается домой — как выжатый лимон, и не мудрено, если с утра до вечера пытаешься втюхать устройства для компостирования нечистот и фотоэлектрические панели людям, уезжающим на выходные в Австралию.

— Слушай, Джек, ей-то зачем убиваться на работе? Ладно я — мне бабки нужны. А она — сама себе банкомат...

— Говард, так мне ехать к тебе или нет? У меня сейчас урок.

— Ты не пр-р-росто ге-ений, — с псевдоитальянским акцентом начал Говард, — от тебя исходит ар-р-ромат р-роз.

— Ага, понял. Ты попал в точку. Имей в виду, я внес наш уговор в ежедневник, а то вдруг ты до завтра все позабудешь.

Сидевшая за роялем таиландка с улыбкой на губах внимательно и терпеливо наблюдала за ним. Они занимались серийной техникой, использованием в ней хроматизмов. Листки бумаги на столе были исписаны цифрами и стрелками, напоминающими химические формулы. Джек подсел к девушке, размышляя про себя: что стоит за ее горячим интересом к занятиям? Может быть, она не равнодушна к нему? Или у тайцев так принято, входит в их правила учтивого обхождения? Когда они с Милли задумались об усыновлении ребенка за границей, в список стран-кандидаток вошел и Таиланд. Им обоим уже исполнилось сорок, значит, обращаться в официальные органы нет смысла; поэтому, прежде чем прибегнуть к услугам агентства, они довольно долго изучали географический атлас. Сколько же в мире донельзя бедных или раздираемых конфликтами стран! Есть из чего выбирать. Поскольку Милли много работала с поставщиками древесины, полученной в результате ответственного и экономного прореживания леса, у нее были обширные связи в Таиланде. Тайцы, как и вьетнамцы, казались им обоим приятными, вежливыми и дружелюбными людьми. Все это походило на выбор штор. Прошлой весной они оба внезапно взбунтовались и отвергли эту затею.

— Мы вернемся к ней позже, — сказала Милли. — И не обязательно брать ребенка в Таиланде. Можно поехать куда-нибудь еще, где живут гораздо хуже. В Буркина-Фасо. В Мали. Или в Нигер, у них там детей пруд пруди.

— Нам подойдет увечный, пораженный проказой малютка, которого где-нибудь в Сомали сбросили в сточный коллектор, — поддразнил ее Джек.

— Именно! — отозвалась Милли.

— А может, нам просто взять сенбернара? — тем же легкомысленным тоном предложил Джек.

— Не смешно.

— Согласен. Но если говорить серьезно, моя идея насчет собаки не так уж и глупа. На прошлой неделе к Джонсонам вломились грабители.

— Только когда переедем за город, — отрезала Милли.

Что-что, а собачьи повадки ей были хорошо знакомы: влажные, липкие, как следы улитки, нити слюны на мебели и коврах, воняющие псиной мокрые шкуры... Сейчас у ее родителей живет пара золотистых ретриверов, так они вечно тычутся носами вам в пах, будто ищут затерявшийся мячик.

Внезапно Милли расплакалась. Ей вспомнился Макс, обожгла мысль, что вот-вот ей стукнет сорок два года, а переезд за город планировался ради маленьких ножек, которые топотали бы по лужайкам. У ее лучшей подруги Саманты Карлайл в сорок три года уже началась менопауза! Но у Сэмми пять дочерей и большое поместье в Девоншире, где все выращивается исключительно на натуральных удобрениях.

На самом деле, сравнивая себя с родителями и почти со всеми вокруг (о последнем знал только ее муж), Милли остро переживала свою никчемность. Поместье унаследует Филип, по праву старшего брата, — так повелось еще с одна тысяча сто пятого года (за одним-единственным исключением, вкравшимся в стройную генеалогию наподобие случайного узелка в плетеной веревке, но в семье предпочитают о нем не вспоминать). Поэтому она с головой ушла в работу: разъезжая по занюханным городишкам вроде Бейзингстока, истово уговаривала отвратных недорослков с козлиными бороденками пользоваться при ремонте офиса только экологически безопасными материалами. Прошла ускоренный курс фэн-шуй и в дополнение к договору предлагала консультации по наилучшему освоению пространства. Но фэн-шуй уже начал терять популярность, поскольку никакого ощутимого улучшения в корпоративных отношениях или в доходах замечено не было. Все это страшно изматывает. Ручеек серьезных заказов почти пересох, теперь Милли в основном занималась частичной перепланировкой детских садов да возведением деревянных домов со встроенной сауной для членов правления разных корпораций, причем эти заказчики требуют, чтобы в доме стоял запах смолы. В то же время газеты и журналы уверяют, что сектор “зеленого” строительства непрерывно растет. Милли по-прежнему надеется, что мир опомнится и даст себя спасти. Джек давным-давно расстался с

этой иллюзией, но восхищается женой-идеалисткой. Вполне искренне восхищается.

Йех терпеливо ждала. Джек опять, далеко не в первый раз, вспомнил, как Милли расплакалась, и помрачнел.

— Ну-ка, Йех, сыграйте мне Шёнберга так, будто девушка плачет по любимому.

Прикрыв ладошкой рот, Йех закатилась смехом, так что очочки едва не свалились с ее изящного носика. Интересно, она коснулась плечом его плеча случайно или намеренно? Таиландка напомнила ему давнюю подружку-китаянку. Йех играла позднего Шёнберга так, словно это было "Verklärte Nacht"[1], одно из его ранних произведений, а Джек думал: что, если бы вслед за погибшим сыном у него родилась дочь? Полюбила бы она играть на фортепьяно так же сильно, как Йех? Он сделал пианистке пару замечаний, а потом заиграл сам, будто пытаясь вывернуть пьесу наизнанку: ноты вместо пауз, и паузы вместо нот.

— Как красиво! — сказала Йех, вновь касаясь плечом его плеча.

От ее волнения и следа не осталось. Быть может, оно было вызвано встречей с ним?

— Имейте в виду, Йех, когда войдете в отвратительный мир музыкантов-профессионалов, никогда не говорите этого людям, которые выше вас по положению или более одарены. Они услышат в этих словах иное: "До чего же мне хочется играть так же!"

— А мне и правда хочется.

— Вы играете по-своему, я — по-моему. Кем вы хотите стать, композитором или исполнителем?

— И тем и другим. Хочу сочинять музыку и играть для любимого.

Она смотрела ему прямо в глаза. Он отвел взгляд и откинул со лба упрямую прядь волос.

— Ладно, Йех, на сегодня достаточно. Через неделю в то же время. Ноктюрн Шопена.

Ему нужно думать о Милли, плакавшей в тот день и многие другие дни.

Дверь открыл Говард. Палец с шиной аккуратно забинтован. В глубине дома слышались звуки скрипки, кто-то играл что-то вроде тарантеллы.

1. "Просветленная ночь" (*нем.*) (1899) — произведение австрийского и американского композитора, дирижера и музыковеда Арнольда Франца Вальтера Шёнберга (1874–1951).

— Слышишь?

— Это не Шуман.

— Самый маленький альт. “Балканский танец”, упражнение.

— Твой вундеркинд?

— Не стерео же, — засмеялся Говард.

Бойкая музыка смолкла. Они вошли в гостиную; там стоял маленький мальчик в вельветовых шортах и рубашке с белым воротничком. Черные как смоль волосы упали на лоб. В руке мальчик держал миниатюрный альт, казавшийся для него слишком громоздким.

— Это Яан, мой маленький кудесник, — сказал Говард. — Мы уже почти закончили.

— Привет, Яан. Меня зовут Джек. Сокращенное от “Джон”. На самом деле Джек ничуть не короче, чем Джон, верно? Думаю, Яан и Джон — одно и то же имя. Возможно, нас зовут одинаково. Во всяком случае, прически у нас одинаковые.

Мальчик кивнул, но не сказал ни слова. Лицо у него было необычайно серьезное. Джек знал за собой эту склонность: разговаривая с детьми, нести какую-то белиберду.

Рояль, огромный концертный “Бехштейн”, занимал большую часть гостиной. Его ножки тонули в пушистом белом ковре, похожем на шкуру английской овчарки дьюлакс. Джеку нравилась непорочная белизна, царящая в апартаментах Говарда. На белых полках стояли темно-желтые изделия из глины, в Священном Писании этот цвет называется цветом буйволовой шкуры. Говард утверждал, что это керамика шумерской эпохи, но Джек ему не верил. Книжные полки были выставлены в прихожую, отчего она казалась тесной. Говард вложил в квартиру все свои деньги. Окна выходили в самый дальний угол парка Болтон-гарденз, противоположный от Эрлз-Корт-роуд. И кухня, и обе спаленки, и крошечный кабинет Говарда — все сверкало чистотой. В гостевой комнате стояла двуспальная кровать; Джек ее прекрасно помнил: наезжая в Лондон из Гааги, он останавливался у Говарда, благо, квартира у него очень удобная. Бывало, едва Джек ложился почитать перед сном, тут же являлся Говард в шелковом халате и, подсев к другу, заводил один и тот же разговор.

— Ты, Джек, — очень близкий мой друг.

— Правда?

— Конечно. Мне кажется, мы могли бы сойтись еще ближе.

— Наверно.

— Мне кажется, мы еще недостаточно близки.

— Нет-нет, у нас и так редкостно тесная дружба.

— Но она могла бы стать гораздо теснее. Сейчас, Джек, в ней чего-то не хватает.

— А по-моему, все просто замечательно.

Иных, более решительных, попыток сближения Говард не предпринимал никогда. Не делал откровенно сексуальных намеков и не распускал руки. В конце концов, он отчаялся и оставил Джека в покое.

Мальчик слегка прихрамывал. Сначала Джек старался не обращать на это внимания, но, когда Говард повел Яана в кухню выбрать что-нибудь из разложенных на столе нот, нельзя было не заметить, что при ходьбе ребенок раскачивается из стороны в сторону.

Джек сел за рояль и пробежался пальцами по клавишам; у Говарда они явно более тугие, чем на его рояле, ощущение от игры другое. И, судя по звучанию нижнего регистра, инструмент пора настраивать. Поскольку маленький хромоножка приехал из Эстонии, Джек заиграл Пярта, "Für Alina". Эта пьеса дает простор для импровизации — разумеется, если вы учитываете указания автора: *Умиротворенно, возвышенно, прислушиваясь к себе.* В прошлом, когда это сочинение еще не приобрело известность, Джек играл его часы напролет. В приоткрытую дверь кухни ему виден мальчик, но тот не поднимает глаз. Какая у малыша славная круглая мордашка. Тут Говард с Яаном вернулись в гостиную; Джек мягко заглушил длинную ноту и снял руки с клавиш.

— Так ты, значит, из Эстонии? — обратился он к мальчику. — Я люблю Эстонию.

У Яана чуть набух уголок рта. Это могло означать что угодно. Может быть, и улыбку.

— Яан, покажи моему другу, что ты умеешь, — предложил Говард. — Джек ведь знаменитый композитор.

— О, да, еще какой знаменитый, — иронически отозвался Джек; собственный голос показался ему неестественно резким.

— Сыграй-ка ему Моцарта.

Яан немедленно сунул альт под подбородок и, не сводя глаз с ножки рояля, исполнил маленькую сонату Моцарта. Джек в жизни не видел, чтобы ребенок играл с такой неистовостью; казалось, он отчаянно борется с сильным потоком, тем не менее из-под смычка лилась довольно изящная музыка.

Джек захлопал в ладоши.

— Чертовски здорово! — серьезно похвалил он. — Очень красивый звук.

Конечно, миниатюрный альт звучал по-детски наивно, юному музыканту не хватало тонкости, но для пятилетнего

малыша, у которого за плечами всего один год ученичества, исполнение было поразительное.

— Чем же тебе нравится альт? — спросил Джек.

Ему вспомнилась Кайя, игравшая на концерте в Таллинне; но все это подернулось дымкой забвения и отчетливо виделось лишь в его снах.

Мальчик молча пожал плечами. Он еще ни слова не сказал Джеку. Вопрос и правда довольно глупый. К концу сонаты Моцарта в кармане у Говарда ожил мобильник, Говард ответил и через пару секунд обратился к Яну:

— Мама едет за тобой, — сообщил он. — Но автобус застрял в пробке. Движение жуткое после... гм... — Он осекся и повернулся к Джеку:

— Ну-с, что скажете, господин Знаменитый Композитор? Не слабо, а?

— Совсем не слабо. Впечатляет. — Джек покусал губу и сказал: — Представляешь, Яан, один из моих любимых композиторов — эстонец. Арво Пярт, слышал про такого?

Мальчик упорно отводил глаза и хмурил брови, будто напряженно размышлял над чем-то.

— Говард, — вдруг сказал он, — можно мне в туалет?

— Конечно, босс. Только не забудь поздороваться с Клиффом.

В уборной на подоконнике стоял аквариум с золотой рыбкой по имени Клифф. Лет десять назад Говард выиграл рыбку на какой-то ярмарке; вода в аквариуме была мутно-зеленая. Когда мальчик вышел, Джек спросил Говарда, отчего малыш хромает.

— Деформация стопы. Мать все перепробовала — и гипс, и ортопедический аппарат; улучшение гигантское, но больше уже ничего поделать нельзя.

— О Господи. Бедняга.

— Он держится молодцом.

— Это видно.

Джеку хотелось перевести разговор, и он спросил Говарда, кто его заменит в квартете “Думка”.

— Хеннинге Ландаас, — ответил Говард, плюхаясь на диван.

— Тогда, значит, все в порядке.

— Но я так мечтал съездить в Японию. Говорят, мышца может полностью не восстановиться. А ведь я даже не страдаю повышенной хрупкостью костей.

— Да, грустная история. Я тебе рассказывал про женщину, которую у нас на глазах сбил автобус?

В дверь позвонили. Сморщив кривой ястребиный нос, Говард не без труда поднялся с дивана.

— Вот и нервная мамаша, — не понижая голоса, сказал он. — Заезженная жизнью Кайя К.

— Кайя?!

Сердце у Джека остановилось, но потом, сделав усилие, забилось вновь, словно бы говоря: “слишком многого ты от меня хочешь”. Он встал с табурета перед роялем, ноги, однако, отказывались его держать, и он снова сел. Надо спасаться бегством, но скрыться можно только в кабинетике Говарда. А тот уже открывает дверь в прихожую, его загораживает лишь арка и боковая стенка книжного шкафа. Маленький эстонец вернулся в гостиную; волосы у него черные, как у Джека в молодости (два года назад стала пробиваться седина, и теперь шевелюра у него искусственно черная, правда, от хны появился едва заметный рыжий оттенок), и на лоб так же свисает густая прядь, напоминающая гитлеровскую челку. По-прежнему отводя взгляд, Яан стал укладывать альт в футляр. Что же делать? Джек растерялся. Голоса, доносившиеся из тесной прихожей, превратились в лица. Одно принадлежало Говарду, а второе — молодой женщине, которую Джек видел впервые в жизни. Какой же он дурак! Ежу ясно, что в тех краях имя Кайя встречается не реже, чем в Англии имена Сара или Хелен. Такие совпадения обычно происходят только в телеспектаклях и дрянных романах. Лондон кишмя кишит женщинами из России, Польши и стран Балтии. Но она, пожалуй, чересчур юна для такого сына. В руках держит футляр для альта нормального размера.

— Знакомьтесь, это Джек Миддлтон, — произнес Говард. — Композитор, тот самый.

— Здрасьте, — сказала девушка.

— Здрасьте, Кайя, — сказал в ответ Джек.

— Меня зовут Ффиона, — хмуро поправила девушка. — Через два “ф”.

— А, то есть фортиссимо, — машинально заметил Джек, немало удивленный таким поворотом.

— Тут небольшое недоразумение, Ффиона. Я думал, что в дверь звонит Кайя, мама этого мальчика. А на самом деле появились вы, Ффиона с двумя “ф”, да еще на пять минут раньше срока.

— Да, впервые за все время.

— Аккомпанировать будет Джек, — сообщил Говард. — Ниспосланный нам Господом.

— Благодарю вас, падре, — отозвался Джек. — Гимн номер сто сорок два.

Ффиона производила двойственное впечатление: либо она девушка очень серьезная, либо сильно не уверенная в себе.

Темноволосая, довольно привлекательная, несмотря на тяжеловатый подбородок и плотно сжатые губы. Приглядевшись, Джек понял, что она еще совсем молода, — лет восемнадцати-девятнадцати, не более. Черные брови придавали ей выражение неизменной озадаченности. Яан сел на диван возле своего альта в потертом кожаном футляре; маленькие ноги болтались, не доставая до полу. Джек опустился на табурет перед роялем, потряс кистями, чтобы расслабить мышцы, и ободряюще улыбнулся мальчику, но тот на улыбку не ответил. Поистине эти двое эстонцев — два сапога пара, подумал Джек. Быть может, они ведут себя так в противовес чересчур возбужденному Говарду, создавая своеобразный контрапункт.

Ффиона спросила Джека, нужны ли ему ноты. Нужны, сокрушенно признался Джек, хорошо бы положить Шумана перед глазами.

Играла Ффиона превосходно, только без души; получалось добросовестно, но не очень музыкально. И хотя бы раз улыбнулась.

Когда они закончили, Джек поблагодарил альтистку.

— Сыграно безупречно, — похвалил ее Говард и скороговоркой перечислил несколько замечаний; Ффиона лишь молча кивала головой.

— Главное — перед прослушиванием *непременно* расслабьтесь. Это приказ. И начните с лица. За лицевыми мышцами расслабятся и все другие. *Compris*[1]?

На плотно сжатых губах Ффионы мелькнула улыбка. А занятно было бы поцеловать этот рот, подумал Джек; сначала чуть касаясь губ, чтобы они помягчели, а потом прильнуть долгим затяжным поцелуем... В кармане у Говарда зазвонил мобильник.

— Надо же, — подавляя раздражение, проговорил он в трубку. — Не волнуйтесь. Я ему объясню. Он здесь в полной безопасности.

Повернувшись к Яану, Говард сообщил, что его мама все еще в пути: автобус застрял в дорожной пробке.

— После взрывов движение в городе стало просто чудовищным, — заметила Ффиона.

Яан навострил уши. Говард спросил, не хочет ли он стаканчик сока гуавы.

— Да, пожалуйста, — вежливо ответил Яан.

Ффионе уже надо было ехать; все дружно пожелали ей удачи.

1. Понятно? (*франц.*)

— Обрати внимание, эта девица ни разу не сказала "спасибо", — проворчал Говард, когда они с Джеком зашли в кухню. — Я это давно за ней подметил. А вот малыш Яан прекрасно воспитан, хотя и не англичанин. Сварить, как говорят у нас в Дербишире? Господам вроде тебя перевожу: "заварить чаю?". Вчера я испек кекс с клубничным джемом, и он даже *поднялся!*

— Спасибо, да, только по-быстрому. А мамаша Яана откуда едет?

— Из Баундз-Грин.

— Где это?

— Хороший вопрос. На севере, прямо на окружной, если ехать в сторону Энсфилда. Край зомби. Линия Пикадилли, если на метро, но после недавних событий она в подземку ни за что не полезет.

— Как ее фамилия?

— Крон. А что?

— Ничего. — Фамилию Джек слышал впервые. У него отлегло от сердца, но настроение почему-то не улучшилось. — Баундз-Грин — не ближний свет.

Яан внимательно разглядывал необычно яркий блик на столе — его отбрасывал освещенный солнцем стакан с соком. Говард принялся разливать чай. Клубничный кекс выглядел до смешного нелепо — ни дать ни взять высокий, как у ярмарочного паяца, цилиндр, разрезанный пополам вместе с головой; впрочем, на вкус кекс был очень хорош.

— Знаешь, как учитель музыки я почему-то пользуюсь большим спросом, — сообщил Говард, подхватывая салфеткой капли с носика чайника. — Прямо-таки нарасхват. Ажиотаж не меньший, чем на нестандартную недвижимость с красивым видом из окна, на оригинальные трюки, или на чип FCH.

Джек ничуть не хотел увеличивать количество своих учеников, однако почувствовал легкий укол зависти. Говард работает не покладая рук, потому что нуждается в деньгах. Он тоже был бы не прочь в них нуждаться, вдруг подумал Джек. Может, она сменила фамилию? Вышла замуж?

— Как дела у Милли? Экологический бизнес процветает?

— О, хорошо, что напомнил — мы же уходим в семь тридцать. Годовщина свадьбы.

— И какая? Солидная?

— Вполне.

— Рубиновая или брильянтовая?

— Думаю, пластмассовая. Двенадцать лет.

— А тогда, скорее, что-нибудь полудрагоценное, вроде яшмовой. Или, может, сапфировая. Уже двенадцать лет? Неве-

роятно. Слушай, а все-таки вы с ней, несмотря на обстоятельства, молодцы. — Глаза Говарда увлажнились. — Уверен, рано или поздно, когда вы и ждать перестанете, обязательно случится что-то хорошее.

— Уже немало времени прошло, — уклончиво отозвался Джек.

Говард встал и подлил мальчику соку. Тот болтал ногами, легонько постукивая пятками. Сочувствие Говарда претило Джеку: все-таки он не дряхлый пенсионер и не инвалид. Он допил чай и поднялся из-за стола.

— Ну, я побежал. Спасибо за чай.

— Это тебе спасибо, правда-правда.

— Пока, Яан. Счастливо тебе.

Мальчик молчал, разглядывая стакан с соком; казалось, мысли его где-то далеко.

— Нет, я серьезно, — уже у двери решительно заявил Говард. — Ффиона Фортиссимо — не самое редкое дарование среди альтистов, но к музыке относится устрашающе серьезно. Для нее занятие с тобой значило очень много. Я твой должник.

Джек заметил, что из кухни за ними наблюдает Яан, и помахал ему рукой. Мальчик отвернулся.

Джек пошел вниз по мраморной лестнице; вдруг его пронзила мысль: а ведь Говард — его лучший друг. Из всех друзей только он один способен до слез огорчаться их бездетностью. Когда-то Говард вместе со своим покойным другом Джулианом даже подумывали усыновить ребенка, но оба целыми днями пропадали на работе (Джулиан был главным организатором музыкальных фестивалей). Опять же, дети никогда не оправдывают надежд родителей. Берио[1] написал свои тридцать четыре скрипичных дуэта для младенца-сына. И что-то не припомнить, чтобы сын Берио в конце концов увлекся игрой на скрипке. Впрочем, возможно, несчастному малышу просто не оставили выбора. Или же он смотрел ввысь на белоснежные облака и страстно мечтал об арфе.

Джек вышел на улицу и повернул к Болтон-гарденз. Краем глаза он заметил позади женщину, она перешла улицу и направилась к дому Говарда; Джек проводил ее глазами и спустя несколько мгновений рысцой поспешил вслед. Сердце в груди гулко колотилось.

1. Шарль Огюст Берио (1802—1870) — бельгийский скрипач, композитор.

Женщина уже поднялась по ступенькам к парадной двери. На ней была легкая юбка и свободная летняя блузка, с шеи, наподобие шарфа, свисала хлопчатобумажная кофта.

Женщина скрылась в подъезде.

Стоя за деревом на другой стороне улицы, Джек осторожно, одним глазом выглядывал из-за ствола. Из парадной двери, держась за руки, вышли мальчик и его мать; мальчик припрыгивал на ходу и болтал без умолку. Куда только подевалась его застенчивость? Держа футляр с миниатюрным альтом наперевес, словно ружье, мать молча слушала и с улыбкой кивала сыну.

Джеку хотелось громко окликнуть ее по имени, но он стоял недвижимо. Так и простоял столбом, пока она не скрылась из виду.

Продолжение следует

Дриблингом через границу

Польско-украинский Евро-2012

Фрагменты книги

Переводы с польского и украинского

От редакции

В 2012 году состоялся 14-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2012). Финальные матчи проводились с 8 июня по 1 июля в восьми городах двух стран — Польши и Украины. Три с лишним недели эти города жили в особой атмосфере футбольной лихорадки. Общее число болельщиков на стадионах — примерно 1,3 миллиона — стало рекордным для европейских чемпионатов. Тема Евро-2012 появилась на страницах прессы, на телеэкранах и в интернете задолго до самого чемпионата и во время финала достигла апогея. В обеих странах-хозяйках этому горячему периоду предшествовала длительная напряженная подготовка. Когда до начала финальных игр оставалось совсем немного (в апреле 2012-го), в Польше вышла книга, которую мы сочли интересной для читателей *ИЛ*. По разным причинам. Потому что в ней содержится непосредственный отклик на одно из популярнейших международных событий. Потому что — повторяя вслед за известным польским лингвистом Ежи Бральчиком — "футбол может быть точкой отсчета едва ли не для всего. Он бывает любовью, религией, политикой, искусством и знанием". Потому что под одной обложкой собраны эссе выдающихся польских и украинских писателей, представляющих каждый по одному — своему, родному — городу из числа тех, в которых проходили матчи. Потому что все эти писатели — каждый на свой лад, не ограничиваясь "футбольными" рамками, — талантливо рассказывают о своих городах, своих согражданах, их ментальности и специфических чертах, о быте, нравах, истории, политике... А еще потому, что для обеих стран — как пишет в предисловии к сборнику "Дриблингом через границу" один из его авторов Сергей Жадан — "...чемпионат станет чудесной возможностью для примирения и взаимопонимания".

Если рассматривать книгу как футбольное поле, игроки на этом поле — Марек Беньчик, Наташа Гёрке, Петр Сéмён, Павел Хюлле (Польша) и Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Наталка Сняданко и Олександр Ушкалов (Украина). Для публикации мы выбрали тексты пятерых из них, "выступающих" за Варшаву, Гданьск, Познань, Львов и Донецк (за неимением места остались за бортом Вроцлав, Киев и Харьков). Но и этот урезанный состав дает, как нам кажется, объемную картину, в которой есть и футбол со своими страстями, и большая политика, и повседневная жизнь...

Павел Хюлле

Пан Янек
Гданьск

Перевод с польского Елены Губиной

ПОРОЙ во время проведения матчей в Труймясте становилось небезопасно. Особенно на станциях, оккупированных болельщиками.

Но сначала объясню вам, что такое Труймясто. Это три совершенно разных города, расположенных рядом, у Гданьского залива, на берегу Балтийского моря, или Ostsee. Гданьск кашубы[1] называют Гдуньском, а немцы Данцигом. Сопот — бывший Цоппот. Гдыня — портовый город, построенный поляками в 20-е годы из-за неспокойной ситуации в тогдашнем Вольном городе Гданьске[2], где польские корабли не всегда чувствовали себя уютно, особенно начиная с 1933 года, когда политическая власть перешла к нацистам.

© by Paweł Huelle
© Елена Губина. Перевод, 2013

1. Кашубы — западнославянская этническая группа, проживающая на севере Польши. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Вольный город Гданьск — город-государство под протекторатом Лиги Наций, образованный 10 января 1920 г. согласно Версальскому договору 1919 г. В его состав входили собственно Гданьск и свыше 200 более мелких населенных пунктов бывшей Германской империи. Польша имела особые права в городе, но большую часть его населения составляли немцы.

Bene. Истории достаточно. В Гдыни футбольный клуб называется “Арка”. В Гданьске — “Лехия”. У Сопота, который расположен между ними, никогда не было собственной хорошей футбольной команды, зато были неплохие сборные по регби и баскетболу. Поэтому когда играли гдыньская “Арка” и гданьская “Лехия” и когда от этой встречи зависело, какая из команд сохранит место в первой лиге (а такое иногда случалось), Труймясто напоминало осажденную крепость. Болельщики вели себя словно гунны, наводнившие Рим. На перронах пригородных электричек приходилось глядеть в оба. Если вы натыкались на болельщиков “Арки”, надо было, услышав: “Лехия — отстой!” — усмехнуться. А если встречали группу фанатов “Лехии”, не стоило кривиться при их выкриках “Арка — засранка!” Когда какой-нибудь распалившийся болельщик спрашивал пассажира: “Ты за кого, блин, болеешь?” — самым безопасным было ответить: “За сопотское ‘Огниво’”, потому что у Сопота не было футбольной команды в лиге и, как я уже упоминал, там увлекались регби. Сопот, стало быть, был нейтральным и безопасным. И милиция (в коммунистические времена говорили “милиция”, а не “полиция”) действовала достаточно умело. Махачи на стадионах, как и перед ними, разумеется, случались, но дерущихся разгоняли быстро и решительно. А подцензурная в то время пресса далеко не всегда на следующий день сообщала о драках, ведь в “самом передовом” государстве рабочих и крестьян превыше всего ценилось спокойствие. Спокойствие über alles.

— Ты только посмотри, что сейчас творится! Конец света. Никакой культуры. Драки, бейсбольные биты, бутылки, разбитые витрины, изуродованные вагоны. А власть? Демократы — слабаки, размазни, болваны, с фанатами справиться не могут, — высказался пан Янек, заказывая очередное пиво.

Мы сидели в ирландском пабе на углу Грюнвальдской и Ясековой долины и смотрели на экран большого телевизора, где показывали драку болельщиков, довольно бездарно усмиряемых полицией. Горели автомобили. Телефонная будка, вырванная с корнем, словно дерево, лежала посреди проезжей части как символическая баррикада отделяя силы полиции от обезумевших фанатов. Пули со слезоточивым газом оставляли следы в воздухе. Камни лупили по щитам полицейских. Офицер, руководящий операцией с мегафоном в руке, призывал толпу разойтись. Он сообщил, что сейчас полиция начнет стрелять резиновыми пулями.

— Конец света, конец света, — повторял пан Янек, потягивая “гиннесс”. — И всё в прямом эфире!

Я любил этот паб, к тому же и жил в трех минутах от него — в самом центре Вжеща[1], который немцы называли Langfuhr. В десяти минутах ходьбы от этого паба находится дом семьи Гюнтера Грасса. Сейчас на нем памятная табличка, а рядом скамейка, на которой маленький Оскар Мацерат, отлитый из бронзы, бьет палочками в свой бессмертный барабан. Но Оскар был и остается артистом. Он не ходил на матчи, только на парад НСДАП, который срывал, колотя по своей "жести". "Ирландец" стал первым пивным заведением и местом встреч в этой части моего города после обретения Польшей независимости. Работал он до последнего клиента. Раз в неделю я устраивал там собрание "Грабаловской академии". Мои друзья и знакомые всегда усаживались за один и тот же столик. Появлялся специально приглашенный гость: он должен был рассказать какую-нибудь историю. Если "академики" признавали, что рассказ хорош, мы оплачивали счет гостя. Если история не нравилась, ему приходилось платить за себя и... за всех нас. Коррупция исключалась. Ценилось искусство повествования, чистая радость от слова реченого и услышанного. Устное творчество. Как у Гомера, когда пришедший, утолив голод и жажду, начинает свой сказ. И, о диво, мы никогда не испытывали недостатка в желающих принять участие в этом азартном действе. Но пан Янек был не в счет. Он приходил в паб прежде всего, чтобы посмотреть матч. Перед нами у него было одно огромное преимущество: пан Янек был польским гданьчанином с довоенных времен. Не то что мы, рожденные после войны, чьи родители в 1945, 1946 или 1947-м году приехали из Вильно, Варшавы, Львова и Поморья в полностью сожженный, лежащий в руинах город. Пан Янек с малых лет ходил на стадион "Гедании" — был такой польский спортивный клуб в Вольном городе Гданьске. Отец пана Янека погиб в концлагере Штуттгоф[2]. Сам он всю свою взрослую жизнь проработал на Гданьской судоверфи имени Владимира Ленина, ранее — Фердинанда Шихау, и страстно любил футбол. Конечно же, он был болельщиком "Лехии", Гданьск, и команду "Арка", Гдыня, считал величайшим кошмаром своей жизни. Если выигрывала "Арка", пан Янек утверждал, что матч куплен, а судья берет взятки. Когда побеждала "Лехия", он кивал головой, приговаривая: "Вот и хорошо! Так держать!" Пан Янек был ходячей энциклопедией, он помнил все составы "Лехии" начиная с предыстории

1. Вжещ — один из районов Гданьска.
2. Нацистский концлагерь, созданный в 1939 г. на оккупированной территории Польши вблизи г. Штуттгофа.

40 и 50-х годов, когда над стадионом реяли специальные аэростаты, несущие огромные портреты Сталина.

– Глянь, – сказал он, – да это ведь гдыньские – самые хулиганы!

Но, пожалуй, он был не прав. Даже непросвещенный наблюдатель понял бы: только что дравшиеся друг с другом болельщики "Арки" и "Лехии" сейчас сомкнули ряды и с яростью анархистов атаковали батальон полиции. Полицейские применили свое гладкоствольное оружие. Резиновые пули угодили в нескольких болельщиков. По телевизору, однако, нельзя было разобрать, были ли это фанаты "Арки", Гдыня, или "Лехии", Гданьск. Видимо, и те и другие.

– И зачем нужна была эта наша "Солидарность"? – Пан Янек закурил сигарету. – Ради такого бардака? Что ж это за страна, если даже тут не в состоянии навести порядок, все к черту развалилось, – причитал он. – Мне-то хоть повезло, я еще успел получить приличную пенсию. А те, что ушли после меня? Позже? Хрен редьки не слаще, твою мать. Мы не за такой капитализм боролись. И вообще не о капитализме думали. Нам нужен был социализм с человеческим лицом. А ты вообще знаешь, что такое социализм с человеческим лицом? Это, скажу я тебе, когда человек, ясное дело, работает без разгибу, но что-то с этого имеет. *Что-то*, понимаешь? Не нужно вечно брать взаймы, тонуть в долгах. А что мы получили вместо социализма с человеческим лицом? Паршивый капитализм в стиле госпожи Тэтчер. Нет, ты только посмотри, что они делают! Ну и как нам организовать все это ЕВРО?! Еще и с украинцами на пару?!

Сцена на экране телевизора прервалась в тот момент, когда полицейские тащили какого-то фаната к машине. Пан Янек продолжал свой монолог, а я вспомнил военное положение. Год 1981-й. Те же гранаты со слезоточивым газом. Те же пластиковые милицейские щиты. Только сейчас у них каски получше и палки, кажется, тоже. Но тогда не стреляли резиновыми пулями. Я помню, как на виадуке Хучиско кто-то из бойцов ЗОМО[1] выстрелил боевыми, и в толпе демонстрантов на проезжую часть упал молодой парень, упал и уже не поднялся. Погиб на месте.

Я тогда не был в первых рядах. Не был таким отважным, нет, но, как и другие, подбирал гравий с трамвайных путей и

1. Моторизированные резервы гражданской милиции – отряды милиции, сформированные в середине 60-х гг. для ликвидации массовых нарушений общественного правопорядка, а также для оказания помощи населению во время стихийных бедствий и охраны массовых мероприятий.

бросал в сторону кордона милиции. И кричал вместе со всеми: “Нет свободы без ‘Солидарности’! Нет свободы без ‘Солидарности’!” Демонстрация закончилась, когда появились танки. Они водили стволами, выискивая группки демонстрантов погуще. И стреляли. Правда, холостыми, но было страшно: я помню эти вспышки и раздирающий воздух грохот. Страшно. И где гарантия, что при очередном выстреле не полетит боевой снаряд? Мы не подготовились. Ни у кого с собой не было “коктейля Молотова”. Но это, может, и к лучшему. Вдруг, если б хоть один танк загорелся, они бы начали стрелять из пулеметов? Военные в этих танках выполняли приказы генерала Ярузельского. А он приказал подавлять признаки сопротивления любой ценой. Ярузельский пятьдесят лет поднимался вверх по коммунистической карьерной лестнице. И с каждым новым кризисом получал повышение по службе. Например, поддерживал антисемитские чистки в польской армии в 1968 году. С пользой для государства Израиль, которое в результате этого получило прекрасно обученных офицеров высокого ранга. Что бы сегодня о нем ни говорили, помнить надо не только, кем Ярузельский был в 1980 и 1981-м. Надо помнить весь политический путь, который он прошел, начиная с молодого офицера Польской армии в СССР. Просто он всю свою жизнь, будто независимость, защищал советский коммунизм. В глазах общества старался выглядеть великим польским патриотом. Некоторые верят ему до сих пор. Но польский патриот, который приказывает стрелять в поляков на улицах боевыми патронами — по крайней мере в то время, — доверия не вызывал.

Пан Янек приуныл. На экране телевизора появились местные политики. И, конечно же, группа экспертов. Обсуждалось явление стадионного хулиганства. Рассуждали и о том, справится ли Польша с организацией чемпионата Европы по футболу. Построим ли мы вовремя эти огромные стадионы, хватит ли мест в гостиницах, отремонтируем ли дороги и железнодорожные пути, которые не ремонтировались более тридцати лет? Все это смахивало на мыльную оперу. Евроэнтузиасты говорили: конечно, сможем; сторонники братьев Качиньских утверждали, что нет. Пан Янек закурил очередную сигарету — тогда в пабах еще разрешалось курить — и сказал:

— А чтоб их! Эх, сейчас футбол уже совсем не то, что раньше! Ты знаешь, когда меня взяли в “Лехию”, а был я левым защитником, то за выигранный матч мы получали по плитке шоколада? А если проигрывали, тренер нас хаял, и все. Но этого больше нет. Настоящий спорт закончился. Прекрас-

ные были времена, но я не мог и работать, и тренироваться. Пришлось выбирать. Я остался на верфи. Может, если бы не перестал играть, не был бы сейчас простым работягой. Хотя, кто знает... В этом-то и есть красота футбола. Заранее ничего нельзя предвидеть. Ты можешь быть в слабой команде, ну, прямо скажем, в худшей, однако выигрываешь матч. Я тебе кое-что расскажу.

Он глубоко затянулся и начал свою историю:

— Играли мы как-то с варшавской "Легией". За право остаться в первой лиге. Счет был 1 : 0 в пользу ловкачей варшавян. Второй тайм, пятнадцать минут до конца. Стадион битком набит. Такая поддержка наших — просто чума. Я — левый защитник. На меня летит их нападающий, Язвинский, на полметра выше. Хотел меня обвести, но я его раскусил и отобрал мяч. Несусь, как ураган, по левому краю: обхожу одного варшавянина, другого. И что? А ничего. Передать в центр некому. В середине поля из наших никого. Где их черти носят?! Проспали. Пришлось обойти еще двух из "Легии". Все время по левому краю, как по автостраде. Обошел. И отправил мяч наудачу, вслепую, с тридцати метров, потому что меня уже обложили их защитники. И что? Можешь себе представить? Гол! Го-о-ол! Один — один. Ты знаешь, что это за чувство, когда весь стадион поднимается и все орут твое имя? За такой момент не жалко и несколько лет жизни отдать. Вообще все. Ну а потом, на последней минуте, варшавянам штрафной: свалили Чвиклинского, нашего нападающего. Тренер, видимо в награду за мой гол, поставил бить меня. Странное дело — я никогда не бил штрафных в игре. На тренировках — ясное дело. Ну и я сделал классический финт: чуток отклонил корпус влево, вроде собираюсь ударить в правый угол, но в последнюю секунду разворачиваю стопу, и мяч летит в противоположную сторону. Гол! Два — один. Мы в первой лиге! А Варшавка скатывается во вторую. Ты знаешь, в чем мы тогда играли? В шиповках? Кроссовках? Куда там! У меня были обычные кеды. Самые обычные кеды на шнурках. Как сейчас продают, китайские, по пять злотых на рынке. На следующий день газеты — "Голос Приморья", "Вечер", "Балтийский вестник" — писали об этой победе, но моей фамилии не упоминали. Почему? Да потому, что я из тех, довоенных, польских гданьчан. И семья моя тогда была у цензуры в черном списке. Почему? Ведь мой отец погиб в Штуттгофе. Но его брат, мой дядя, служил в вермахте. Он попал под призыв, и выхода у него не было. То есть был — через печь крематория. Вот он и служил в этой гитлеровской армии, хотя был поляком. Погиб под Курском за рейх и фюрера. А в сорок пятом в

Гданьск пришли советские и изнасиловали мою старшую сестру. Хоть она и кричала, вроде как по-русски, что она полька, не немка, и ни в чем не виновата. Но им-то что? Свое дело знали. До смерти изнасиловали.

Пан Янек замолчал. В телевизоре начали появляться первые компьютерные анимации нового стадиона в Летнице — захолустном районе Гданьска, где будут проходить матчи чемпионата. Показали чашу стадиона, новую станцию, можно было также посмотреть проекты новых гостиниц: и очень дорогих, таких как "Хилтон", в центре города, и более дешевых, на периферии, для простых болельщиков. Я уже не сомневался, что пан Янек после четвертой кружки пива закурит последнюю сигарету, зайдет в туалет и попрощается со мной. Но нет. Он вернулся, заказал еще одно пиво и сказал:

— А ты знаешь, как было с евреями?

Я замер, не представляя, о чем он.

А он имел в виду матч между "Геданией" и какой-то командой из Дрогобыча. "Гедания", как я уже писал, — польский спортивный клуб на территории Вольного города Гданьска. До 1933 года его никто не трогал. Там была футбольная секция, секция легкой атлетики, а еще — стрельбы из лука: тут славились польские спортсменки, которые получали много наград на международных соревнованиях. После 1933-го, когда нацисты начали убеждать немецкое население Гданьска, что примерно десятипроцентное польское меньшинство в городе представляет опасность для носителей "великого немецкого духа", у этого обыкновенного польского спортивного клуба начались серьезные неприятности. Деятелей клуба и спортсменов преследовали, а потом — в 1939-м, после начала войны, — очень многих его членов расстреляли в Пясснице[1] или убили в концлагере Штуттгоф. Но не об этом хотел рассказать пан Янек. Его отец был спортивным деятелем и организовал этот матч — встречу поляков из "Гедании" и евреев из Дрогобыча. У меня, вообще-то, много чего ассоциировалось с Дрогобычем (виной тому — биография Бруно Шульца), но никак не футбольная команда. К тому же команда, мягко выражаясь, не ахти какая.

Они приехали. Гданьское шупо[2] тщательно проверяло их — польские — паспорта и багаж. Это был 1934 год. Тренера

1. В Пясницких лесах (Гданьское Поморье) с октября 1939 г. по апрель 1940 г. нацисты расстреляли около 14 тысяч мирных жителей.

2. Шупо (от *нем.* Schutzpolizei) — сокращенное название немецкой полиции, отряды которой были сформированы после окончания Первой мировой войны для обеспечения безопасности жителей Вольного города Гданьска. Просуществовала до 1 сентября 1939 г.

еврейской команды Шломо Минца три часа продержали на таможне, хотя никакой контрабанды он не провозил. Наконец в августовский полдень начался матч. До перерыва "Гедания" вела 3 : 2, во втором тайме Дрогобыч сровнял счет — 3 : 3. Потом "Гедания" забила еще один гол, то есть у поляков стало четыре, у евреев — три. В конце матча Дрогобыч, однако, опять забил, и матч закончился вничью со счетом 4 : 4. Пану Янеку тогда было пять или шесть лет, и он запомнил выкрики с трибун: "Покажи еврею! Забей ему гол!". Мне, впрочем, этот его рассказ кажется невероятным. Польско-еврейский футбольный матч в Вольном городе Гданьске, где уже практически всем распоряжаются нацисты? Ну да, тогда они еще не могли делать то, что делали с поляками и евреями с сентября 1939 года. Но перед стадионом "Гедании" стоял отряд активистов НСДАП с плакатом: "Евреи и поляки, вон из Гданьска!"

И вот что я обо всем этом думаю: стадион в районе Летнево в Гданьске уже построен, готов принять участников Евро-2012. Немцы — как всегда — фавориты этого чемпионата. Они ведь мастера, играют виртуозно. Но я очень рад, что сейчас есть огромная разница: Германия не представляет для нас смертельной опасности. Немцы — соперники в спорте, и ничего больше. А после чемпионата я пойду на могилу к пану Янеку и расскажу ему о самых ярких моментах матчей. Пусть послушает. Пусть узнает, что происходит в городе и на траве самого красивого сейчас стадиона Гданьска. В его Данциге. В моем Гданьске. На левом краю обороны.

Наталка Сняданко

“Карпаты” снова проиграли в футбол

Перевод с украинского Завена Баблояна

УКАЗЫВАЯ свой адрес, устно, в электронной почте или (что случается все реже) на почтовых конвертах, я всякий раз сомневаюсь, как писать название родного города: Львів, Львов, Leopolis, Lwów, Lemberg? Менять его в зависимости от страны адресата или придерживаться какой-то одной версии — и которая будет более политкорректной? За кадром обычно остаются два варианта — Львов и Leopolis. Первый — по актуально-болезненным политическим соображениям, а второй — из-за полного отсутствия актуальных политических коннотаций. Возможно, именно этот последний — гарантированно нейтральный, прозрачно-античный, без неудобоваримой кириллицы и не менее напряжной диакритики, знакомый даже гугловским картам — и был бы лучшим.

За каждым из названий кроется и отдельная история города; эти истории обычно параллельны в горизонтальном временном измерении, но и жителям города очень часто удавалось — и до сих пор удается — существовать в параллельных

© Наталка Сняданко
© Завен Баблоян. Перевод, 2013

мирах и не пересекаться, даже если они живут в одно и то же время и, сугубо теоретически, могли бы понять друг друга лучше. Возможно, прав львовский историк Ярослав Грыцак, который в своем сборнике эссе "Страсти по национализму" утверждает, что "страсти по Львову — это страсти по мифам, которые никогда не сбываются". Национализм, по мнению автора, — главный львовский миф. Но не менее активно проявляются в современной жизни города и другие мифы — мультикультурность, центральноевропейскость, метрополийность, "несоветскость", ностальгия по австрийскому Львову, по польскому Львову, по советскому Львову.

"'Карпаты' снова проиграли в футбол" — так называется песня культовой львовской группы 90-х "Брати Гадюкіни". А львовская команда до сих пор называется "Карпаты". Песню, как мне кажется, можно было бы считать своеобразным слоганом этой команды или, по крайней мере, символом футбольного самосознания Львова, который привык гордиться теми, кто "выращен Львовом для большого футбола" — такая дипломатичная терминология употребляется в спортивно-патриотической публицистике. Но это только мое, крайне непрофессиональное мнение. Потому что футбол я не люблю и, соответственно, в нем не разбираюсь. А от футбольных матчей в памяти остаются самые несущественные, с точки зрения болельщиков, детали — помню, например, усатого дядьку в трамвае, который аккуратно укладывает в пакет свой фанатский шарф. Он делает это чрезвычайно тщательно, но никак не может достичь желаемого результата: трижды вынимает шарф из пакета и заново складывает, стараясь, чтобы линии сгиба всякий раз как можно точнее совпадали. И в этом гораздо больше трогательности, чем педантизма.

Мое самое яркое футбольное воспоминание еще более стремное. Помню, как-то на Пасху пошли мы в пятницу всей семьей в церковь поклониться плащанице. Апрельский вечер, нарядно одетые львовяне перетекают по смирным, исполненным праздничного предчувствия улицам от церкви к церкви, здороваются, прощаются; нереальностью атмосферы это немного напоминает французское кино: вечерние полутени, фонари, сплошная идиллия. И вот охваченные этим французско-православным настроением, выезжаем мы из центральной части города, а навстречу нам — вспотевшая толпа в зелено-белых шарфах. Жиденькая, нужно сказать, толпа, и кое-кто в ней уже торопливо снимает шарф и приглаживает волосы. "Наверное, тоже сейчас пойдут к плащанице", — подумалось мне.

Первый гол в истории галицийского футбола

Футбол, как и всё во Львове, имеет давнюю традицию. 14 июля 1894 года здесь состоялся поединок между местной командой "Сокол" и сборной Кракова, который хозяева выиграли со счетом 1 : 0. Теперь этот день — как день первого официально задокументированного матча между командами Кракова и Львова — считают датой основания галицийского футбола. Благодаря заметке на страницах популярного тогда издания "Gazeta Lwowska" о матче известно практически все. Длился он шесть минут, игра проводилась в рамках второй Галицийской общекраевой выставки (в позднейшее, советское, время написали бы: выставки достижений народного хозяйства, — но тогда хозяйство было еще нормальным, а не народным, так что не очень ясно, какие еще достижения демонстрировались). Понятно, что это была игра, совсем непохожая на то, что мы сегодня называем футболом. Ни зрители, ни сами участники матча не знали правил. Задача была простой и четкой: загнать мяч между флажками на половине поля соперника. Действия игроков были настолько смешны, что вызывали хохот болельщиков. Оцените сами драматизм описания и невероятную свободу в трактовке правил футбольной игры — а этим правилам на тот момент уже исполнился 31 год: "Я стоял слева от краковских ворот (наверняка вне игры), перед которыми бурлила толпа игроков. Вдруг из этой кучи вылетел мяч и покатился прямо мне под ноги. Не раздумывая ни секунды, я сильно закрутил его правой ногой в сторону ворот. Мяч пролетел мимо скопища игроков обеих команд и неожиданно очутился перед краковским вратарем. Он успел поднять руки, но было поздно — мяч уже был позади него. В это же мгновение я услышал громкий верезг — львовяне торжествовали, а гости выражали недовольство. Произошло это на шестой минуте от начала встречи. Несмотря на протест пана Выробека, который требовал продолжения игры, потому что его земляки жаждали реванша, нас попросили с поля, на которое уже выходила группа гимнастов, чтобы демонстрировать коллективные упражнения..."

Вот она, жестокая диктатура случая — в истории остается не тот, кто годами тренируется и упорно стремится к вожделенной цели, а тот, кто случайно оказывается в нужный момент в нужном месте: шесть минут на поле, вокруг суета, в которой

ты не участвуешь, и тут вдруг мяч сам выкатывается тебе под ноги — остается просто его пнуть.

Тот единственный исторический гол забил игрок львовской команды, шестнадцатилетний второкурсник учительской семинарии Влодзимеж Михал Хомицкий. Звездой мирового футбола он так и не стал. Потом преподавал физкультуру в 9-й городской гимназии. По окончании Второй мировой войны жил уже не во Львове, а в Хоцянове Легницкого воеводства. "Gazeta Lwowska" не сообщает, переселился ли он добровольно или так же, как большинство поляков, которых после войны насильно отправили в Силезию, на бывшие немецкие земли. Известно только, что умер Хомицкий 12 июля 1953 года, а на его могиле, на бронзовой табличке сообщается о главном достижении его жизни — участии в историческом футбольном матче и забитом в ворота противника голе.

Забавное в этой истории — традиционно непростой в польско-украинских отношениях момент, — "что было чьим" и кто у кого выиграл, поляки у украинцев, украинцы у поляков или поляки сами у себя, если учитывать, что поляк из львовской команды забил гол в ворота краковян. Украинские источники при упоминании об этом событии обычно используют такие выражения, как "первый матч на украинской земле", польские же пишут о "первом голе в истории польского футбола"; условно компромиссным можно признать вариант "галицийский футбол", если, ясное дело, не уточнять, что имеется в виду: Восточная Галиция, к которой в то время принадлежал Львов, или Западная, поскольку к ней тогда принадлежал Краков, а теперь западно-галицийским городом стал Львов. Но стал только для украинцев. Вот так региональное с течением времени превращается в международное, восточное в западное и наоборот.

Гимнастическое общество "Сокол", которое первым начало культивировать во Львове футбол, или, как тогда говорили, *копаний м'яч* (мяч, который пинают), было основано в 1867 году. Тогда во Львове уже существовали польские, еврейские, немецкие и украинские спортивные клубы. Преподаватель учительской семинарии Эдмунд Ценар привез из Англии первые мячи; вскоре были опубликованы правила игры и разработана программа развития футбола в учебных заведениях Львова. Для показательных гимнастических упражнений и футбольных матчей (которые тогда называли "упражнением с мячом") еще в мае 1894 года в Стрыйском парке построили стадион с полем 100 на 120 метров и трибунами на 7000 мест.

Тогда же к нему пустили трамвай. Искать этот стадион сегодняшним туристам, интересующимся футболом, вряд ли имеет смысл, музея там не сделали, но сам по себе Стрыйский парк — не худшее место для прогулок. Тем более что рядом с ним размещается одиозное польское консульство. Оно ежедневно бьет мировые рекорды как по количеству виз, которые выдает "приписанным" к нему украинцам, так и по длине очередей, победить которые не могут ни электронные системы регистрации, ни платные услуги "занимателей очереди". Нынешнее блестяще-бетонное здание этого учреждения примечательно еще и тем, что ради его строительства и сокращения очередей (как тогда наивно планировали) был разрушен чрезвычайно милый сецессионный дом конца XIX века.

Сецессия виртуальная

Существует множество способов освоиться в незнакомом городе. Самый распространенный слегка напоминает фастфуд: пробежаться по центральным улочкам, прослушать перечень дат и знаковых мест в исполнении не всегда компетентного экскурсовода, посетить туристически-ориентированное кафе, накупить сувениров, сфотографироваться на фоне ратуши, и с чистой совестью — на футбол.

Осуществить все это во Львове можно, даже несмотря на кажущуюся ненавязчивость здешнего сервиса. Популярные среди туристов кафе часто эксплуатируют самые известные львовские легенды и исторические факты. Легенды касаются прежде всего знаменитостей, которые родились или якобы родились во Львове (таких как Леопольд фон Захер-Мазох[1]: в кофейне его имени вам охотно наденут наручники), украинской национально-освободительной борьбы против советской власти, которая продолжалась в окрестных лесах еще больше десяти лет, после того как Львов стал советским (в кафе, стилизованном под партизанское укрытие, охранники в форме УПА[2] будут требовать правильного отзыва на патриотическое приветствие "Слава Украине"), или, например, изобретенной во Львове керосиновой лампы. Кроме обычных и костюмированных экскурсий, а также экскурсий по львовским подземельям, пользуются успехом полулегальные

1. Леопольд Риттер фон Захер-Мазох (1836–1895) — австрийский писатель, которому обязан своим названием психологический термин "мазохизм". (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Украинская повстанческая армия.

прогулки вдоль речки Полтвы, которую еще в австрийские времена заключили в довольно жуткий, но живописный подземный туннель.

Война памятников против войны памятей

Львов — это город ностальгий разного пошиба; вечнозеленая львовская ностальгия активно пускает побеги и разрастается множеством памятников самых странных архитектонических форм, все более далеких от эстетического совершенства. По количеству с памятниками во Львове могут конкурировать только церкви-новостройки разнообразнейших конфессий, способные удивить даже приученных к советскому китчу искусствоведов. Эстетика постсоветских памятников — открытая рана, которая демонстративно выставляет напоказ весь непереваренный груз тоталитарной мифологии, дешевой монументальности и соцреалистической высокохудожественности. Чтобы вытравить эту эстетику, пожалуй, не хватит и сорока библейских лет. Когда мой сын был маленьким, он боялся большинства львовских памятников. Ему казалось, что харизматический политик 90-х Вячеслав Чорновил плачет, залезши на постамент, — настолько печален с виду этот герой национально-освободительной борьбы и перестройки. Боялся мой сын и писателя Ивана Франко, именем которого назван Львовский университет, — потому что этот одноногий дядька со злобным лицом сейчас слезет и его побьет; а обелиск Шевченко — вообще язык страшной ведьмы. Львовские памятники, несмотря на свою многочисленность и схожесть, почему-то обладают особым умением будоражить чувства львовян. Открытие новых монументов обычно сопровождается скандалами, иногда, правда, негромкими, но совсем без скандалов обходится крайне редко. Всегда оказывается, что памятник поставили не так, не тому, не за те деньги и не в запланированные сроки. Гораздо реже завязываются дискуссии по поводу эстетической ценности того или иного нового памятника, хотя на самом деле только такое обсуждение имело бы смысл. Мини-дискуссия на историческую тему задела и перестроенный к Евро-2012 аэропорт. Сначала вяло спорили о том, стоит ли удлинять взлетно-посадочную полосу на 150 метров, если в реконструкцию и без того уже вложены громадные деньги. С одной стороны, удлинить стоило бы, чтобы на аэродроме могли приземляться даже очень большие самолеты. С другой стороны, вдруг са-

молеты и без длинной полосы обойдутся, а денег жалко. Долгое время так ничего решить и не могли. Зато гораздо живее общественность, да и правящая верхушка, отреагировали на предложение назвать аэропорт именем Степана Бандеры — пользующегося неоднозначной славой борца за независимость Украины, инициатора нескольких резонансных политических убийств в знак протеста против полонизации украинцев в довоенной Польше и голодомора на территории советской Украины, автора проекта провозглашения независимого украинского государства в 1941 году, впоследствии — заключенного концлагеря Заксенхаузен и, в конце концов, убитого в 1959 году в Мюнхене по заказу КГБ. Конкурентом, победившим Бандеру, стал первый официально коронованный в XIII веке правитель Галицко-Волынского княжества, основатель Львова Даниил Галицкий. В свое время оживленно обсуждались и памятники обоим этим историческим персонажам. Величественный рыцарь на коне на Галицкой площади настолько органично вписывается в ряд своих побратимов на таких же конях и в таких же позах, что в случае необходимости мог бы с успехом заменить как Медного всадника в Петербурге, так и Богдана Хмельницкого в Киеве, не говоря уже о менее известных, зато более многочисленных региональных монументах. Не удивительно, что искусствоведов заинтересовали лишь половые органы коня, которые скульптор отчего-то решил изваять непропорционально крупными. Возможно, в этом кроется некая непрочитанная еще историческая метафора.

Степану Бандере и тут повезло меньше, его монумент далеко не столь героичен. Без коня (о племенных признаках и говорить нечего), в плаще с кокетливо откинутой полой, в позе, знакомой по советским памятникам Ленина, — как будто только что слез с броневика и вот-вот произнесет очередную пламенную речь... Наверное, малые дети боятся и этого семиметрового монстра, кулачище которого, пафосно прижатый к груди, размерами скорее напоминает шахтерский, а не кулак сына священника с высшим политехническим образованием.

Война памятников тесно переплетена в современной Украине с войной памятей и неизменно сопровождается войной исторических подходов, кардинально разнящихся у представителей разных территориальных, возрастных и образовательных групп. Изъятая из советских школьных учебников история украинского национально-освободительного движения так и не вернулась в полноценный общественный дискурс. Оттого попытка предыдущего украинского президента Виктора Ющенко присвоить Степану Бандере звание Героя Украины

вызвала бурную реакцию — Бандеру и теперь нередко считают (глядя сквозь призму сталинской историографии) "предателем". Нынешний президент отменил указ Ющенко, мотивируя свое решение тем, что такое звание могут получать только граждане Украины, то есть люди, имевшие украинское гражданство после провозглашения независимости в 1991 году. Так что если бы кто-нибудь решил отменить переименование аэропорта, то, в принципе, те же претензии можно было предъявить и Даниилу Галицкому, который умер в 1264 году.

На самом деле, пример антагонистической симметрии памятников — вовсе не фигуры Бандеры и Галицкого, а, как ни странно, Бандеры и Сталина. Памятники Сталину и Бандере становятся первыми жертвами вандалов, пытающихся таким образом выразить свое мнение по поводу второго государственного языка в Украине, которым русский все еще официально не является. А война памятей, противостояние украинского и русского языков, постсоветской и постгабсбургской ностальгий, традиций и предрассудков не менее активно используется политиками и действующей властью для отвлечения внимания от насущных экономических проблем. Ведь достаточно устроить небольшую провокацию во Львове 9 мая, и все внимание прессы сосредоточится именно на войне, в печати будут цитироваться как официально признанные ветераны Красной Армии, которые считают, что ветеранов УПА официально признавать нельзя, так и ветераны УПА, которые считают совсем иначе. Ну и политики, ясное дело, которые тоже разделятся на разные лагеря и охотно умолчат об очередном повышении цен, скрытой инфляции или мифологизированных расчетах за российский газ. В этой войне не будет победителей, а будут одни только побежденные, так что, наверное, гораздо лучше было бы сразу направить собранные на очередной памятник средства на лечение тяжелобольных детей, содержание сирот и пенсионеров, научные исследования или прочие действительно нужные вещи. На футбол, в конце концов.

Львов, в котором нас еще нет

Проходя по центру, я люблю вспоминать описания межвоенного Львова из книг историка Ивана Крипьякевича и пытаюсь представить себе несуществующее уже кладбище возле кафедрального собора недалеко от Рыночной площади и стену вокруг этого кладбища, еврейский квартал возле руин синагоги "Золотая Роза", ссоры православных с католиками из-

за того, чьи колокола звучат громче и чьи вообще имеют право звонить, борьбу православных русинов за разрешение проводить похоронные процессии через заселенную католиками Рыночную площадь. Пытаюсь представить, как раскачивали несуществующий уже мостик над загнанной теперь под землю Полтвой монахи-францисканцы, чтобы шутки ради сбросить с этого мостика в грязь зазевавшегося еврейского паренька. Как горела львовская ратуша — и в первый раз, и во второй, и в третий. Как нашли гробы с костями в подвалах нынешнего муниципального драмтеатра, чем сильно напугали горожан. Как и тогда уже любили, наверное, сетовать, что "все идет к худшему" и прежнего Львова уже нет.

Но труднее всего, пожалуй, поверить в то, что граница города в XIX веке проходила так близко к центру и что район, где я сейчас живу, по тогдашним меркам был уже где-то в другом измерении и не имел ничего общего со Львовом. В принципе, и сейчас не имеет, если считать одним городом структуру, обладающую всего лишь архитектурной целостностью. Потому что центр Львова — это большая иллюзия города, который пытается справиться с наследием прошлого, освоить это прошлое, обжить, выглядеть в нем уместным. Что редко получается — ведь в домах там живут в основном не потомки тех, кто строил эти стены, отделывал фасады, заботился о чистоте и удобстве. И эти *непотомки*, наверное, чувствовали бы себя комфортнее в панельных коробках львовских окраин, потому зачастую и стремятся приспособить к себе стилистически если не стены, сбив с них лепнину, то хотя бы интерьеры. А Львов окраин — грустная реальность. Унылая, зато честная. И чтобы уже во всех деталях стать негативом центра, именно тут возрождается столь характерная для Львова в прошлом мультикультурность. Если раньше разные национальности — греки, поляки, немцы, армяне, татары, евреи — делили между собой узкие центральные улочки, то теперь картина живущих в городе народностей гораздо живописнее на периферии. На одной площадке со мной живет араб, женатый на украинке, этажом ниже поселилась католическая семья украинизированных поляков, в полуподвале соседнего дома нашла пристанище какая-то корейская религиозная община, а на базаре неподалеку торгуют турки, армяне, молдаване. Кое-кто из них еще не слишком хорошо владеет украинским, но и русского они, как правило, тоже не знают.

Прогуливаясь по любимым улочкам Львова, я часто захожу в бывшие "бродячие кофейни". Это совершенно свободная от туристического интереса страница истории нескольких по-

колений львовской богемы, которая и в советские времена собиралась в таких кофейнях — на некоторое время в одной, затем переходила в другую и так далее. Достаточно было зайти в любой день в какую-нибудь из них, чтобы наверняка встретить и Гию, то есть Григория Гонгадзе, и, тоже уже покойного, культового львовского журналиста Сашу Кривенко, и художников из андерграундного общества "Шлях", и поэтов, скажем, из группы "Бу-Ба-Бу". В студенческие годы мы часто оставляли друг для друга записки прямо на входных дверях университета: "На парах не буду. Пошла в 'Кривую липу'". Наш тогдашний декан собирал записки и приносил их на экзамены, а когда мы не могли ответить на вопрос, ехидно осведомлялся, не рассказывали ли об этом в "Кривой липе" — была такая популярная кофейня в начале 90-х.

Туда ходили, как теперь заходят в социальные сети, ведь кафе испокон веков были обязательным и совершенно необходимым атрибутом мира искусства. Польский писатель Витольд Гомбрович в своих "Дневниках" пишет, что пребывает в состоянии абсолютного отчаяния из-за того, что в Аргентине лишен "даже литературной кофейни". Кто знает, возможно, упадок книгоиздания в какой-то мере связан с предательством богемы, ее переходом из мира реальной кофейни в виртуальную социальную сеть. В этом смысле у футбола перед литературой бесценное преимущество — его невозможно перевести в виртуальное измерение и лишить непосредственных человеческих контактов. К счастью.

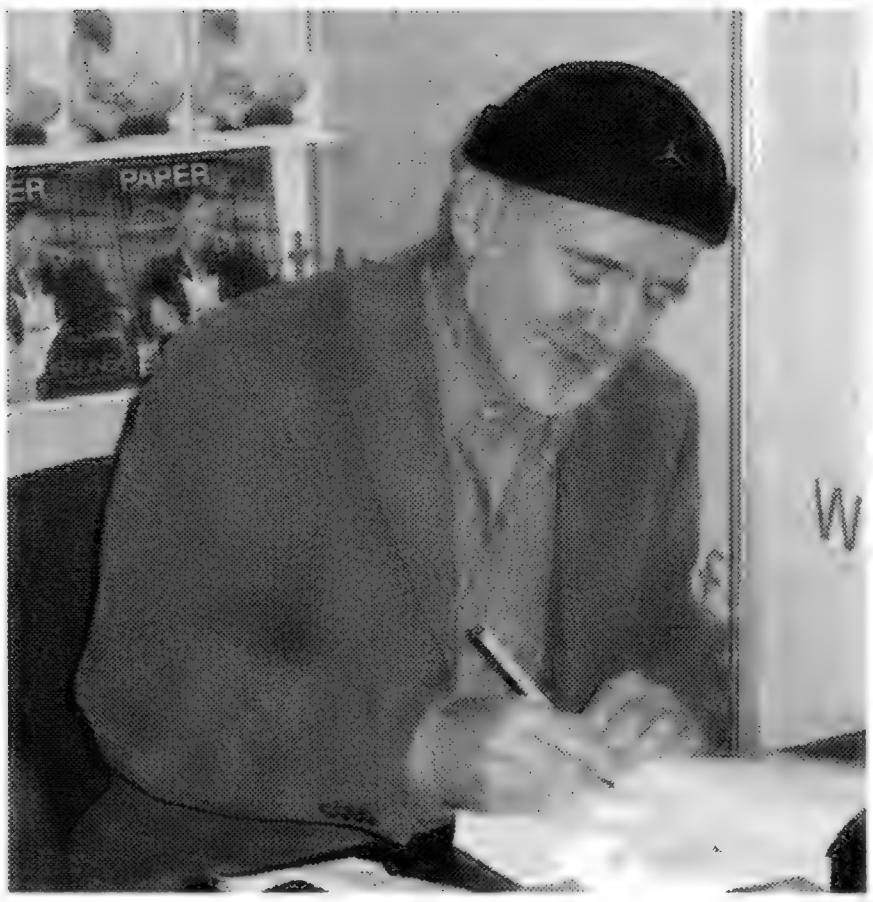
Львовы частные

Мне нравится, когда журналисты, интервьюируя своих впервые приехавших в город собеседников, спрашивают: "Что вы сделаете прежде всего в этом городе?" Нравится читать ответы: пойду на танцы, поднимусь на ратушу, выпью шампанского на Высоком замке[1]. Еще больше мне нравятся туристы, которые приезжают во Львов часто и давно. Вообще-то для них надо бы придумать другое слово: какие же они туристы, если все здесь знают и видели, но продолжают приезжать. Это люди, с которыми приятно прогуливаться, потому что такие прогулки — увлекательная игра, обмен тем, что удалось заметить не поверхностному, а внимательному и острому взгляду.

1. Высокий замок — гора в центральной части Львова (413 м), на которой сейчас разбит парк и устроена смотровая площадка.

То есть с туризмом тут нет ничего общего. Двое моих варшавских знакомых, отец и сын, — именно такие путешественники, они изучают транспортную сеть. То есть изучают ее дома, а приезжают проверить, действительно ли все так, как они читали, и сфотографироваться. Их снимки — сплошные метафоры: трамваи на самой короткой трамвайной линии Европы в Крыму, самые старые в Европе троллейбусы из Тернополя, уникальная троллейбусная развязка в Ровно. Они лучше любого специалиста могут проложить маршрут в любом направлении. Ко всему прочему, на этих фотографиях попадаются удачно подловленные камерой девушки на высоченных каблуках, которые героически преодолевают гору насыпанного поперек дороги гравия, или же философски настроенные бомжи, с удобством возлежащие в брендовых спальниках из секонд-хенда вблизи круглосуточного алкомаркета, потягивая пиво, срок годности которого закончился еще до того, как его успели продать. Попадаются и романтически пустынные утренние серпантины улочек, которые редко видишь такими безлюдными. Или, наоборот, непривычная и оттого больше похожая на флеш-моб огромная толпа возле витрины книжного. Прогулки с варшавянами приятны и лишены элемента одержимости, свойственного обычным туристам. Ведь главное для них всегда одно и то же: доехать вместе до некой точки на карте, установить там штатив, “поймать” кадр, сделать снимок, снова сесть в машину и отправиться назад, заполняя время дружелюбным молчанием или разговором о чем угодно. Например, о футболе. Эти мои знакомые болеют за разные варшавские команды, уже не помню, какие именно, но, точно, оба благосклонно относятся к львовским “Карпатам”.

Марек Беньчик



Последний пенальти Варшава

Перевод с польского Ирины Адельгейм

(*Марек* – Мерседес де ла Торре Монмань)

Мерседес, ты случайно не знаешь, интересовался ли Роберто Боланьо[1] футболом? Спроси, пожалуйста, Хауме Вальробу. Он издатель – наверняка знает.

Обнимаю, Марек.

(*Мерседес де ла Торре Монмань – Мареку*)

Хауме не любитель футбола, я лучше спрошу Вила-Матаса, вот он – фанат (особенно "Барсы"!).

Обнимаю, Мерседес.

(*Энрике Вила-Матас – Мерседес де ла Торре Монмань*)

Обожал. Широко известен следующий фрагмент интервью: "Боланьо, легкомысленный шутник, не кичится своим писательством. Он предпочитает рассказывать байки о детстве в Чили: 'В 1961-м мы жили в Кильпуэ, в пятидесяти метрах от места дислока-

© Marek Bieńczyk
© Ирина Адельгейм. Перевод, 2013
1. Роберто Боланьо (1953–2003) – чилийский поэт и прозаик. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ции сборной Бразилии. Я познакомился с Пеле, Гарринчей, Вавой[1]. Помню, например, что Вава пробил пенальти, а я его не пропустил. Считаю это самым большим своим достижением. Не пропустить пенальти, который бьет Вава!'"

Еще Боланьо говорил, что ему нравятся те, кто загоняет мяч в собственные ворота.

Энрике.

(*Мерседес де ла Торре Монмань – Мареку*)

Как видишь, Роберто обожал футбол. Понятия не имею, кто такой Вава. Ты когда-нибудь слышал о Ваве?

М.

Ян "Джо" Рабенда, винный бар "Мельжинский", улица Бураковская, Варшава, январь 2011

Это было, в общем, не так уж давно. Лет семь назад, может, восемь. Короче, начало ноября, почти облетевшие деревья. У футбольных ворот сохли грязно-желтые кучи листьев. Даже сетка, казалось, увядала, опадала в преддверии зимы. Мы били в "детские" ворота, то есть ставили по паре кирпичей в двух метрах от столбиков, но пенальти — после трех угловых — лупили, как положено. По обычным футбольным воротам, с одиннадцати метров, где сохранился след извести — въелся в землю, как родимое пятно. Начинало моросить, а мы, как всегда в те годы, остались вдвоем. Середина недели, время — часа два дня, вокруг в радиусе пятисот метров — ни души. Вава давал мне фору, два-три очка, он всегда играл лучше, но уже тогда все чаще проигрывал, дыхалки не хватало, я брал скоростью, более здоровым, хе-хе, питанием. Наконец мы закончили, дождь все усиливался — в студенческие годы я написал стихотворение, начинавшееся со слов: "У неба над Варшавой простатит", — и вдруг, уже садясь в машину, я понял. Понял, что мы играли в последний раз — вот-вот выпадет снег, а потом, весной, мы уже не встретимся; понял, что над стадионом "Орел", на главный газон которого я выбежал восьмилетним, в зеленой футболке, воцарилась вечная тишина, которая поглотит все забитые нами за столько — столько! — лет голы, что сегодняшняя, совершенно обычная,

1. Гарринча (наст. имя Мануэл Франсиско дос Сантос; 1933–1983) и Вава (наст. имя Эдвалду Изидиу Нетту; 1934–2002) — знаменитые бразильские футболисты.

встреча завершает наше многолетнее пинание мяча не только здесь, на "Орле", но и везде, на всех гроховских[1] стадионах нашего детства, на газонах возле Стадиона Десятилетия[2], на спортплощадке лицея на улице Гренадеров, на поле возле улицы Вспульна Дрога, где однажды появился Дуда[3], забил мне с поворотом и исчез навсегда, на асфальтовом пятачке у Аптечной и на булыжной мостовой за рестораном "Заглоба", откуда всегда пахло жареной печенкой, на жесткой площадке при начальной школе на Сенницкой, где я учился и куда приходил играть тридцать лет спустя; понял, что со всех этих и подобных им мест в эту среду вечером дождь смывает следы нашего присутствия, тысячи часов, проведенных за пинанием мяча, что наступил неумолимый конец, обращающий весь Грохов в призрачный дождливый музей, и здесь, в этой точке, мне больше ничего не светит. А возможно, и вообще ничего не светит — в ближайшие тридцать лет. Вскоре, впрочем, я перебрался на другой берег Вислы, в центр, и никогда больше не звонил Ваве, как и он мне, и мяч тоже больше никогда не гонял.

Д-р Иоланта Янкович, Институт биологии, дворец Сташица[4], Варшава, январь 2011

Я тебя угощу странным чаем, травяным. Я экспериментирую — выращиваю разные травки, генетикой балуюсь. Этот — с примесью сэнтя, остальные — модифицированная жимолость и лекарственный подорожник. Заказ для фирмы "Гербаполь", пробная партия поступит в продажу через пару месяцев. Напишем на упаковке, что чай повышает потенцию — вмиг раскупят. Я всегда считала это своей личной миссией — улучшить нашему затраханному обществу стояк... Да, дружная была компания, только Вава держался немного особняком, он был, может, и самый умный, самый начитанный, но

1. Грохов — район Варшавы на правом берегу Вислы.
2. Стадион Десятилетия — открыт 22 июля 1955 г., в годовщину так называемого "Июльского манифеста" 1944 г., определившего "социалистический путь развития" Польши; после 1989 г. использовался в качестве вещевого рынка ("Ярмарка Европы"); в 2007 г. был снесен, а на его месте построен новый Национальный стадион, ставший одной из площадок Чемпионата Европы 2012 г.
3. Дуда (наст. имя Сержиу Паулу Барбоса Валенте; р. 1980) — португальский футболист.
4. Дворец Сташица — здание Польской академии наук, построено по заказу философа, ученого, писателя, мецената Станислава Сташица в 1820–1823 гг. и передано варшавскому Обществу друзей науки.

такой... более уличный... дворовый, обожал провокации, сразу бил в слабое место, мог любого одним словом раздавить. Однако на поле они как-то ладили: днем на них рассчитывать было нечего — неслись на свой газон возле Стадиона или на "Орел", так что провожали нас после уроков одни зубрилы-паралитики. Джо появлялся вечером, высчитывал, в какие дни моя мать работает на фабрике во вторую смену и заканчивает в десять вечера — можно было два часа пообжиматься. Собственно, я была его девушкой, хотя мы договорились это не афишировать. Я не любила привлекать к себе внимание, а он меня стеснялся: я не умела скрывать свои чувства, говорили, что у меня все на лице написано, не по возрасту, хотя ведь я девственницей оставалась чуть ли не дольше всех в классе, уж Джо-то знает. Ну а потом, в выпускном классе, я вообще была их девушкой, эдакий Шарик при танкистах, муза абсентскаристов, как они себя по-идиотски именовали. Главным был Джо, но чисто по-дружески я предпочитала Грача, его приятеля. В кино ходили втроем, Джо хватал меня за левую сиську, Грач — за правую, их лапы встречались под моей блузкой, как Герек с Хонеккером на мосту Дружбы. Но прикосновения Джо были нежнее... Ясное дело — поэт. Я в свое время тоже кое-что пописывала, раз напечаталась в "Радаре" и студенческое кабаре организовала. Но больше всего мне нравилось копаться в земле и смотреть, как что растет.

Ян "Джо" Рабенда, "Энотека", улица Длугая, Варшава, февраль 2011

"Орел" был моим любимым стадионом, так сказать, семейным, домашним. Да, пожалуй, все мы его любили. Он казался нам непорочным анклавом, не запятнанным чужаками... До "Орла" город не докатывался, словно бы иссякая на его берегу, боясь переступить границу, воздвигнуть рядом очередную высотку. Точно весь этот стадион — просто случайная, ненужная пристройка, аппендикс, в который отсеивается варшавский мусор. У каждого есть своя ментальная, эмоциональная карта, на которой обозначены главные места жизни. "Орел" располагался на самом краю, сразу за ним, в сторону Восточного вокзала, простиралась область не столько даже неведомого, сколько мне чуждого, ubi leones[1], населенная иным племенем, Зона, в самый раз для Тарковского, мы туда

1. Ubi leones (*лат.*) — земля, где есть львы, т. е. опасный участок.

ходили редко. Стадион “Друкаж” возле Скарышевского парка тоже был не вполне наш, хотя сам парк относился к числу мест благодатных, обжитых. Но подлинной границей была Висла — на левом берегу мы никогда не играли. Хотя ездили туда постоянно, чаще всего на Новый Свят[1], особенно когда при Гереке в городе впервые появились картофель-фри и гамбургеры, сперва с сосисками, а потом уже только с грибами... или в кинотеатр “Скарпа”, где малолеток всегда пускали на фильмы “До восемнадцати лет вход строго воспрещен”... Позже — играть в догонялки с милицией, когда Польша побеждала на чемпионате мира в семьдесят четвертом. Висла была психологической границей, она определяла нашу локальность: да, можешь посещать матчи на том берегу, смотреть на других, но сам играй здесь, ибо существуют вещи настолько интимные, что на чужом берегу их делать не принято. В журнале “Новое слово” как-то напечатали мое стихотворение — какой же это мог быть год, семьдесят третий? — начинавшееся со слов: “Никогда не переступай границ / их переход — измышление философов / чьи жены беспутствуют на парижских улочках / и покупают горькие оливки на рынке Бельвиль”.

Ян Сидло, сквер на углу улиц Подскарбинской и Гроховской, Варшава, февраль 2011

Мышемауса я с тех лет полюбил, пан мобильник, и вообще картинки, чтобы двигалось, зверюшка зверюшку гоняет, а когда люди болтают — скучища. Это у вас все в такую маленькую коробочку записывается? Тогда, наверное, громче надо говорить, верно? Ну да, да, помню я стадион “Орел”, пиво продавали по четыре злотых... когда продавали. Возьму бывалыча “Крулевске”, сяду на травку у забора — я один любил, без дружков, да и гляжу себе на небо. Ни души, пан мобильник, как в костеле после службы. Приходили, да, несколько их было, иногда двое. Джо и Вава, эти всегда, каждый божий день, часами мяч гоняли. Я к ним спервоначалу поперся: вы, курва, куда с мячом, тут, курва, не место, тут люди отдыхают, валите отсюда, курва, в парке, что ли, не выспались, нечего мне тут, курва, солнышко застить. Но разок-другой дали пятьдесят грошей, бутербродом угостили, полегоньку и привык. Иногда с каким из них словом перекинешься, в общем,

1. Одна из центральных улиц Варшавы.

не трогал я их больше. Ну гоняли, да, гоняли как не знаю кто, Макарена — не Макарена, Орел занюханный, Пеле только не хватало. Но скажу тебе честно, пан мобильник, мне было по душе, когда они приходили, смотрел я на них — так всю молодость и пропинают, что за толк в такой жизни, дурацкий мяч, а шуму... надо с этой жизнью что-то сделать, тут собака-то гребаная и зарыта, верно? Так что мне нравилось, когда они тут бывали, на небо гляделось приятнее, облака вы мои, облака, потом-то меня, пан мобильник, на принудительный отдых отправили, надолго, без вины виноватого... без вины... сюда я уж не вернулся, получше себе местечко сыскал, а на "Орле" теперь никто уже не играет, просрали район-то.

Ян "Джо" Рабенда, винный бар "Бодега Маркес", улица Новый Свят, Варшава, февраль 2011

Все эти места, о которых я говорю: "Орел", школьные стадионы или большие газоны у Скарышевского парка на улице Вашингтона, — это были наши понедельники и вторники по сравнению со Стадионом — светлым Воскресеньем. Он был центром Вселенной, они — планетами, кружившими вокруг. Мы даже не добавляли "Десятилетия" — просто "Стадион". Сколько там до него — километр-полтора из дому, от "Орла" — не больше двух. Он всегда был где-то рядом, вроде и близкий, но как бы неприкосновенный; неприкосновенный и абсурдный, черное светило, наше, но в то же время чуть загадочное, сокровенное... Хотя никто его не охранял, на трибунах можно было сидеть сколько угодно. С пятницы до воскресенья на газонах, то есть на площадках возле Стадиона игра шла за игрой, сотни ребят, а ведь площадок было больше десятка. Иногда и в будний день, ближе к вечеру, негде пристроиться; мы там играли редко, нас было мало и настроены мы были очень радикально: играем у себя, между собой, в своем заповеднике. Но Стадион притягивал, как магнит. В общем, взяли мы как-то мячик и пошли: первый теплый весенний день, в воздухе что-то необычное, новое. Туннель был открыт, — тот туннель, по которому раз в год заезжали велосипедисты, каторжники Гонок мира, длинный и темный, — мы просто влетели туда, как сперматозоиды во тьму, вокруг ни души, охранники, видно, где-то пили. Мы хотели было повернуть назад, но Вава обозвал нас трусами, так что мы выбежали на поле, подражая Дейне и Круиффу, добрых полчаса гоняли мяч, робко, но все более вдохновенно,

полчаса отплясывали на животе у нашей королевы, забивали великолепные голы, помню один — с шестнадцати метров в девятку, на зависть Левандовскому[1] и прочим сегодняшним. Я так и вижу эту зелень и греческий амфитеатр, слышу круговое эхо наших голосов, словно пение плакальщиц в Эпидавре. Но в конце концов явились сторожа и прервали сию эсхилову драму. Мы были еще сопляки, так что вызывать милицию или лупить нас они не стали, обошлось руганью. Какой сегодняшний поэт из тех, что пишут стихи, которых никто не понимает, потому что все стыдятся своих чувств и метафор, стыдятся умиления и все друг на друга косятся, как бы у кого не отказал сфинктер, так вот, какой поэт может сегодня похвастаться, что играл в самом пупе Земли?.. Еще в школе я написал об этой нашей игре стихотворение, его в "Студенте" напечатали. Начиналось так: "Вбежать в развер стую королевскую манду / ввести греческий хор / разодрать струп истории / и лизать залежи ионического мрамора".

Кшиштоф Конечный, архитектурная мастерская "Конечный & Венцек", улица Французская, Варшава, март 2011

В общем, как видите, я остался на этом берегу Вислы, на Саской Кемпе[2], и эта корзинка... это говно у меня прямо перед носом. Как решетка на тюремном окне. Съезжать отсюда надо, укрыться там, где эта пакость не будет мозолить глаза, но куда, скажите на милость, куда податься, если это говно царит над городом, как второй Дворец культуры[3]. У меня был совершенно другой проект, вписанный в ландшафт. Прошу прощения, что говорю без обиняков и не стесняюсь в выражениях, недавно вот у меня интервью для газеты брали, но не опубликовали — я, мол, неправильный настрой создаю, врежу́ нашему председательству в Евросоюзе. Стадион Десятилетия, между прочим, — один из лучших объектов сталинской архитектуры: оглядитесь, она была совсем не так плоха, имела свой стиль и характер. А сегодня, по прошествии двад-

1. Казимеж Дейна (1947—1989) и Роберт Левандовский (р. 1988) — польские футболисты, Йохан Круифф (р. 1947) — тренер и бывший футболист сборной Нидерландов, "Аякса" и "Барселоны".
2. Район Варшавы на правом берегу Вислы.
3. Дворец культуры и науки — выстроен в Варшаве по образцу "сталинских высоток" в качестве подарка СССР польскому народу; с 1955 по 1957 гг. был самым высоким зданием в Европе, сейчас входит в десятку высочайших небоскребов Евросоюза.

цати лет свободы, мы живем внутри какого-то монстра, в кошмарном сне недоноска, помеси айпода с домотканым ковриком, и мутант этот зовется Варшавой, столицей Польши, а стадион именуется Национальным, гордостью страны. Стадион Десятилетия, доложу я вам, был задуман как вулкан, кратер, геологический реликт. Он рос книзу, а не кверху, не выпендривался, как шляпа Ханки Белицкой[1] или — если будете переводить на английский — шляпа принцессы на королевских скачках в Аскоте, опорой для трибун служил природный рельеф, в этом направлении и следовало мыслить, а не воздвигать над городом этот гриб, этот бело-красный рыжик, этот неудобоваримый чернобыль. Мой проект голу́бил это место, а не взрывал — обнимал его, гармонично связывал газоны, и, скажу без ложной скромности, комплекс в целом обладал четкими, элегантными, лаконичными очертаниями, вышедшими из-под пера человека, который понимает, что он не умнее природы. Любой швед, норвежец или швейцарец заметил бы это и оценил, но здесь — и речи быть не может, — здесь, в этой стране, надо, чтобы было броско да еще лаком сверху покрыть, чтоб непременно блестело, как яйца у кобеля, а приглашенные немецкие помощнички уважили наш божественный вкус. Приезжайте ко мне в Казимеж, увидите, по какому пути могла пойти польская архитектура, но не пошла — может, кто-нибудь наконец об этом напишет.

Павел "Грач" Голинский, *поезд* "Интерсити", Варшава—Краков, *март 2011*

Что ж, у нас впереди почти три часа, а скорее всего даже больше, опоздает ведь, уже два года все поезда опаздывают. Простите... Можно на "ты"?.. Я тебе в отцы гожусь... Так вот, прости, что предложил встретиться в поезде, в Варшаве газету некогда полистать — звонки, мейлы, вчера вот опять весь транспорт застрял где-то в Белоруссии. Да, а все-таки прекрасные, прекрасные мгновения пережили мы с Джо и остальными, я люблю об этом вспоминать. Он о клубе рассказывал? Нет, не об "Орле" — о нашем клубе "Absens Carens". Мы у Бледного встречались, после уроков, клуб на манер английского: джентльмены, стиль, сдержанность, чтение газет, файф-о-клок, юннаньский чай, дискуссии о культуре и политике; даже удостоверения такие фасонистые сделали. Нет, Ваву Станке-

1. Ханка Белицкая (1915—2006) — актриса театра, кино и кабаре.

вича мы не звали, чересчур простоват был, что ж, absens carens, отсутствующий в ущербе... Их Джо придумал — абсенскаристов этих... Но дело довольно быстро свелось к цимбергаю, на четвертый или пятый раз уже ни газет, ни дискуссий о поэзии — сразу принимались за игру. Бледный нашел шикарную большую доску, играли итальянскими монетами — лиры лучше всего подходили. А начиная с марта все мысли уже были только о стадионе, так что весной у клуба не осталось никаких шансов. Присоединялся Вава, приходил Лех Дембский по прозвищу Интеллектуал, мы снова собирались все вместе, несмотря на внутренние противоречия. Рабенда, ясное дело, поэт, витал в облаках, принес Джойса, а перед заседаниями клуба вечно тащил нас в бар на Французскую... В общем, мы думали читать вслух "Улисса", но цимбергай победил. В утешение Рабенду прозвали Джо — по фамилии писателя, только короче. Я в какой-то момент крепко сдружился с Вавой и Интеллектуалом — знаменитая адская троица, Trio Infernal... Из-за "Легии". Не знаю, слыхал ли ты об этом, но я был одним из заводил на "Бритве"[1] — ну, скажем, одним из главных запевал. Вава и Интеллектуал вставали рядом со мной... В минуту, когда Гадоха с Дейной, Стахурским и Новаком выбегали на поле, мы поднимали трибуну к бою. Кто с нами не пел, тому на "Бритве" было не усидеть. На все матчи по всей Польше втроем ездили. Раз я свалился с тяжелым гриппом, отец запер меня в комнате, так я по водосточной трубе с пятого этажа спустился, суперприключение, я о нем недавно в интервью газете болельщиков рассказывал. И "Легия" выиграла тогда у "Гурника" со счетом 3 : 0. За "Легию" я, правда, в университете уже не болел. Занимался много — философия, социология, кандидатскую начал писать. Но это для меня была слишком тихая жизнь, не хватало напряжения, спортивного азарта, так и родилась моя фирма. Сплошная нервотрепка, все время, как на матче. Пять минут до свистка, ведем 1 : 0, но соперник давит. И вот весь белорусский транспорт к черту, я снова теряю преимущество.

Анета Пётрович, кафе издательства "Чительник", улица Вейская, март 2011

Я как раз сдала в издательство книгу о Варшаве того времени. Историко-социологический текст, одна глава посвящена ана-

1. Разговорное название (с 1970-х гг.) северной трибуны Стадиона "Легии Варшава", на которой сидели самые яростные фанаты клуба.

лизу роли спорта в ПНР и тогдашним реалиям, определявшим стиль поведения на стадионах. Думаю, что и для исследователя варшавского футбола наиболее интересный период — 1946—1979. Достаточно почитать "Злого" Тырманда[1], важнейший роман того времени, изданный в пятьдесят пятом, чтобы понять, какую роль играл футбол или — шире — спорт в жизни варшавян сразу после войны. Спорт на руинах имел огромное значение, он ярче всего выражал потребность в возрождении к новой жизни после кошмара военных лет. Я пытаюсь представить себе это насыщенное, интенсивное переживание спорта, modus, который еще успела застать в детстве. Тырманд блестяще передает концентрацию человеческих эмоций перед началом матча, читатель ощущает растущее на глазах напряжение, электризующее всю Варшаву и одновременно являющееся кульминацией романа. "Меринос и Крушина прошли через кордон милиции на углу Лазенковской и влились в колышущийся поток на главной магистрали, ведущей к стадиону. Массив бетонных трибун, отсвечивающий рядом зеленоватых окошек, нависал над стадионом. Из-за трибун долетал вулканический гром необъятной толпы, пробивающейся на стадион, оглушительный грохот, как будто где-то под землей ворочались гиганты циклопы"[2]. Художественная плотность единства места и времени кристаллизует и сгущает — не без экспрессионистской гиперболизации — атмосферу того времени, в которой спортивные события становились важнейшим коллективным экзистенциальным опытом. Представьте себе: сто тысяч человек на Стадионе Десятилетия, 1958 год, легкоатлетический матч Польша—США — апогей польского спорта, победа нашей сборной, окрещенной Wunderteam[3], члены которой тремя годами ранее в рамках общественного почина принимали участие в строительстве этого самого Стадиона... Сто тысяч здесь, пятьдесят тысяч на стадионах поменьше. Не только футбол, но и все прочие спортивные соревнования — от бокса до гимнастики — привлекали толпы. Вы читали Адольфа Рудницкого[4] — нет, не романы, а "Спортив-

1. Леопольд Тырманд (1920—1985) — писатель и журналист.
2. Перевод И. Л. Базилянской.
3. "Чудо-команда" (*нем.*) — название легендарной сборной команды Австрии по футболу 1930-х гг.; в 1956—1966 гг. так называли польскую сборную по легкой атлетике, регулярно показывавшую высокие спортивные достижения — в тот период легкая атлетика стала в Польше национальным спортом.
4. Адольф Рудницкий (1912—1990) — писатель, участник Варшавского восстания 1944 г., автор психологической прозы, эссе, воспоминаний, фельетонов.

ные странички", изданные в 1952-м? В записках Рудницкого, повседневных и непритязательных, сегодня в значительной степени устаревших, запечатлена специфическая надежда и общественный энтузиазм послевоенных лет, которые позже, во времена Ярузельского, и еще позже, в период либерализма, примут в отношении спорта совершенно иные формы — я бы сказала, более отстраненные, поскольку далеко не столь всеобщие, скорее сектантские (я имею в виду прежде всего фанатские субкультуры). У Рудницкого трибуны даже на незначительных матчах или соревнованиях кажутся полными; такое ощущение, что от взглядов болельщиков густеет воздух: вот спортсмен толкает ядро или совершает прыжок в длину, а вот другой — внимание, внимание! — готовится прыгнуть с шестом. Летописец подмечает массу мелочей, это писатель, тонко чувствующий деталь, но одновременно где-то на заднем плане проводящий параллель с мифическими истоками спорта, с древнегреческим этосом. Через несколько лет после величайшей в истории бойни он пытается связать разорванные нити цивилизации, увидеть в одинокой борьбе бегуна на средние дистанции или метателя, в робинзонаде вратаря приметы извечного "выше, быстрее, дальше", сверхчеловеческое усилие в стремлении победить самого себя, возвышенный, сказочно бесцельный, безыдейный героизм.

Вальдемар "Вава" Станкевич, начальная школа им. Иоанна Павла II, улица Армии Крайовой, Сулеювек под Варшавой, март 2011

Футбол? В Варшаве? Сегодня есть матчи, есть стадионы, но футбола больше нет. Детвора играет в интернете с мегабайтами, а опустевшие стадионы умирают. Каких-то "орликов", блин, понастроили[1], а сопляков туда силком приходится загонять. Урок физры закончился — и только их и видели, а нас сторож вечером за ворота выставлял. Когда физруком пришел Мулярчик и во дворе лицея появились настоящие ворота с сеткой — вы даже себе не представляете, что это была тогда за роскошь — сетки! — с площадки никто не уходил, пока не стемнеет. Мужику хотелось что-то для нас сделать. Позже я узнал, что он девчонок из выпускного трахал, а нам,

1. Государственная программа строительства комплекса спортивных сооружений ("Орлики") в каждой польской гмине; там, как заявил премьер-министр Д. Туск, должны воспитываться будущие составы спортивных клубов и национальной сборной.

блин, новые ворота поставил, может, компенсировать хотел, кесарю — богово. Когда дир велел эти ворота убрать, я такой шухер поднял, что они в штаны наложили: я одного придурка из "Спортивного обозрения" в школу привел. Но все равно однажды ночью столбики выкопали, Мулярчик ушел... Ну, я их вел, блин, все я — играющий тренер. Тот еще был футбол: Грач — смех один, кулёма Джо... Вы читали его стихи? Фигня какая-то, "Новое слово", обоссаться со смеху, как он нас увековечил... "Слово" новое, пердун старый... Джо как-то премию получил, конкурс молодых авторов в Мухосранске... Позорище... Я тогда Витгенштейна читал, так что знал — языком трепать не стоит... Но с ними играл, мы держались друг за друга, вот знаете, честно вам скажу, желание у них было, упорство, в этом им не откажешь. Мазали, но не сдавались. Потом, через много лет, я позвал их сыграть в любительском матче. Собрались в последний раз: 1989 год, всем уже здорово за тридцать. Шансов ноль — эти мозгляки свои диссертации писали, стихи всякие, мышцы дряблые, а против них — качки с фабрики. Но, надо признать, они просто землю грызли. До перерыва 0 : 0, осада Ченстоховы, оборона задницы alla polacca, и все же устояли, ни одного мяча не пропустили, колени и локти буквально в кровь. В перерыве я заменил Джо с Грачом и Бледного, каких-то своих дружков поставил, вроде бы посильнее, ребят с нашего района, у них и финты, и удары — и ни хрена: закончили 0 : 5. Короче, после игры я подошел к ним, к Джо и Грачу, и сказал: простите, не надо было вас менять — это моя ментальная ошибка как тренера. В Фермопилах, блин, никто никого не менял, а долго держались... Ну вот такие мои дела, мальцов тут тренирую, физра плюс спортивный кружок, может, они и лучше играют, чем мы в их годы, быстрее, техничнее, но сердце отдано фейсбуку.

Я тогда тоже тренировал — вторую команду "Легии", но как-то все сошло на нет, я читать любил... Джо?.. А что Джо? Я же говорю, мяч вместе гоняли, потом, после тридцати, уже вдвоем только, двадцать лет на "Орле", один на один. Почему? Что почему? А вы вообще кто такой, частный детектив, что ли?

Анджей Домбровский, улица Гренадеров, Варшава, март 2011

Как видите, я один на старом месте остался, не переехал, из моего окна по-прежнему видна та школа. Я уже не работаю,

пенсионер с минимальной пенсией, иногда рецензию какую-нибудь напишу или, реже, эссе — так, для себя, ну, бывает, по большим праздникам, в "Твурчость"[1]. Когда возьмут, когда не возьмут, годик-другой полежит — рано или поздно напечатают. Глазею вот на эти стены из своей квартирки, кусок жизни, что и говорить. Я работал только в классах с гуманитарным уклоном, пара часов в неделю, остальное время — на том, лучшем, берегу, редакции, газеты, неоконченная диссертация, какие-то занятия в универе. Абсенскаристы, как вы говорите, да, мне иногда казалось, что у них мяч вместо головы, за футбол бы родную мать продали, к счастью, они много читали, чем-то интересовались, сочинения неплохие писали... Грач мог университетскую карьеру сделать, собранный и мозги хорошие, Элиота уже читал, стихи Кавафиса вышивал на спортивной блузе, можете себе представить такого запевалу на "Легии"? Главаря фанатов? Будь он на тридцать лет старше и не такой патлатый, был бы похож на Курца у Конрада[2], подчинившего себе племена аборигенов. Вава разыгрывал простачка, дворового хулигана; он лучше других понимал, что школа — это оковы; если какой бунт или драка, так он первый, в этом смысле был для меня серьезным противником. Изображал тупицу, двоечника, а у самого в сумке под гетрами книги лежали. Джо — совсем другой, сложно описать, немного сентиментальный, высокопарный, довольно сдержанный, вежливый и неприступный одновременно. Знаете, когда я готовил антологию молодой поэзии, подумывал, не включить ли его стихи, но не стал, ничего там особенного не было, да и футбола перебор. Единственный опубликованный сборник он назвал "Последний пенальти", сами понимаете... И все же, по прошествии лет, я его зауважал, да, он не реализовался, но, глядя на теперешних поэтов, я начинаю его ценить. Сегодня вся серьезная поэзия автореферентна. Выблядыши Фуко, если вы читали "Слова и вещи"[3]... Литература становится полностью собой, только когда замкнута в крайней невыразимости, когда ее содержание составляет форма и так далее. Наши поэты глядятся в собственные зеркала, наперебой друг друга цитируют, а Рабенду это не интересовало, его не привлекал подобный нарциссизм языка, литератур-

1. Один из наиболее значимых "толстых" литературных журналов.
2. Курц — герой повести Джозефа Конрада (1857–1924) "Сердце тьмы" (1902).
3. "Слова и вещи. Археология гуманитарных наук" (1966) — один из самых известных трудов французского философа, историка и теоретика культуры Мишеля Фуко (1926–1984).

ной рефлексии и сверхначитанности, он ведь, как-никак, — дитя этого района, то есть вопиющей действительности.

Ян "Джо" Рабенда, "Винный склад братьев Гесслер", улица Краковское Предместье, Варшава, апрель 2011

Стадион... Десятилетия, ну что делать, никогда я не привыкну называть его Национальным, это была наша королева, наша Титька, наша молочная Волчица, наша символическая жизнетворная пища. Наш римский холм, заменяющий все семь. На этом, худшем, берегу Вислы он один олицетворял Силу, он один творил Место, вся прочая Прага[1] с Гроховом были провинцией, окраиной, пространством для столицы второстепенным, здесь даже чертового Варшавского восстания не было, но он стоял, точно монолит в пустыне — именно такая картина приходит мне на ум, начальные кадры "Космической одиссеи", стальной монолит, вырастающий из пустынной беспредельности. Словно последний КПП нашего Грохова, словно мы выставили его в дозор как самое лучшее, что у нас есть. Воплощение нашего аутсайдерства, легкой ущербности и при этом гордого одиночества. В свое время, сразу после открытия, что-то на нем происходило, даже много всего происходило, wunderteam'ы приезжали, янки-легкоатлеты. Потом все заглохло, Стадион превращался в заброшенный храм, куда дары несли только на Праздник урожая, на заключительном этапе Гонок мира и во время молодежных манифестаций при Гереке. Словно он заключал в себе некую погрешность, духовную ошибку, заставившую мир отвернуться; словно эта реинкарнация оказалась неудачной, и Стадион излучал гностическое беспокойство... Да-а, было в нем, пожалуй, что-то от катарского замка[2]... или крепости из "Татарской пустыни"[3], он готовился к осаде, но так никто и не появился... Настоящим стадионом в те годы была для варшавян "Легия" на Лазенковской, поменьше размером и скромнее с точки зрения архитектуры, но расположенная в правильном месте, подобно сердцу. Вокруг — площадки для юных спортсменов, рядом "Агрикола", где нам ни разу не

1. Район Варшавы на правом берегу Вислы.
2. Катары — христианское религиозное движение, распространенное в XI-XIV вв. в ряде стран и областей Западной Европы.
3. "Татарская пустыня" (1976) — фильм Валерио Дзурлини по одноименному роману Дино Буццати.

пришло в голову поиграть, помериться силами. По отношению к "Легии" и "Аргиколе" мы страдали комплексом провинциалов, жителей худшего берега: от рождения не тот акцент, манерам и языкам не обучены и мяч пинаем по-нашенски. "Легия" — команда и стадион — только они шли в счет; стадионы хилой "Полонии" на Конвикторской и "Гвардии" на Рацлавицкой были для нас чистой воды призраками, духовной заграницей. "Гвардия" одно время даже пользовалась нашим Стадионом, вела на нем свои безнадежные битвы во второй лиге, в пустых трибунах под распахнутым небом было что-то щемящее, и я, сопляк, любил туда приходить — больше глотать голубизну, чем глазеть на убогие финты на газоне. Потом этому пришел конец, "Гвардия" перебралась на Рацлавицкую — у нашего Грохова отобрали последний официальный футбол, осталось пустое Место, стадион-призрак, как его называли, но разве Место не есть негатив содержания, безграничный потенциал преображения? Я уже писал об этом в одном из ранних лицейских стихов: "Не спрашивай, где находишься / Место придет к тебе / Когда ты пристанешь к нужному берегу".

Анета Пётрович, кафе издательства "Чительник", улица Вейская, апрель 2011

Я уже говорила вам о спортивных летописях Рудницкого... Видите ли, самое слабое их место — общий оптимизм, гуманизм и задушевный тон — и есть, по-своему, самое интересное. Порой Рудницкий описывает "коллективные приступы безумия на трибунах" — какой-нибудь болельщик вскакивает и ни с того ни с сего "издает нечеловеческий крик: судью на мыло!" Право, согласитесь, что за вульгарность! В "страничках" Рудницкого, у Тырманда или в романах Дыгата[1] меня интересует проблема золотого века спорта, красоты эпохи, безжалостно требующей расправы над судьей. Того, насколько утопической представляется нам картина "до" — до рождения фанатов, до убийств на стадионах и возле стадионов, до физической агрессии и безграничной агрессии словесной, до прихода большого капитала, до новых технологий и биодобавок, до появления приза "fair play". Да был ли он вообще — этот золотой век? У Хемингуэя, у Лондона и многих дру-

1. Станислав Дыгат (1914 -1978) — прозаик, фельетонист, драматург, киносценарист.

гих — возможно, и не было. Но записки Рудницкого, когда читаешь их спустя столько лет, возрождают иллюзию чистоты спорта, обращенную в прошлое, раз уж сегодня, увы, невозможно проецировать ее в будущее... Когда все это, этот гуманизм спорта стал угасать? На Западе — после 1968 года, вместе с либеральным ускорением семидесятых. Во Франции мои взгляды сочли бы реакционными. В Польше симптомы этого явления наиболее ярко проявились при Гереке, который приоткрыл дверь на Запад, окончательно же гуманизм в спорте уничтожила смена режима после 1989-го. Конечно, при коммунизме спорт, в общем, играл компенсаторную роль — это была непосредственная реакция на биологическое поражение в войне и символический ответ на поражение идеологическое. Международные встречи футболистов или боксеров, особенно если соперником Польши оказывался СССР, — это наши восстания, перенесенные на поле или ринг, всегда с политическим подтекстом, вплоть до знаменитого жеста Козакевича на московской Олимпиаде в 1980 году[1]. Тем не менее послевоенный спорт еще некоторое время держался на волне подлинного энтузиазма, веры в жизнь, в человеческое усилие, не запятнанное ни деньгами, ни историей. Постепенно спорт для коммунистических властей все больше превращался в опиум, скармливаемый народу вместо хлеба и свободы. Чемпионат мира 1974 года стал для Герека манной небесной. Но уже тогда перепуганные власти пытались забаррикадироваться в своей крепости. Помню, как люди вышли на улицы, чтобы выразить свою радость после матча Польша–Англия на Уэмбли и во время уже упоминавшегося чемпионата мира в Германии. Спонтанные, ничего не декларирующие, ни против чего не протестующие манифестации молодежи встретили резкий отпор милиции, которая разгоняла их без стыда и совести, однако и юные демонстранты, тогда еще робкие и целомудренные, предчувствовали, что аккумулируют в себе общественную антикоммунистическую агрессию. Всего лишь два года спустя начались настоящие демонстрации и забастовки в Радоме и Урсусе[2],

1. Владислав Козакевич (р. 1953) — польский прыгун с шестом, чемпион Олимпиады 1980 г. После своей победы на стадионе "Лужники" показал освиставшим его болельщикам советского прыгуна Константина Волкова жест, известный как "полруки". Посол СССР в Польше Б. Аристов требовал официально лишить его медали, однако польские власти заявили, что рука Козакевича согнулась непроизвольно, из-за мышечного спазма.
2. Волна забастовок и протестов в июне 1976 г. после объявления правительством ПНР о резком повышении цен на некоторые потребительские товары.

через шесть лет после бронзовой медали в Германии родилась "Солидарность", пятнадцатью годами позже закончился коммунизм.

Анджей Домбровский, улица Гренадеров, Варшава, май 2011

Пинание мяча, сочинительство, забивание голов, литературные опусы — все это сплелось в кусок жизни, их, моей. Теперь-то я вижу. Глазею из окна на пустой школьный стадион, ставлю рядом стаканчик бренди или непастеризованного пива — да вы себе наливайте! — для подъема тонуса и... нет, я не вспоминаю, я вижу. Для них это была молодость, почти детство, но и я тогда еще земную жизнь не прошел до половины. Бывало, спускался к ним на пару минут поиграть — ничего не могу сказать, они меня любили. Мне казалось, что мое место совсем не здесь, а там — в университете, в кафе "Чительника", за одним столиком с Конвицким или Березой[1], тут-то я просто служу, на чернила зарабатываю. Я много писал, в том числе прозу, рассказы, издал два сборника, испытывал прилив творческих сил, уроки меня раздражали, казались зря потраченным временем. Потом абсенскаристы закончили школу, пошли дальше, в другую жизнь, и во мне — не скажу, чтобы прямо так сразу, постепенно, — что-то стало угасать. Тогда, при них, часто случались всплески энергии, горения... Вот вы спрашиваете, а я вижу, так и вижу их на этой спортивной площадке, угол Мендзыборской и Гренадеров, и порой у меня мелькает высокопарная мысль, будто я, как Последний из могикан, стерегу эти образы, эту тишину и пустоту, которую когда-то заполняли их возгласы и мои тексты... Да, пожалуй, я относился к этому чересчур легкомысленно... А теперь вижу, что футбол и литература шли тогда рука об руку, служили друг для друга допингом, это были их ковры-самолеты, не побоюсь громкого слова, сказочные машины, позволявшие воспарить над бардаком коммунизма, а то и жизни tout court[2].

1. Тадеуш Конвицкий (р. 1926) — писатель, кинорежиссер, киносценарист. Хенрик Береза (1926—2012) — литературный критик, эссеист, главный редактор журнала "Твурчость". Оба регулярно бывали в кафе при издательстве "Чительник".
2. Tout court — просто (*франц.*).

Д-р Иоланта Янкович, Институт биологии, Варшава, дворец Сташица, май 2011

Ну что, понравился чаек? Так вот, мы пошли тогда на Саскую Кемпу. Тогда... когда у нас с Джо все начиналось. Июнь, длинный вечер, помню закат над Вислой. Джо вообще любил пошляться, а мне гулять не хотелось — зачем? — надо, чтобы что-то происходило, кино или концерт, или хоть пообжиматься немного, а не просто топать под голым небом. Но это было время эмоциональной голодухи, первой озими. На Французской я получила мороженое, и Джо взял меня за руку — впервые, твердо, словно вдруг решился. Вел, точно ребенка, которому собирался что-то показать — разноцветного воздушного змея или там замки из песка. Потащил в Скарышевский парк, на теннисные корты, знаете, рядом со Стадионом. Было уже пусто — ни огородников, ни партийных деятелей с ракеткой, — мы устроились в центре маленькой трибуны и начали целоваться, в первый раз. Всегда где-то бывает первый раз. И всегда, молодой человек, получается по-дурацки. А потом мы сидели, всматриваясь в сумерки. И я сразу поняла: началось, у меня теперь есть парень. И уже тогда, глядя на него, замершего на скамейке, знала, что никогда мы не будем вместе всерьез, что мне нужна настоящая жизнь, здесь и сейчас, а он свою проведет на пустых стадионах или кортах, где-нибудь между строк. Сейчас примется меня целовать, за титьки хватать, нетерпеливо выяснять, что у меня между ногами, крахмалить себе брюки made in "инвалидная артель 'Охота'", но на самом деле будет по-прежнему сидеть на пустой трибуне, глядя вниз, где ничего не происходит, ничего, кроме незримой игры ни во что... в стихоплетство... в высокое бла-бла-бла. Джо был рядом, обнимал меня, но я чувствовала, что он весь в себе, слишком в себе, что привел меня в гости и я здесь не особенно нужна; чувствовала, что это его место, его сокровенный призрачный дом, пустынь, куда никому нет доступа. Я немножко влюбилась и немножко взгрустнула. Ну а назавтра мы стали встречаться.

Вальдемар "Вава" Станкевич, начальная школа им. Иоанна Павла II, улица Армии Крайовой, Сулеювек под Варшавой, май 2011

Да какие там воспоминания — я себе билет на матч открытия купил. Ну нет, не так, чтобы просто, по-человечески — думае-

те, если капитализм, блин, так все теперь иначе? Но, во всяком случае, билет я достал — приятели, с которыми мы в девяностые вместе торговали с раскладушек у Дворца культуры[1], сегодня получше устроились... Вы только подумайте, за двадцать с лишним лет после падения коммунизма бюрократы сумели только два несчастных стадиона в городе построить. Нет, конечно, смотрится, крыша приличная, шикарно, культурненько, дождь за шиворот не льется, говорят, бутерброды с аргентинской говядиной будут продавать. А для интеллигентов — они теперь, вроде, станут матчи посещать — суши, чтобы у них, блин, холестерин после игры не подскочил, все теперь хотят вести здоровый образ жизни. Так что пойду поглазеть на первый матч чемпионата — как нам вломят, Смоленск номер два устроят, никаких шансов, даже самых дохлых, даже набери мы в команду одних черных, евреев да швабов. А знаете почему? Если не знаете, прогуляйтесь по Варшаве. Прислушайтесь. Ну и что вы, блин, слышите? Удары мяча? Об стенку, во дворах, где ковры выбивают, в скверах? Фиг вы чего услышите. Дворы загорожены решетками, ребятню гулять не пускают, все боятся, повсюду охранники, а если кому охота, изволь с родителями в клуб, негативный отбор. Теперь во дворе мячик не погоняешь, теперь только настоящий футбол. Хочется сопляку играть — отдать в секцию. А какие у нас секции? Нам с Западом и тягаться нечего, Запад ушел слишком далеко вперед и останавливаться не собирается. Вы слыхали о "Ла Масии"[2] в Барселоне? Раньше футбол рождался во дворе, и мы еще могли на что-то рассчитывать, потому что там воспитывался характер, компенсировавший недостаток мастерства, но в эпоху всеобщей специализации во имя бабла, то есть при всех этих трансферах, дело труба, так что на чемпионате — этом, следующем и всех прочих — из нас сделают кровяную колбасу, наше подлинно национальное блюдо.

Павел "Грач" Голинский, поезд "Интерсити", Варшава–Гданьск, март 2011

На этот раз, друг мой, у нас семь часов, жаль, что ты только о футболе пишешь, я бы тебе про всю свою жизнь порасска-

1. В 1990-е гг. на площади Парадов у Дворца культуры и науки был вещевой и продуктовый рынок.
2. Школа футбола при клубе "Барса", воспитавшая много талантливых футболистов.

зал, про то, как торговал с Востоком — начиная с поездки в Казахстан, еще в 89-м. У меня была печать "Солидарности", я в свое время в оппозиции подвизался, раздобыл себе фирменный бланк, так вот, стоило помахать этой бумажкой — и меня немедленно принял министр промышленности. Я был первым европейцем, явившимся в новую страну с конкретным предложением в кармане — не помню уж, что я там собирался покупать: танки, ковры или кабардинских коней. Как-то раз — в Азербайджане, что ли, — мне подводную лодку предлагали... Начинать было тяжело, знаешь эти байки — цент к центу... Я торговал всем подряд, скупал лом — краденый или вывезенный из армии, частный минибанк держал для своих, брал доллары под высокий процент, даже мать Джо вложила деньги и, надо сказать, не прогадала. В Москву баннеры возил, грузинская мафия для меня долги выбивала, пока там все не рухнуло... по сей день раны зализываю. Снимал комнату в квартире, нас таких было несколько: парень из Катовице, продавал духи собственного производства, аромат, как в гардеробе Дворца культуры, но расходились, как горячие пирожки, чех какой-то — презервативы возил, словак с париками. Обалденный материал для социолога, а в стоимость комнаты входил чай из самовара и по вечерам концерты хозяйки с дочкой, обе — чревовещательницы, декламировали для прикола ленинские речи, а голос раздавался неизвестно откуда, словно из водопроводных труб. Были у меня монгольские поставщики на Стадионе, на этой Ярмарке Европы, величайшем, надо сказать, достижении либеральной Польши... Вот ведь смотри: ничто не могло вдохнуть в него жизнь — ни спорт, ни демонстрации, — только торговля его возродила, двадцать лет с гаком это продолжалось и, кабы не Евро-2012, продолжалось бы вечно, потому что такой аккумулированной в одном месте энергии нигде больше было не найти. Да, Стадион обрел себя, бессмертный топос обмена, несколько десятков тысяч человек с шести утра до темноты, разгоряченные — так действуют деньги, уж я-то знаю, в буквальном смысле температура подскакивает... Два раза в неделю контрабанду получал, икра — понятно, фальшивая, ясное дело, что фальшивая, в фирменной упаковке... Было время, когда я Ярмарку знал, как собственную квартиру, с главным монголом мы всегда встречались на третьей от главного входа трибуне. У него было все, от иголок до рефрижераторов, но портки я брал, конечно, у вьетнамцев, с другой стороны, восточной, у них там был целый невидимый город, только для своих, — нигде так вкусно не кормили. Я тогда еще надеялся стать

актером и зрителем одновременно: думал — сначала бизнес, а потом все опишу и прокомментирую, всю невероятную историю этой громадины, которая наконец нашла себя в фальшивых "ролексах" и раскрашенной вручную черной икре. Спустя десять лет моя фирма все же встала на ноги, я построил производственные цеха, поднялся на другой уровень, перерос дружбанов с Ярмарки. Так ничего и не написал, зато у меня лучшая в городе личная библиотека социологической и философской литературы.

Анджей Домбровский, улица Гренадеров, Варшава, июнь 2011

Да, я его часто вижу. У меня есть любимый маршрут для прогулок, с Гренадеров на Вашингтона, дальше я сворачиваю к скверу с футбольной площадкой, там редко кто играет, посмотрю немного — и в парк, иду не спеша, каждый шаг — ода медлительности в суетливой толпе. Даже здесь все спешат, неуклюже отталкиваются палками, прямо пингвины на ходулях... Выхожу на площадь Вашингтона, слева Французская, мой бар "Пиккола Италия", пицца и пиво, справа — купол строящегося Стадиона. НЛО, это уже не для меня, а для какого-то гребаного будущего, которое мне, честно говоря, до лампочки. Мне все равно. Не могу сказать, что нравится, не могу сказать, что не нравится. Ни красивый ни уродливый. Для меня этот новый Стадион — конец и венец чего-то, для других — естественное начало. Выпиваю пиво, съедаю пиццу "Четыре сыра", смотрю на него и порой думаю, что это символ завершения. Consumatum est[1], этим бело-красным колпаком прикрыли ту историю. Каждая история, каждая судьба, заканчиваясь, обращается в китч, эстетический и метафизический одновременно, и этот колпак призван подвести черту под прошлым, символизировать китч любого бытия. Но пройдет сотня лет и, возможно, сверху наденут новый колпак, который тоже кому-то покажется китчем, символическим концом чего-нибудь. Знаете, я люблю рассматривать гномов в палисадниках. Палисадник — планета Земля, а каждый гном — отдельная судьба, неизбежно превращающаяся в китч.

1. Свершилось (*лат.*).

Ян "Джо" Рабенда, винный бар "Ля пассьон дю вэн", ТЦ "Золотые террасы", Варшава, июнь 2011

Порой, все реже, я возвращаюсь на тот берег Вислы... словно Малиновский[1] к папуасам... Иностранцы не поймут? Черт, ну напишите — как Леви-Стросс к индейцам. Так вот, я езжу туда, потому что предпочитаю базар на площади Шембека, верю, как идиот, что огурцы там более хрустящие и сыр от здоровой козы. По дороге смотрю на Стадион — его трудно не заметить. На Грохове перед моим домом рос клен, мой ровесник; почти пятьдесят лет, пока я не переехал, мы вместе тянули лямку. Он поднялся выше дома, я полысел. Так и Стадион рос вместе со мной. Когда в пятьдесят пятом заканчивалось его строительство, я уже вертелся в животе у матери, пищал внутри. Все ему дано было пережить, все он в себя принял. Отдавался всем по очереди, точно древнеримская куртизанка. Или марсельская шлюха. Не знаю, почему марсельская, так как-то вышло, не вычеркивайте. Это было место всех празднеств. Коммунизм выставлял напоказ свой мощный член, товарищ Веслав (Гомулка) на Праздник урожая целовал каравай, Герек любовался парадами молодых гимнастов под красным флагом, перформансами по-корейски, а потом к нему на трибуну приводили активистов, и они вместе осуждали антисоциалистические выступления в Радоме и Урсусе, а еще раньше здесь совершил самосожжение, так и напишите, через запятую, здесь совершил самосожжение Рышард Сивец в знак протеста против вторжения в Чехословакию в шестьдесят восьмом, здесь, на газонах, у ворот, служил мессу Папа римский, потом — долгие годы индоевропейского жульничества, величайшая со времен Карфагена ярмарка, и, наконец, как я написал недавно в стихотворении "Achtung, Achtung! Город превращается в абортарий", выскоблили мою королеву и нахлобучили бело-красный колпак. Нет, меня это не трогает, ностальгией я не увлекаюсь, не люблю приторные вина. Это место выдержит все. Оно пережило русских, коммуняк, героев, пережило святых и торговцев в храме — переживет и Евро. Его история не закончена, и моя лучшая книга впереди. Закажем еще что-нибудь?

1. Бронислав Малиновский (1884–1942) — британский антрополог польского происхождения.

Михал Барецкий, редакция журнала "Политика", улица Слупецкая, Варшава, июнь 2011

Лично я жду не дождусь мгновения, когда отзвучат два гимна и на газоне Национального стадиона начнется инаугурационный матч Евро-2012. В редакции я уже много лет руковожу спортивным отделом, но такой ажиотаж наблюдаю в первый и, наверное, последний раз. Дополнительные и специальные выпуски, в том числе один на английском и один на немецком, а может, еще и на испанском будет, в общем, всестороннее освещение Чемпионата. Наконец-то, после всех этих олимпиад и футбольных мундиалей у "антиподов", хозяева — мы. И скажу вам откровенно (сегодня, похоже, об этом не стоит кричать на каждом углу): мне этот Стадион нравится, и я изо дня в день с радостью наблюдаю, как он растет, словно сам его поливаю. Поляку непременно надо поплакаться, всегда найдутся недовольные, критиканы: это не так и то не эдак. Феминистки уже назвали его символом мужского доминирования над городом, ведущий Замойский талдычит по радио о деньгах, которые лучше бы отдали больницам, в одной передаче осуждает и блокаду Газы, и защитников Романа Полански и в придачу смешивает с грязью Стадион и Чемпионат. Это наглость, но, как говаривал товарищ Гомулка, собака лает, караван идет: первый раз в жизни наш караван — красивый, спокойный и современный! Я немного играю на акциях, даже в кризис устоял, и из здания биржи, с последнего этажа — вы еще молоды, небось не знаете, что это было здание ЦК партии? — наблюдаю за тем, как продвигается строительство на том берегу Вислы. В пятницу я удачно продал акции ПКО[1], а Стадион — так, на глазок — подрос на полметра. Поди пойми эту историю, поди пойми ее логику: в детстве я приезжал сюда к отцу, пообедать в столовой ЦК, Грохов с последнего этажа напоминал деревню, а сейчас взгляните — самый настоящий город, а Стадион, который тогда отсюда было почти не разглядеть, сегодня триумфально венчает картину.

1. Крупнейший польский банк.

Ян “Джо” Рабенда, винный бар “Юнг & Лекер”, улица Эмилии Плятер, Варшава, июль 2011

Сажусь за столик в самом углу, прячусь за ноутбуком, порой накатывает сонливость, и я прикрываю глаза. На мгновение снова вижу нас на футбольном поле. Безветренно, небо неподвижное, все еще пасмурное, но вот-вот распогодится. Газон ровный, необязательно зеленый, столбики ворот с настоящими, хорошо натянутыми сетками зажигаются под первыми лучами солнца. Мы бегаем, пинаем мяч, я атакую с фланга, обхожу двоих, пасую в центр... или сам делаю финт... выбегаю на середину поля, пасую кому-нибудь подоспевшему... возвращаюсь, на миг оказываюсь далеко от центра событий, отдыхаю, вижу деревья за беговой дорожкой... за ними бесконечная пустота, которой ничто не коснулось, в которую ничто не прорвалось, ни события, ни факты, ни история, Атлантида не затонула, младенцы уцелели, Варфоломеевская ночь не опустилась, Треблинки не было... Не знаю, сколько нам лет: десять, сорок, восемьдесят, а может, все это вместе, — мы стары и молоды, мяч возвращается, я секунду удерживаю его, он напоминает теплую верную дворнягу, и подаю дальше, Ваве, мы с Грачом мчимся в штрафную площадку, чтобы попытаться принять пас на голову, до перерыва далеко и столько еще впереди, получаю отличный пас, удар с лету, вратарь — а может, это тоже я — с трудом отбивает... Хорошо, все хорошо, и ничего больше... Не пейте, юноша, залпом, это же рислинг, черт возьми, а не лимонад.

Наташа Гёрке

Футбол и польский вопрос (unplugged[1]*)*
Познань

Перевод с польского Дениса Вирена

Вступление

Чтобы ни у кого не возникло сомнений, сразу же предупреждаю, что в футболе я разбираюсь весьма относительно: путаю премьер-лигу с первой, не понимаю сути офсайда, не знаю, что такое дубль и хет-трик, и т. п. Так что писать о футболе для меня примерно то же самое, что для Бастиана Швайнштайгера сыграть матч, скажем, в шекспировском духе. Тем не менее я берусь за эту задачу, а поскольку по случаю чемпионата Европы в Польшу и в Познань приедет множество гостей, пользуясь случаем, расскажу немного о моей стране, моем городе и моих земляках. Дело в том, что я не просто полька, но также познанянка.

Этот текст адресован не только польским читателям, поэтому вначале я объясню происхождение заглавия. То есть начну со слона, ибо название отсылает к анекдоту XIX века из книги Стефана Жеромского: поляк, которого попросили вы-

© Natasza Goerke
© Денис Вирен. Перевод, 2013

1. Без фанатизма (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

сказать профессиональное мнение об этих животных, охотно сочинил научный труд “Слон и Польша”.

Впрочем, обещаю: о футболе тоже кое-что будет.

Получилось

Все маленькое красиво, зато все большое обладает силой, поэтому несколько лет назад Старая Европа стиснула зубы и решила ценой красоты увеличить свою территорию. Естественно, не за счет кого попало — чтобы вступить в почтенный Европейский союз, выбранные страны должны были сначала похвалиться своим потенциалом (спеть, станцевать, показать чистые ногти и рассказать, кем они хотят стать, когда вырастут), потом выполнить домашние задания, а под конец пообещать Старой Европе, что будут систематически улучшаться и не заставят ее краснеть от стыда.

Вера в чудеса творит чудеса, и у Польши получилось. Весной 2004 года.

Мало того, три года спустя произошло еще одно чудо, и моя страна, в которой практически нет больших стадионов и автострад, была объявлена одной из хозяек Евро-2012. Одной из — потому что второй хозяйкой стала наша симпатичная соседка Украина. Украина — единоутробная сестра Польши; хотя в ЕС она и не входит, но, возможно, когда-нибудь ее примут в рамках воссоединения семей.

А тем временем становилось по-настоящему весело. Обе наши страны, несмотря на многочисленные недостатки, одним богаты точно — визионерами. Министры спорта и инфраструктуры расцвели, как тюльпаны по весне, и начали рисовать фантастические образы: картины стадионов, превосходящих “Уэмбли” и “Сан-Сиро”, сетей автострад, затмевающих немецкие, вокзалов, на которых не пахнет мочой и есть эскалаторы, и статных гостиниц, которые со скоростью бамбука выстреливают в небо.

Польский премьер-министр — тоже визионер, поэтому, несмотря на отсутствие денег, инфраструктуры и других логических предпосылок, вышеупомянутые картины одобрил и с мечтательной улыбкой пообещал, что случится чудо и все будет хорошо. Ведь вера в чудеса творит чудеса, а поляки — народ глубоко верующий. Лишь скептически настроенное меньшинство прятало за пазухой рациональный план Б: если с картинами не выйдет, мероприятие всегда можно перепродать итальянцам, да еще и заработать на этом.

К счастью, план Б не пригодился.

Царапины на самосознании

Ich sag es immer, Polen sind begabt.
Sind zu begabt, wozu begabt,
begabt mit Händen, Küssen mit dem Mund,
begabt auch darin: Schwermut, Kavallerie[1].

Польша — страна людей не только веселых, но и открытых, а вместе с отменой границ она открылась для представителей других культур. Меня это очень радует, так как я считаю, что традиции должны перемешиваться; кровь, кстати, тоже, хотя смешению кровей — место в плане, обозначающемся буквой из второй половины алфавита. Но, все равно, пока стало многокультурнее, чем было когда-то, короче говоря, для начала — совсем неплохо.

Тем не менее настоящее испытание еще впереди: в июне 2012-го к нам из-за границы съедутся тысячи чужаков, и на сей раз это будут не только фанаты польского пива из Великобритании и Швеции. Но поскольку мы в равной степени мало друг о друге знаем, то и испытание будет двусторонним.

Начну с нескольких разрозненных замечаний о хозяевах.

В приведенной выше строфе мнение о моем народе выразил стихотворением "Пан Кихот" Гюнтер Грасс, знаменитый полу-поляк. Мнение это, мягко говоря, весьма своеобразно, и я привожу его в оригинале, по-немецки, ибо при переводе исчезают нюансы и двусмысленности. Из высказывания Грасса следует, что поляки не только сверх меры талантливы в том, что касается хандры и кавалерии, но также обладают чрезмерно способными руками и целуют губами. Предпочитаю не представлять себе, чем целуют другие народы, но факт, что у поляков это получается весьма недурно, могу подтвердить лично. Талант, таящийся в польских руках, также подтверждаю, хотя и не считаю его чрезмерным. С кавалерией есть небольшая проблема, так как нет уже ни лошадей, ни сабель, ведь Польша входит в НАТО, а там велят вооружаться иначе. Зато подтверждаю, что для моего народа не утратила актуальности удаль, зовущаяся уланской, которую символизирует размахивание сабелькой перед танком. Когда я пишу

1. Я повторяю вновь: поляки одаренны.
Чрезмерно одаренны, чересчур,
какие руки, поцелуи уст,
ну а хандра, а кавалерия — слов нету!
Гюнтер Грасс *Пан Кихот*

эти слова, над Познанью как раз летают F-16, которые Польша в порыве все той же уланской удали купила у Америки и, хотя они были слегка неисправны, все равно полюбила как свои собственные. С полной уверенностью подтверждаю также, что никто в мире не умеет так великолепно хандрить, как мы, веселые поляки. Это парадокс клоуна. Хандра — наше естественное богатство, которым мы наделены с лихвой, и, будь хандра нефтью, мы были бы богаты, как Объединенные Арабские Эмираты.

В следующей строфе своего стихотворения Грасс раскрыл истинное лицо Дон Кихота: как выясняется, тот был совсем не испанцем, а поляком, причем необыкновенно одаренным! Более того, обнажив нашу национальную склонность к борьбе с ветряными мельницами, поэт оказался пророком и предсказал, какие формы эта борьба приобретет через полвека.

Ветряные мельницы пришли из Дании, а сегодняшняя борьба с ними — пережиток двух веков польской франкофилии: к Дании поляки равнодушны, а вот Францию полюбили всерьез и надолго. Польская любовь к Франции была прекрасна, как Мария Валевская, и безумна, как Наполеон, но, к сожалению, взаимности не дождалась. И потому умерла; сантимент к Франции тем не менее, судя по всему, остался, ибо поляки сражаются сегодня с датскими мельницами, а энергию упорно черпают из атомных электростанций, в согласии с французской моделью.

Недостатки со знаком качества

В мире о поляках говорят разное. На самом деле, в мире так говорят обо всех, но мало кто столь чувствителен к этим разговорам, как мы. И мало кто столь часто требует пояснений и извинений, что, вероятно, является следствием нашей гипертрофированной жадности к похвале, которая, в свою очередь, берется от нехватки любви к себе. Но раз нам самим не нравится себя хвалить, то как нас могут хвалить другие?

Недавно, например, некий однокрылый политик из Голландии заявил, что все поляки — безграмотные пьяницы, и, хотя известно, что крыло политика растет из крайне правого бока, у меня на родине немедленно повеяло священной войной. Но мы не станем объявлять Голландии священную войну, потому что, во-первых, мы не Иран, а во-вторых, заняты мытьем вокзалов и строительством стадионов и автострад. В конечном счете мы, по крайней мере, добились извинений, а я считаю себя обязанной пояснить, что голландец

преувеличил: большинство поляков умеет читать и писать, доказательством чему является хотя бы бешеная популярность эсэмэсок. С более крупными формами все тоже не так трагично: первенство, по правде говоря, принадлежит фэнзинам, артзинам, комиксам и Пауло Коэльо, но, хотя "Алхимик" и не выходил из списка бестселлеров, Герту Мюллер мы издали полностью, причем еще до того, как она получила Нобелевскую премию. Кстати, наша собственная литература тоже породила нобелевских лауреатов, причем целых четырех, а если бы Исаак Б. Зингер не покинул берегов Вислы, их у нас было бы пятеро. Но более всего мы гордимся поэтами. Они определенно плодовитее прозаиков и реже эмигрируют, по крайней мере в последнее время. Быть может, потому, что осень в Польше долгая и дождливая, вино подешевело, а слово "пóклятый" лучше сочетается со словом "поэт". Что ни говори, почти все молодые поляки пишут стихи. У кого-то это проходит с возрастом, у кого-то остается до самой смерти, а некоторые при этом не пьют.

Кто много пьет, тот много ест, и свойство, которым поляки славятся испокон веков, — это гостеприимство. Польское гостеприимство порой приобретает патологические черты и проявляется главным образом в стремлении перекормить гостей. А проще говоря, в любви к добавкам. Гость не поднимется из-за польского стола, пока не съест всего, что положили ему на тарелку, а потом подложили, и еще раз подложили, и еще. Добавки — железный репертуар большинства польских домов, и не стоит ждать пощады. Отказ от добавки оскорбителен для хозяина, а кроме того, не приносит эффекта. Традиция польского гостеприимства уходит корнями в сарматские времена, когда ради принципа "хоть все заложи, да себя покажи" устроитель пира отдавал все до последней нитки.

Склонность к чрезмерности — это, можно сказать, материнская черта, одарившая своим геном многие другие польские качества. Мы бываем не только слишком впечатлительны и чересчур гостеприимны, но также чрезмерно легковерны или чрезмерно недоверчивы. А если уж кому-нибудь доверимся, то верны тоже бываем до последнего — ну, может быть, не столько в любви, сколько в дружбе. Особенно между народами, поэтому дружественные государства мы не предаем никогда. Как тонко подметил наш культовый поэт: "нелюбимый не изменяет"[1].

1. Имеется в виду песня Мартина Светлицкого (р. 1961) — писателя, журналиста и певца.

Польская инфраструктура

Признаю, солидной инфраструктуры на уровне, скажем, какой-нибудь Германии в Польше нет. Это очевидно. Польша начала вставать на ноги лишь два десятилетия назад, а за двадцать лет невозможно выстроить то, что другие строят шаг за шагом и уже давно. Когда-нибудь мы обязательно наверстаем. Конечно, на свой лад, ибо польская ментальность специфична (см. уланская удаль), и достигать своих целей мы предпочитаем нестандартными способами. И, случается, действительно их достигаем.

Одной из наших сильнейших сторон является (подсознательная) любовь к абсурду, какой даже не снился Ионеско и Беккету вместе взятым. На практике это заключается, к примеру, в том, что мы строим авиабазу на окраине большого города и потом, дабы отвлечь внимание жителей от гула в небе, в центре этого города сооружаем футбольный стадион. Или большой мост, на который два года никто не может въехать, потому что в строительной лихорадке мы упустили такую мелочь, как подъездные дороги. Или же, очарованные, вероятно, красивым названием, покупаем у итальянцев двадцать скоростных поездов "Пендолино", только вот без pendolino[1], потому что на польских поворотах суперскоростной "Пендолино" не может наклоняться, в связи с чем поедет для своих возможностей супермедленно.

Когда едешь супермедленно, можно любоваться видами, и все было бы даже не так плохо, если бы не факт, что польские города в последнее время начали путешествовать. В этом убедился пассажир с годовым билетом по маршруту Познань-Краков. Этот билет вдруг стал недействительным, и пассажиру пришлось доплатить, так как, по подсчетам компьютера, города за одну только ночь отдалились друг от друга на целых пятнадцать километров. Если города никто не остановит, то "Пендолино" без pendolino будет ехать к цели все дольше. Трудно предсказать, где во время чемпионата окажется Познань – может, под Щецином, а возможно, и на Хеле. Но где-нибудь она точно будет, так что матчи, скорее всего, состоятся. Только бы Краков не оказался по соседству с Веной.

Знаменитые польские дороги и польские вокзалы в контексте абсурда, конечно же, заслуживают отдельных абзацев.

1. Технология "Pendolino" (от итальянского слова "pendolo" – маятник), давшая название поездам, позволяет вагонам наклоняться на повороте, благодаря чему скорость не снижается.

По поводу вокзалов: я не до конца согласна с редактором одной берлинской газеты, который недавно без обиняков заявил, что от польских вокзалов несет за километр. Это неправда: зона распространения вони меньше, а тенденция — понижающая. Вонь обладает тем свойством, что впитывается в стены и постепенно исчезает. Таким образом, мы избавляемся от нее проверенным методом мастеров дзен: без паники, терпеливо и ловко. Туалетов на вокзалах, честно говоря, не прибавляется, зато растет количество вокзальных камер наблюдения, которых у нас теперь больше, чем в Великобритании. Влияние видеокамер на борьбу с вокзальным смрадом трудно переоценить: перед объективом камеры гражданин, даже выпивший несколько кружек пива, прежде чем пописать на стену, дважды подумает.

Тему польских дорог начну с памятников. Памятников у нас в Польше больше, чем автострад, среди них — огромная статуя Христа в Свебодзине. Наш Христос обогнал Христа-Искупителя из Бразилии, и некоторое время мы были лучшими в мире, но, к сожалению, немного погодя нас опередило Перу. Поскольку Giant Jesus Competition[1] продолжается до сих пор и в бой рвется Хорватия, титул вице-чемпионов мы тоже наверняка вскоре утратим. Но все и без того хорошо; а насчет строительства автострад скажу по-английски: is in progress[2] — звучит как-то международнее и оптимистичнее. А если в итоге что-то не выйдет, то — как разумно заметил один пользователь интернета — в утешение мы возведем памятник Непостроенных Автострад.

Конечно, кроме автострад, которых, если честно, пока еще нет, у нас есть классические двухполосные дороги: извилистые, как польская история, хмурые, как серпантины в Гватемале, и дырявые, как бабкины кружева. Дыр в асфальте действительно много. И они на самом деле иногда напоминают кратеры, однако, назвав их “метровыми”, уже упоминавшийся берлинский редактор вновь вознесся на вершины гротеска, что делает его в моих глазах почти симпатичным.

Наши польские дороги не только окрыляют журналистов, но также являются любимой темой народных шуток и математических парадоксов. Недавно, например, я вычитала, что число колдобин на дорогах все стремительнее уменьшается, причем происходит это само по себе, без постороннего вмешательства. На одной дороге их количество сократилось

1. Конкурс гигантских Иисусов (*англ.*).
2. В процессе (*англ.*).

вдвое, а глава администрации объяснил это явление следующим образом: “В текущем году на местной дороге стало вполовину меньше ухабов, чем в прошлом, поскольку выбоины малых размеров начали объединяться”.

На этой интеграционной ноте я закрою тему польской инфраструктуры и польской логики.

Великопольша

В Польше живет тридцать восемь миллионов поляков; если судить по национальности и вере, то мы образуем довольно сплоченный монолит, однако наша ментальность меняется от региона к региону.

Великопольша — это пространная область в центральной части Западной Польши, в бассейне реки Варты. История Великопольши богата и в минувшие столетия исключительно печальна. А поскольку чемпионат Европы — событие радостное, я не стану распространяться о прошлом, упомяну лишь, пожалуй, что в мрачные времена разделов великопольские земли были захвачены Пруссией, а Отто фон Бисмарк еще больше закрутил гайки и в рамках заботы о чистоте немецкой культуры пытался полностью задавить польскость. Тем не менее поляки мужественно сопротивлялись, лучезарным примером чему служит Михал Джимала — крестьянин, который, не имея возможности построить дом на захваченной земле, воспользовался лазейкой в прусском законодательстве и назло захватчикам поселился в фургоне бродячего цирка. Общая атмосфера тех времен, надо сказать, не очень способствовала развитию спорта в регионе.

Название Великопольши происходит от латинского Polonia Maior, а ее жители — не великополяки, а великополяне. Великополяне — люди славные, хотя и немного замкнутые и недоверчивые. Пародируя фразу несостоявшегося нобелевского лауреата из Аргентины: сто двадцать пять лет партизанской борьбы несколько усложнили здесь церемониал гостеприимства.

Однако прусское влияние имеет и свои положительные стороны. Великополяне бережливы и хозяйственны, их юмор незамысловат, дорогу на красный они не переходят даже ночью, а их любимый овощ — картошка, которая у них зовется “пыра”. Великопольские деревни славятся чистотой дворов, симметричностью полей и приглушенностью красок, а гордостью великопольских городов являются их опрятные парки, клумбы с анютиными глазками и уличные ка-

фешки, где охотно и смело ставят мраморные столики среди пластиковых стульев. И еще ночная тишина, всегда воцаряющаяся до наступления ночи.

Историческая столица Великопольши — Познань.

Познань (исторический очерк)

Первые следы, указывающие на присутствие людей на территории сегодняшней Познани, оставили около десяти тысяч лет назад, на исходе ледникового периода, охотники на оленей. Славянские поселенцы прибыли сюда в V веке нашей эры, а зачатки самого града стали возникать в VIII веке, вместе с появлением племени полян. Два столетия спустя, град оказался во власти исторической династии Пястов и стал одной из четырех столиц их государства. Городской статус Познань получила лишь в XIII веке, однако принято считать, что именно в познаньском кафедральном соборе на Тумском острове князь Мешко I, правитель полян, в 966 году принял крещение, называемое Крещением Польши[1].

История города, как это часто бывает, знала годы достатка и бедности, и, если изобразить ее одной линией, несомненно получилась бы синусоида. На протяжении своей богатой истории Познань была резиденцией королей, переживала упадки и почти погибала, но даже в Шведском потопе[2] не утонула, а мужественно пришла в себя и снова обрела жизнеспособность. В период разделов Познань вместе со всей Великопольшей досталась Пруссии, и, наверное, единственным приятным воспоминанием о тех временах остается уникальная модель "мерседеса". Этот "мерседес", называвшийся 10/20 HP Posen, был собран в 1912 году по заказу некоего князя Гешке из Познани и несколько лет назад продан на аукционе старинных автомобилей почти за миллион евро.

Свободе после разделов Познань радовалась недолго, ибо сразу после начала Второй мировой войны на основании двух декретов ее присоединили к рейху. Наступили трагические времена акции с прелестным названием Generalsiedlungsplan[3], в рамках которой происходили массовые депортации, переселения, облавы и вывоз на так называемые принудитель-

1. Крещением Польши называют начало процесса христианизации польского государства.
2. Вторжение шведов в Речь Посполитую в 1655–1660 гг., нанесшее ей огромный урон.
3. Генеральная схема районной планировки (*нем.*).

ные работы в Германию. В конце концов, в 1945 году город был освобожден Красной армией, попав из огня да в полымя.

Зализав раны, которые нанесла война, Познань до сих пор очищает свой пейзаж от архитектурных реликтов невеселого полувека коммунизма. Тем не менее все меняется к лучшему: сегодня город насчитывает более полумиллиона жителей и лидирует в рейтинге польских городов по уровню жизни. А хорошо живется там, где каждому найдется место, и поэтому в 2005 году во время Марша равенства, который был запрещен мэром города, познанцы толпами высыпали на улицы и, защищая Равенство, смело столкнулись с полицией. Столкновение это они в конечном счете выиграли, поскольку вскоре суд признал запрет мэра незаконным.

Что ж, какой-нибудь Амстердам тоже не сразу строился. Времена, по счастью, меняются, а вместе с ними и люди, и флора, и фауна. Четыре оленя, которые недавно приехали из Ганновера, топчут сегодня вольер познаньского зоопарка, и никто на них не охотится.

Познань (*интересные факты*)

Исторических памятников в Познани множество, что исчерпывающе описано в путеводителях. Поэтому упомяну лишь часы, которые установили в эпоху Возрождения на ратушной башне и снабдили, как записано в хрониках, "шутовским устройством, а именно козликами". Их там двое; вместе с картофелем они являются символом Познани. Каждый день, ровно в полдень, козлики вылезают из окошка над циферблатом и бодаются в такт хейналу; хейнал похож на тот, что звучит на Мариацкой башне в Кракове, только в Познани трубач не обрывает мелодию внезапно[1].

Познань — город не только старинный и исторический, но также открытый миру, и уже на протяжении девяноста лет здесь проходит Международная познаньская ярмарка. Международность ярмарки украсила мое познаньское детство: я носилась среди торговых павильонов и собирала в пластиковый пакет все попадавшиеся под руку цветные проспекты и фотографии строительных машин, мебельных стенок и тракторов.

Современность проникает в Познань с достоинством и ненавязчиво, и лучший тому пример — торговый центр "Старая

1. Хейнал — сигнал точного времени, раздающийся каждый час с башни Мариацкого костела в Кракове; по легенде трубач был сражен вражеской стрелой.

пивоварня", внушительное здание, построенное на месте бывших пивоваренных заводов Амвросия Хуггера, пивовара, который в 1844 году приехал в Познань из Вюртемберга. Если смотреть снаружи, здание ничем не напоминает классический торговый центр и выглядит как смелое сочетание океанского лайнера "Куин Мэри 2" и Красного форта в Дели. В 2005 году "Старая пивоварня" получила от Международного совета торговых центров награду как лучший торговый центр в мире в категории объектов среднего размера, а в 2008-м тот же совет признал ее лучшим торговым центром Европы.

Хотя Познань потерпела неудачу в гонке на звание европейской столицы культуры, с культурой здесь все очень хорошо. Мое любимое мероприятие, вот уже двадцать лет подряд проходящее летом на берегу Мальтанского озера, — Malta Festival Poznań. На этот фестиваль съезжаются лучшие независимые, экспериментальные, немейнстримные и нерепертуарные театры, а также музыканты, танцовщики, представители изящных искусств и цирковые артисты со всего мира. В этом году стражи порядка привлекли дополнительное внимание к одному театру из Франции, влепив актерам мандат за непристойное поведение, ибо те играли голышом. Хэппенинг познаньской полиции пошел лишь на пользу мероприятию, ибо за голых французов стеной встала вся Польша, а о познаньском фестивале написали все газеты.

Как любой уважающий себя город, Познань гордится не только ретивыми полицейскими, но и теми людьми, которые тут родились и потом стали знамениты. Хотя и не все об этом помнят, но, наверное, самый известный в мире познанец — Кшиштоф Тшчинский, отоларинголог, которому предрекали блестящую карьеру и который вошел в историю — но не медицины, а джазовой музыки и кино. Польская молодость Тшчинского пришлась на времена, когда джаз искореняли, как колорадского жука, а так сложилось, что Тшчинский в свободное от врачебной практики время основал джазовый секстет. Поэтому для отвода глаз он взял псевдоним и позже прославился как гений современного джаза и автор музыки почти к шестидесяти фильмам. Первый из них — "Двое со шкафом", а один из последних — "Ребенок Розмари"[1]. Год назад в саду одного из корпусов Медицинского университета в Познани был поставлен памятник Кшиштофу Комеде-Тшчинскому, ибо речь, естественно, о нем.

1. "Двое со шкафом" (1958, Польша) и "Ребенок Розмари" (1968, США) — фильмы Романа Полански.

Если же говорить о знаменитых польских спортсменах из Познани, то здесь родился популярный четверть века назад теннисист Войтек Фибак. Другие известные спортсмены, такие как Ирена Киршенштейн-Шевинская, Збигнев Бонек, Адам Малыш, Роберт Кубица, Дариуш Михальчевский, Анджей Голота, Агнешка Радванская, Мирослав Клозе, Артур Боруц, Эузебиуш Смолярек и Лукаш Подольский родились, к сожалению, в других местах.

Познань (*футбольные клубы и команды*)

Старейший польский футбольный клуб в Познани – "Варта Познань". Его основала в 1912 году группа подростков. В то время и в том месте (территория, аннексированная Пруссией) польская молодежь могла гонять мяч только в немецких клубах, так что название имеет двоякий смысл: оно происходит от названия реки Варты, которая протекает через Познань, и от немецкого слова "Warte" – сторожевая башня. Уже в первом официальном матче футболисты "Варты" не только грудью встали на стражу своих ворот, но и победили с разгромным счетом 9 : 2 другую познаньскую, полностью состоящую из немцев, команду клуба "Герта" – сейчас при воспоминании об этом на глаза у нас наворачивается ностальгическая слеза. Полосу удач "Варты" прервала сначала Первая, а потом Вторая мировая война, во время которых клуб по понятным причинам приостанавливал свою деятельность. Однако в 1945 году он опять возродился и снова добивался одной победы за другой. Счастливая эпоха "Варты" окончательно завершилась в сталинские годы, и, хотя после многочисленных пертурбаций клуб вновь ожил, ему до сих пор не удается достичь прежнего блестящего уровня. Впрочем, кто знает, как все может повернуться – с недавних пор за штурвалом клуба стоит креативная красавица Изабелла Лукомская-Пыжальская. Когда-то она прославилась двумя фотосессиями в "Плейбое", но этот факт бледнеет на фоне ее нынешних достижений в области спорта. Как президент клуба она печется обо всем: от формы футболистов до бесплатных билетов на воскресные матчи для болельщиков и их семей. Мало того, она не только яростно поддерживает свою команду с трибуны, но также, если возникает необходимость, на показательном матче сама может прекрасно сыграть в нападении. При госпоже президенте популярность "Варты" резко возросла, и, хотя сейчас команда играет в первой лиге, судьба клуба обещает быть интересной.

Тут необходимо разъяснить некую путаницу, связанную с классовым характером футбола, то есть с делением на лиги. Так вот, нынешняя первая лига в польском футболе на самом деле является второй, а причина в том, что в 2008 году в оборот было официально введено гордое понятие "экстракласс". "Экстракласс" — это лига лиг, она не нуждается в номере и вобрала в себя команды, которые раньше входили в первую лигу. А раз первая лига стала "экстра", то вторая автоматически оказалась на верхушке подиума и превратилась в первую. Лига третья, в свою очередь, стала второй, а лига четвертая — третьей. Это начинание, если присмотреться поближе, очень социально значимо, а если бы над "экстраклассом" надстроили еще лиги ультра- и супер-ультракласса, шанс взойти на футбольный подиум наконец получили бы менее состоятельные клубы из шестой лиги.

Гордость Познани, "Лех Познань", сейчас играет в "экстраклассе". "Лех" на десять лет моложе "Варты", а его родословная связана с историей организации, возможно, не совсем спортивной — Католического союза молодежи. Разница темпераментов привела к тому, что группка подростков вышла из рядов Союза и создала независимую футбольную команду. Как спортивный клуб она была зарегистрирована 19 марта 1922 года, и этот день считается официальной датой рождения познаньского "Леха".

Таким образом, "Лех Познань" по знаку зодиака — Рыбы, а по китайскому календарю — Собака. Люди, рожденные в этом сочетании знаков, впечатлительны и легко ранимы, упрямы и вспыльчивы, они излучают сексапильность, своих целей достигают вопреки логике и нередко имеют пристрастие к энергетикам. Кроме того, им свойственно непостоянство, они производят впечатление потерянных, однако это ошибочно. Партнеров меняют часто, но, если найдут подходящего, долго хранят ему верность.

До настоящего времени "Лех" менял название двенадцать раз и поначалу выступал как "Лютня Дембец[1]". В 1957 году, на волне оттепели после смерти Сталина, клуб переименовался в восьмой раз — чтобы подчеркнуть свою польскость. Несмотря на то что среди вариантов названия был даже великий праполяк Пяст, окончательный выбор пал на рыцаря Леха. Согласно средневековой легенде, Лех был одним из трех братьев, стоявших у истоков возникновения трех славянских стран: Чехии на юге, Руси на востоке и Польши на севере.

1. Дембец — сейчас один из районов Познани.

Этот север, а если точнее, сегодняшняя территория Великопольши, настолько очаровал Леха, что он решил остаться там навсегда и основал с этой целью город Гнезно.

От Гнезно до Познани рукой подать, так что выбор для познаньского клуба имени Лех был правильным. В 20-е годы легендарному рыцарю повезло меньше: в конкурсе на название польской денежной единицы он с треском проиграл злотому. Да и хорошо, наверное, что проиграл, а то глупо было бы сегодня платить лехами за билет на матч с какой-нибудь "Вислой Краков". Как и название, так и судьба познаньского "Леха" чуть ли не с момента его основания неразрывно связаны с польскими железными дорогами. Уже в 1930 году, в результате третьего переименования, в названии клуба появилось слово "железнодорожный", и железные дороги стали его главным спонсором на последующие шестьдесят четыре года. В 1994 году слово это выпало из названия, но двенадцать лет спустя вернулось. Сегодня официальное название клуба довольно длинное и звучит так: "АО 'Железнодорожный спортивный клуб Лех Познань'", при этом – как поясняют профессионалы – ЖСК теперь не более чем сочетание букв и уже не значит того, что раньше.

Что бы, однако, ни означала эта аббревиатура, "Лех Познань" практически всегда называли "Колейожем", что заодно подчеркивает колорит познаньского диалекта[1]. Эта команда – всеобщая любимица, а участники ее огромного фан-клуба даже основали официальное объединение болельщиков под названием "Ребята Леха". Будучи шестикратным чемпионом Польши, клуб не может пожаловаться на недостаток спонсоров. Его генеральный спонсор – фирма "s.Oliver", производящая одежду и когда-то финансировавшая немецкую "Боруссию Дортмунд". К сожалению, "s.Oliver" не одевает своих спортсменов, поэтому мой фаворит – технический спонсор "PUMA". Эта фирма одевает своих с ног до головы, причем даже таких требовательных, как Серена Уильямс или Пеле. А поскольку вот уже несколько лет "PUMA" одевает и "Лех", футболисты, даже если и проигрывают матчи, выглядят красиво.

В качестве интересного факта добавлю еще, что "Лех Познань" все больше открывается миру: в нынешнем составе команды я насчитала одиннадцать непольских фамилий, а до недавнего времени тренером был бывший игрок ФК "Барселона" Хосе Мария Бакеро.

1. Kolejorz – искаженное слово "kolejarz", т. е. железнодорожник.

Стадион-лотос

В связи с Евро-2012 Польша обогатится четырьмя очень большими и современными стадионами. Городской стадион в Познани – единственный, который не понадобилось строить с нуля: его строительство началось еще в 60-е годы прошлого века. Конечно, с тех пор его несколько раз модернизировали, нынешняя же метаморфоза – на этот раз в макромасштабе – заключается в смелом расширении того, что несмело расширяли ранее.

Все строительные перипетии я обойду за километр – просто потому, что их слишком много, да и нет в них ничего исключительного (достаточно вспомнить хотя бы болезненные переживания лондонцев по случаю строительства нового "Уэмбли"). Так что упомяну лишь несколько особенностей познаньской стройки.

Познаньский стадион, словно цветок лотоса, в известном смысле вырос в мутной воде. Точнее, его спроектировали на болотах, которые по случаю строительства необходимо было осушить. Осушение территории проходило успешно, вот только в процессе неожиданно были обнаружены два прусских бункера. Поскольку с бункерами связаны нехорошие ассоциации, первым делом вознамерились просто-напросто с грохотом их взорвать. Однако, немного подумав, признали памятниками истории, а памятники, как известно, нужно охранять. Так что бункеры засыпали землей и все о них забыли, а несколько лет спустя, в 1980-м, познаньский "Лех" с достоинством отыграл на старом Городском стадионе свой первый матч.

История эта получила непредвиденное продолжение. В ходе теперешних модернизационных работ в очередной раз были неожиданно обнаружены те же самые бункеры, которые когда-то пощадили. Так история сделала круг и проблема повторилась: бункеры ведь не перестали быть памятниками, и Общество охраны памятников снова не дало согласия ни на их уничтожение, ни даже на тихий разбор. В результате, в рамках компромисса, бункеры окружили трибунами: они должны стать дополнительной приманкой для фанатов.

Не менее интересен факт, что познаньский стадион – единственный среди всех предназначенных для игр Евро-2012 стадионов, строительство которого завершили до того, как оно было завершено. Официальное открытие ознаменовали осенью 2010-го концертом Стинга, но, хотя акустика заслужила твердую пятерку, устраивать там большие матчи еще

нельзя, и в тот момент, когда я пишу эти слова, строительство законченного стадиона продолжается.

За всеми этими начинаниями бдительно наблюдает УЕФА, используя проверенный метод кнута и пряника: то припугнет, то похвалит; но что они там думают на самом деле, сказать трудно. Зато одному из заграничных наблюдателей строительная площадка вокруг стадиона однозначно напомнила фильмы ужасов. Эта ассоциация, несомненно, справедлива, не хватает только паутины, все же остальное совпадает: в конце концов, классический хоррор любит скелеты мостов, когти кранов, а также бетономешалки, куда в любую минуту могут кого-то скинуть, причем живьем. Впрочем, строительной площадкой являются не только прилегающие к стадиону территории, но и весь город, отчего Познань, честно говоря, поразительно напоминает Берлин.

Жители Познани испытывают смешанные чувства к своему стадиону. Скептики утверждают, что это самая большая и самая дорогая мыльница в мире, а четыре его трибуны совершенно не сочетаются друг с другом. Обитатели соседних домов, в свою очередь, жалуются, что, когда фанаты подпрыгивают, в квартирах дрожат стекла и вибрируют стаканы. Эту дрожь, впрочем, измерили при помощи сейсмографов, которые не показали серьезных отклонений от нормы.

И так далее, и так далее; в брюзжании — сила, но сила деструктивная. Сегодня, например, все как один восхищаются пирамидами, однако кто знает, как с этим восхищением обстояли дела при жизни фараонов. Что же касается меня, то я предпочитаю говорить о вещах хороших и удавшихся. К примеру, о местах для физически неполноценных болельщиков, — познаньский стадион подготовил таких мест в два раза больше, чем требовала УЕФА, — а также о специальных устройствах, которые помогут смотреть матч людям с нарушениями слуха и зрения. И уже хотя бы по этой причине, наперекор всему плохому, познаньский стадион вызывает мою симпатию.

L*ast but not least*[1] *(альтернативная инфраструктура)*

Недавно наше телевидение забило тревогу: до начала чемпионата Европы остался всего год, а в Польше ничего не де-

1. Последнее по счету, но не по значению (*англ.*).

лается в области сексуального просвещения. В этой сфере у нас вообще мало что происходит, но на сей раз проблема приобрела международный размах. Так уж сложилось, что футбольные фанаты — в основном мужчины, а раз на чемпионат в Польшу съедется очень много мужчин, то пропорционально их количеству возрастет спрос на секс. А следовательно, и спрос на презервативы.

Во время последних зимних Олимпийских игр в Ванкувере для одних только спортсменов было приготовлено сто тысяч презервативов, и запас этот исчерпался задолго до конца олимпиады. Во время чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году спрос на презервативы был оценен в миллиард штук.

Мне страшновато думать, как с этим будет в Польше, ибо сейчас, как обычно, абсурднее быть не может. Два года назад в одном из познаньских магазинов от молодого клиента требовали, чтобы перед покупкой презерватива он доказал, что достиг совершеннолетия, и, хотя это произошло во времена курьезной деятельности той же уполномоченной по правам ребенка, которая усмотрела в "Телепузиках" скрытую пропаганду гомосексуализма, сегодня ситуация не сильно улучшилась. Естественно, в контексте Украины и Польши миллиард презервативов — число завышенное; тем не менее насчет реально необходимого количества по-прежнему особо не с кем поговорить, а на все вопросы журналистов наши министерства образования и здравоохранения реагируют хихиканьем.

Это тем более странно, потому что, словно по иронии судьбы, изобретателем классического презерватива является польский химик из Конина Юлиус Фромм. Этот самый Фромм в XIX веке заменил бараньи кишки и рыбьи жабры, использовавшиеся в производстве презервативов, спасительным латексом. А чтобы было еще смешнее, немецкая фамилия изобретателя по-польски означает "благочестивый".

Однако презервативы — не единственная проблема. Не менее важен вопрос секс-туризма. К счастью, польская полиция пользуется советами коллег из стран, имеющих больший опыт в организации спортивных турниров, а специалисты по противодействию торговле живым товаром учат нас, как бороться с секс-мафией.

У меня же есть желание присоединиться к акциям наших украинских соседок, объединившихся в организацию "Femen": члены этой организации обещают, что, если УЕФА не осудит секс-туризм столь же решительно, как осуждает расизм на стадионах, они "будут появляться и раздеваться на каждой футбольной вечеринке и на каждом матче". В Польше

женские протесты менее эффектны, однако в рамках акции "Не превращайте Украину и Польшу в бордель" женские сборные наших стран провели символический футбольный матч со сборной "проституток". Главным лозунгом матча был вопрос: "Кто победит — сексапильность или секс-бизнес?" "Проститутки" проиграли.

Хеппи-энд

Нет ничего хуже, чем слушать музыку с музыкантами, говорить о книгах с писателями и смотреть в будущее с пессимистами.

Поэтому буду лаконична: чемпионат Европы — это огромный вызов, так что нам нелегко и легко не будет. Но совершенно точно все будет хорошо или даже слишком хорошо: в конце концов, поляки — нация людей чрезмерно одаренных.

Сергій Жадан

Черное золото надежды

Перевод с украинского Мадины Алексеевой

1.

Август 2011-го. Только что начался очередной чемпионат Украины по футболу. Всё как всегда — сумбур первых встреч, необъяснимые неудачи фаворитов, случайные победы середняков. Болельщики изо всех сил пытаются разглядеть в игре своих клубов намеки на будущие победы. Однако разглядеть хоть что-то в первых матчах не так уж и просто. Тем более что на старте кто-нибудь обязательно выстрелит и попробует смешать карты. Позже, ближе к завершению первого круга, все встанет на свои места, а пока все ждут сенсаций и сюрпризов. Разумеется, в свою пользу.

Еще до начала сезона специалисты почти хором утверждали, что золото возьмет донецкий "Шахтер" — уж очень мощно выглядит "восточноевропейская Барселона" по сравнению со своими главными конкурентами — Киевом и Харьковом. "Шахтер" сразу же вырывается вперед, подтверждая, казалось бы, прогнозы знатоков и убивая интригу чемпионата. Между тем все только начинается — любовь к футболу часто заключается в любви к непредсказуемому.

© Сергій Жадан
© Мадина Алексеева. Перевод, 2013

Я созвонился со своими донецкими знакомыми и попросил мне помочь, сказал, что давно мечтаю попасть на "Донбасс Арену" – жемчужину Донбасса, как ее пафосно называют в Донецке, – новый стадион ФК "Шахтер". "Без проблем, – сказали они, – приезжай". Я дождался ближайшей домашней игры "горняков" и купил билет до Донецка. К тому же неожиданно нарисовался прекрасный повод. "Шахтер" принимал "Кривбас" из Кривого Рога – клуб, который обычно болтался в нижней части турнирной таблицы, а тут, после трех туров, неожиданно для себя (и, пожалуй, для своих болельщиков) взял низкий старт и оказался на третьем месте. Получилось, что играют лидеры – первая команда против третьей. Завязалась какая-никакая интрига, что на украинских чемпионатах случается не так уж и часто.

2.

Суббота, 6 августа. Железнодорожный вокзал Донецка разбит ремонтными работами. Поезда опаздывают, на платформах не протолкнуться. Вокзал готовят к Евро-2012. Совсем скоро здесь все будет по-другому. Впрочем, в остальных городах, которые готовятся принимать Евро, происходит нечто подобное: власти лихорадочно вылизывают стратегические объекты и центральные улицы, красят фасады и ремонтируют дороги. Доминирует лозунг "В рамках подготовки к Евро", им прикрываются, с ним связывают надежды. Часть населения воспринимает подобную риторику с энтузиазмом, часть скептически, но отступать некуда – Украина выходит на финишную прямую. Чемпионат неумолимо приближается, хочешь не хочешь – нужно что-то делать. И раз уж всего не успеть, можно ограничиться вокзалами, аэропортами и гостиницами. Донецк в этом смысле всегда был этаким украинским локомотивом – со своим суперклубом и собственным суперстадионом, со своей партией власти и стремлением этой власти довести все до победного конца. Проигрывать не хочет никто.

3.

Болеть за футбол – дело, напрямую связанное с фортуной и случаем. От тебя мало что зависит. Если ты человек порядочный, должен болеть за своих. И хорошо еще, если тебе довелось родиться и вырасти где-нибудь в Барселоне. В противном случае придется всю свою фанатскую жизнь не столько гордиться достижениями любимой команды, сколько опла-

кивать ее незавидную карму. Футбольные боги славятся своими шутками и частенько наделяют наши города не самыми лучшими клубами, за которые нам волей-неволей приходится болеть. Существует, конечно, категория болельщиков, которые сразу же выбирают себе объектами симпатии каких-нибудь британских или итальянских грандов и болеют за них со всем своим малодушием и беспомощностью. Однако даже подобный конформизм не в силах лишить тебя чувства принадлежности к клубным цветам родного города, и как ни крути — гений места витает над каждым из нас, независимо от того, огни каких стадионов светят с телеэкрана. Нельзя быть настоящим болельщиком и не поддерживать команду своего города. Иначе окончательно теряется драматизм и героика, необходимые профессиональному спорту. Даже если за эту героику платят круглые суммы. Нельзя быть настоящим болельщиком, поддерживая лишь вечных чемпионов. Тем более что футбольные боги способны на великодушные поступки, порой ведут себя непредсказуемо и легкомысленно, кардинально меняя судьбу целых спортивных обществ, благословляя целые города, направляя невидимые финансовые потоки в сторону наших любимцев и выводя их тем самым из тени и мрака на свет софитов и к вершинам турнирных таблиц. Вполне возможно, что в этом мире ничто не происходит просто так, у всего есть свое объяснение и внутренняя логика. Вполне возможно и то, что все зависит от веры и терпения болельщиков, за которые нам и воздается. А может быть и так, что всякие изменения случайны и непоследовательны и зависят — как и все в нашей насквозь продажной цивилизации — исключительно от инвесторов и кредиторов. Современный футбол давно и надежно завязан на капиталовложениях и успешной селекционной работе, в один прекрасный день все может измениться, и боги могут повернуться к нам лицом, и любые победы, которые еще вчера казались недостижимыми и заоблачными, уже через сезон-другой становятся чем-то обычным и прогнозируемым. В футболе все меньше футбола и все больше прагматизма, продуманности и финансовых факторов. Возможно, за это его так любят сегодняшние дети.

4.

К чему я клоню? Донецкий “Шахтер” — команда с давней и славной историей. У “Шахтера” свой багаж побед и поражений еще со времен чемпионатов СССР. Его всегда любили у себя, в Донбассе. У него всегда были свои амбиции. Но что

было бы сегодня с “Шахтером”, если бы не Ринат Ахметов, если бы донецкий мультимиллионер не стал собственником команды и не задался целью сделать из нее свою личную “Барселону”? Кто вообще мог поверить, скажем, пятнадцать лет назад, что на Украине может быть другой чемпион, а не киевское “Динамо”? Ведь украинские футбольные 90-е — это бесспорное лидерство киевлян, за которыми стояли экономический, политический и административный ресурс братьев Суркисов, фактически подмявших под себя футбол в стране на целых десять лет, за что их так люто ненавидят все, кто не болел и не болеет за “Динамо”. Но вот, оказывается, на каждый криминальный миллион баксов можно найти два других миллиона. И каждого арбитра можно не только купить, но и перекупить. А судьбу чемпионства, оказывается, решают не только традиция и моральная поддержка, но и финансы. Возможно, финансы прежде всего. И кого теперь должны благодарить болельщики “Шахтера” за сладкие минуты триумфа и эйфории — абстрактных футбольных богов или вполне реального олигарха, не пожалевшего “своих” миллионов на создание новой команды? Все произошло именно так, все изменилось быстро и кардинально, и стоило, пожалуй, болеть за тот, прежний, “Шахтер”, “Шахтер” начала 90-х, который торчал в середине турнирной таблицы, ни на что особо не претендуя. Стоило его поддерживать, чтобы дождаться-таки сегодняшнего упоительного вкуса золота и шампанского. С настоящими болельщиками все вышло по справедливости — они просто поддерживали клуб своего города, поскольку именно в этом городе родились и выросли. Кто же знал, что вместе с ними здесь будут жить мультимиллионеры.

5.

Игра должна состояться только завтра. По телефону мы договариваемся с Лерой, журналисткой и болельщицей, сходить сначала на “Донбасс Арену”, а потом посмотреть матч дублеров. Лера обещает познакомить с ультрас. Хотя, говорит она, они не очень любят про себя рассказывать. Договариваемся встретиться у памятника Ленину. Донецк выжжен солнцем и почти безлюден — студенты на каникулах, у клерков и рабочих законный выходной, на улицах пусто и жарко. Ленин вызывает желание полить его холодной водой. С Лерой приходят два болельщика, на них футболки “Шахтера” старого образца, в которых “горняки” играли еще в 30-е годы. Сразу сообщают, что никакие они не “ультрас”, а так, “кузьмичи” (ну, то есть с противниками не дерутся, сидят не в фанатском

секторе), хотя за "Шахтер" болеют с детства. Один из них, Саша, рассказывает, что даже свою будущую жену приглашал на романтические свидания – посмотреть футбол с террикона (старый стадион часто не вмещал всех желающих, поэтому шахтеры просто залезали на окрестные терриконы и болели оттуда; на старых фотографиях это выглядит фантастически). Мы стараемся говорить про футбол и не трогать политику.

6.

Что на самом деле производит сильное впечатление, так это новый донецкий стадион. Построенный на окраине парка имени Ленинского комсомола, он выглядит не то чтобы неестественно, но весьма экзотично. Сюда до сих пор приезжают жители окрестных городков, чтобы поглядеть на это чудо архитектуры. В Донецке не так уж и много достопримечательностей (хотя, возможно, жители Донецка со мной не согласятся), поэтому стадион выполняет функцию огромного релакс-центра; попадая туда, сразу забываешь об окружающем постсоветском бэкграунде. Для большинства жителей Донбасса посещение навороченной "Донбасс Арены" едва ли не единственная возможность побывать в другой реальности – на абсолютно "европейском" стадионе с абсолютно "европейским" сервисом. Это вообще одна из примет сегодняшних украинских мегаполисов: попытки создать некие оазисы отдыха, уюта и комфорта. За неимением достаточного количества музеев, театров и книжных магазинов (и, в общем-то, при отсутствии достаточного к ним интереса) граждане массово посещают огромные торгово-развлекательные центры или, как вариант, новые стадионы. И дело тут даже не в футболе. "Шахтер" и так всегда был любимым клубом местного населения – новая арена, словно перенесенная в реалии Донбасса из рекламных роликов, лишь добавила ему болельщиков. К тому же дирекция клуба действительно заинтересована, чтобы трибуны "жемчужины Донбасса" не пустовали, а посему билеты на матчи стоят очень дешево (полтора евро в фанатский сектор на внутренние игры), и даже во время встреч с аутсайдерами команда чувствует настоящую поддержку.

Знакомый из пресс-службы достает нам билеты на экскурсию со скидкой, и мы бредем за двумя десятками молодых людей, для которых посещение стадиона – неподдельная радость и главное событие летнего уик-энда. Мои знакомцы-"кузьмичи", хоть и были на новом стадионе много раз, рассматривают все с нескрываемой гордостью за родной

клуб. На стадионе удивительная атмосфера и хорошая акустика. В раздевалке "Шахтера" рядом с майками игроков большая икона — клубный талисман. Рассказывают, что она всегда стоит в раздевалке, отсюда ее вывозили лишь раз — в Стамбул, на финал Кубка УЕФА, который "Шахтер", кстати, выиграл. В помещениях под трибунами — клубный музей. Подозреваю, что по уровню технического оборудования и материального обеспечения это вообще лучший музей в стране. Ну а главное, все сделано с любовью. А этого уже никаким баблом не добиться. В приподнятом настроении мы отправляемся на матч дублеров "Шахтера" и "Кривбаса".

7.

Дублеры играют на "Олимпийском" — бывшей домашней арене "горняков". Находится она рядом с новым стадионом, и это соседство явно не в пользу старого спортивного объекта. "Олимпийский" смотрится сиротливо. Зрителей мало — впрочем, кому интересны дублеры. При входе на трибуны стоит группка недовольных шахтерских болельщиков, что-то возбужденно обсуждая. Неподалеку милицейские патрули. Выясняется, что несколько минут назад к стадиону подъехал автобус с фанатами запорожского "Металлурга" (местные называют их "бомжами", даже объясняли почему, но я так и не понял). Так вот, "бомжи" приехали в Донецк поддержать "Металлург", который играет в первой лиге, но вместо того чтобы отправиться на матч своей команды, где их поджидали шахтерские ультрас, воспользовались эффектом неожиданности и совершили дерзкое нападение на немногочисленных болельщиков "Шахтера". С донецкими они давние враги, а тут такая легкая добыча. Народу на трибунах оказалось немного, так что победа осталась за "бомжами". Досталось и нескольким случайным любителям спорта, которых занесло на фанатскую трибуну. Нам повезло — мы опоздали. Неподалеку под трибуной стоит "скорая". Донецкие мрачно обсуждают план дальнейших действий: где и когда можно будет перехватить подлых "бомжей", которые так бесцеремонно выбили их с их же трибуны. Во время нападения запорожцы сорвали один из донецких баннеров. Среди болельщиков это считается самым большим оскорблением. Хорошо, что баннер "бомжи" вернули.

Про баннеры ультрас "Шахтера" рассказали такую историю. Как-то раз, когда горняки играли в Риме в Лиге чемпионов, на трибунах неожиданно появились фанаты киевского "Динамо" и захватили несколько донецких баннеров. После

чего "кроты" забили врагам стрелку, чтобы отвоевать трофей. Бой снова выиграли динамовские, и баннеры остались у них. Впрочем, отношения между фанатами — отдельная тема. Она касается не столько футбола, сколько метафизики. Что тут скажешь — доброе имя клуба всегда нуждается в защите.

8.

В советском чемпионате за "Шахтером" закрепилась слава кубкового бойца — отчаянного и бескомпромиссного. Возможно, сказывались пролетарские корни донецкого футбола: первыми здесь начали гонять мяч валлийцы, работавшие на металлургических заводах Джона Юза[1]. Дальнейшее развитие футбола в Донбассе также связано с металлургическим комбинатом — именно при нем в 1911 году была создана команда, которая до самой гражданской войны была футбольной визитной карточкой Юзовки. Впрочем, и в советское время местные команды создавались преимущественно на базе промышленных предприятий. А уже в 1936 году в Сталино (как стала называться бывшая Юзовка, будущий Донецк) возник клуб "Стахановец" (в 1946 году переименованный в "Шахтер"). Уровень футбольного чемпионата в СССР был довольно серьезный, его даже близко нельзя сравнивать с сегодняшними чемпионатами Украины или России. До 1970-х победить в нем команде не из Москвы или Киева было почти нереально. Шахтерам это так и не удалось, хотя они вплотную приближались к цели, по два раза взяв "серебро" и "бронзу" советской "вышки". Однако даже финансовой и административной мощи Донбасса было недостаточно, чтобы вывести "Шахтер" на первое место в Союзе.

В чемпионате Украины донецкий клуб с самого начала входил в группу лидеров, не претендуя при этом всерьез на верхнюю ступень пьедестала почета. Новая история клуба начинается осенью 1996 года, когда президентом "Шахтера" становится Ринат Ахметов, и с тех пор клуб ниже второго места уже не опускается.

9.

Украинский футбол 90-х достоин отдельного рассказа. Постсоветское безвременье ударило по отечественному футболу

1. Джон Джеймс Юз (Хьюз) (1814–1889) — валлийский промышленник, основатель Донецка, в честь которого город до 1924 г. назывался Юзовка. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

конкретно и больно. Долго, до самого конца 90-х, вся интрига сводилась к тому, кто займет второе место в высшей украинской лиге. На чемпионство, как уже говорилось, могло рассчитывать только киевское "Динамо", жившее, казалось, отдельной жизнью. Динамовцы уверенно выигрывали каждое первенство, представляли Украину на международной арене и составляли костяк национальной сборной. Другим командам оставалось разве что жаловаться на несправедливое судейство. Все попытки тех или иных "провинциальных выскочек" бросить вызов "главной" команде страны терпели фиаско. Между тем времена менялись, а с ними менялись и обстоятельства. Ахметов доказал это более чем убедительно, за несколько сезонов создав абсолютно конкурентноспособный клуб, который вырвал-таки у динамовцев в сезоне 2001/2002 золото. Вершиной новой шахтерской истории была победа в Кубке УЕФА весной 2009 года. После чего стало понятно, что времена на самом деле изменились и что в современном футболе нет ничего невозможного (ясное дело, при соответствующем финансировании и грамотном менеджменте). Инопланетная "Донбасс Арена" лишь подтвердила это неожиданное открытие.

Футбольные боги пересмотрели свои планы на нашу страну, это уж точно. Сейчас глядишь и удивляешься — где то "Динамо"? Где та игра? Украинский футбол изменился — изменились фавориты, изменились аутсайдеры, изменился чемпионат. "Динамо" последние десять лет отчаянно борется с "Шахтером" за золото (все чаще ему проигрывая) и чувствует за спиной дыхание "новых разгневанных" — "Металлиста" и "Днепра". Из футбола окончательно исчезают любительство и непредсказуемость, а на трибунах появились настоящие ультрас.

10.

Войны фанатов, возможно, самые справедливые. Для каждой из них можно отыскать причины и сложно прогнозировать последствия. Эти войны не предусматривают тотального уничтожения соперника, скорее предполагают его ситуативное унижение; каждая внутренне мотивирована и оттого неизбежна. Хотя со стороны, со спокойных соседних трибун, иногда нелегко понять причины боевого противостояния и героического натиска оппонентов. Нужно быть в системе, чтобы замечать все подводные течения.

Мы договариваемся встретиться за пару часов до игры в одном из фаст-фудов. Сначала приходит кто-то один, потом —

еще двое, вскоре собирается уже человек двадцать. Разговор, похоже, никого из них особо не увлекает, но все равно рассказывают много интересного. Говорят, что их постоянно пасет милиция. Показывают, кто именно в зале за ними наблюдает. Предсказывают, что на матчи Евро-2012 никого из них не пустят, они в этом уверены. Их пытаются контролировать, прослушивают телефонные разговоры, вызывают на профилактические беседы. Так что во время матчей Евро можно будет расслабиться и просто посмотреть все по телевизору. Это касается, конечно, не только ультрас "Шахтера". Отечественные СМИ привыкли изображать футбольных фанатов постоянным источником агрессии и дестабилизации. Особенно рьяно за болельщиков взялись после того, как с украинских стадионов исчезла милиция. Похоже, кому-то очень важно и выгодно показать, что отсутствие на трибунах работников правоохранительных органов — прямой и короткий путь к хаосу и насилию. Телевидение демонстрирует, как львовские и киевские фанаты бьют стюарда, попытавшегося сорвать их баннер, в Харькове на трибуне гибнет болельщик, украинские стадионы накануне Евро становятся все более опасными и политически ангажированными. Сами ультрас относятся к этому весьма философски — у них своя идеология. Было бы странно, если бы она совпадала с идеологией работников милиции.

Интересно, что они — ультрас "Шахтера" — очень разные. Почти всем уже за двадцать, то есть это не пацаны, которым нечем заняться субботним вечером. Они различаются по социальному статусу: сами рассказывают, что в сектор приходят как вполне успешные клерки, врачи и менеджеры, так и рабочие, мелкие торговцы, безработные. Многие из них придерживаются правых взглядов, не впадая при этом в радикализм, многие называют себя украинскими патриотами, кто-то сразу же переходит на украинский язык. Говорят, что хотели даже перевести все свои "кричалки" на украинский, но решили этого не делать — все же единство на трибунах важнее, чем идеологические убеждения. Рисуют мне схему фанатского движения: с кем мир, с кем война, а с кем перемирие. Картинка получается пестрая, но четкая — с Полтавой, скажем, дружат, а вот с соседним Харьковом — нет: поссорились как раз из-за Полтавы. Со Львовом отношения нейтральные, а вот с Киевом — вообще отдельная война на уровне кровной вражды. Говорят, что не болеют за "Динамо" даже в еврокубках, где, казалось бы, все должны болеть за своих. "Черта с два, — говорят ультрас. — Мы наоборот радуемся, когда 'Динамо' проигрывает в Европе. Ка-

кого рожна нам за них болеть?" Рассказывают также о своем отношении к сборной страны. На мой вопрос, ходили ли они на матчи сборной, когда та играла на "Донбасс Арене", отвечают, что нет, не ходили, мол, во-первых, федерация (во главе которой стоит один из выше упомянутых братьев Суркисов — главный враг всех некиевлян) установила нереально высокие цены на билеты, а во-вторых, на кого там смотреть? На киевских дублеров, которые даже в составе своей команды редко появляются на поле? Что касается билетов, то история действительно не очень красивая. На решающий матч плей-офф отборочного тура чемпионата мира 2010 со сборной Греции, который нашей команде необходимо было выиграть, федерация выбросила в продажу неадекватно дорогие билеты. Матч должен был состояться в Донецке, на новом стадионе. Президент "Шахтера" предложил федерации выкупить все билеты и перепродать их желающим по более низкой цене. Этакий благородный, хотя и довольно популистский, если вдуматься, жест. Но федерация отказалась, трибуны на решающей игре пустовали, сборная Украины бездарно проиграла и в Южную Африку не поехала. Так что когда ультрас говорят про жлобство федерации и нежелание болеть за такую сборную, звучит это весьма аргументированно.

Они вообще держатся уверенно и просто, на публику не работают. Да и какая уж тут публика. Просят только не перевирать их слова. В разгар беседы с улицы вбегает кто-то из их людей, говорит, что неподалеку видел четырех "кривых" (фанатов "Кривбаса"). Все резко подрываются, несутся к выходу. Меня кто-то придерживает, говорит, не ходи туда — там точно кто-то с камерой стоит, от ментов, зачем оно тебе. И все же мы выходим за остальными на улицу. Те, кто выбежали первыми, уже разочарованно возвращаются — "кривые" то ли исчезли, то ли их вообще не было. А вот немного в стороне и правда стоят двое молодых людей с профессионально внимательными взглядами — пасут, запоминают. Возвращаемся. Я спрашиваю, как ультрас относятся к засилью бразильцев в клубе. "Шахтер", пожалуй, самая "бразильская" команда Восточной Европы — именно латиноамериканцы определяют тут рисунок игры, формируют стиль и обеспечивают результат. Ультрас отвечают, что особой любви к наймитам не испытывают, относятся к ним исключительно как к легионерам, которые делают свою работу, получая за это хорошие деньги. В любом случае — никакого расизма, никакой политики. Хотя футбол, по большому счету, тоже политика. Особенно в стране с таким судейством.

О политике все равно заходит речь. Даже если разговор о футболе. Ведь успехи "Шахтера" совпали с приходом во власть донецкой политической элиты, финансируемой главным образом все тем же Ахметовым. Фактически, в то время когда "Шахтер" рвался на футбольный Олимп, на Олимп политический рвалась Партия регионов, которая в сознании большинства украинцев ассоциируется с Донбассом. Футбол в лице Ахметова так тесно сплелся с политикой, что это не могло не сказаться на отношении многих болельщиков к самому клубу. И если в случае с жителями Донбасса, как правило, нет разноречий ("это наш клуб и наша партия"), то в других регионах отношение к донецкой суперкоманде часто определяется отношением к личности Ахметова. Соответственно, многие противники нынешней власти видят в "горняках" неотъемлемую составляющую донецкого политикума. Более того, изредка встречаются жители самого Донбасса, которые придерживаются, так сказать, "национально-демократических" взглядов (то есть не голосуют за Партию регионов) и в свое время просто перестали болеть за "Шахтер" по причине политической ориентации президента клуба. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что таких здесь немного. Так или иначе, этот политический подтекст сохраняется в Донбассе уже добрый десяток лет, и, если вы, скажем, надумаете приехать на Евро-2012 и посетить Донецк, будьте готовы увидеть несколько иную Украину, чем, скажем, Львов или Ивано-Франковск. Иную, но не менее интересную, неожиданную и полную социально-культурных парадоксов.

Поскольку Донецк, несомненно, город парадоксов. Промышленный гигант, который в последние годы благодаря мощному политическому лобби — фактически один из векторов развития страны, он стремится соответствовать статусу родины сегодняшней украинской власти. Гостиницы, магазины и ночные клубы в центре города резко контрастируют с базарчиками, пивными барами и спальными районами на окраине. Внешний вид довольно точно отражает и социальный характер Донбасса: отсутствие развитого среднего класса, всесильный олигархический капитал и беззащитные "нижние" слои. Подобное расслоение отнюдь не приводит к нарастанию социального напряжения или "классовой борьбы" — регион весьма однообразен в своих политических симпатиях, с чем должны считаться все без исключения игроки украинской политики. Даже сегодня, когда рейтинги власти рекордно низки и в своих вчерашних симпатиях разочаровы-

ваются даже самые ярые ее сторонники, в разговорах с "донецкими" постоянно слышишь, что, хоть новая власть тут мало кого устраивает, голосовать они и дальше будут, скорее всего, за нее. Есть вещи, которые невозможно объяснить. К ним нужно просто относиться как к данности.

12.

Я не случайно отхожу от темы футбола. И нынешняя украинская власть, и власть предыдущая прекрасно понимали, каков идеологический и пропагандистский потенциал Евро-2012. И если "оранжевые" полностью использовать этот потенциал не успели (по причине своего непрофессионализма и недальновидности), то нынешним властям деваться просто некуда — они должны провести Евро и потому стремятся выжать из этого факта максимум дивидендов. Всем понятно, что от того, как пройдет в будущем году Чемпионат Европы, действительно многое зависит. Речь здесь опять-таки не только про футбол. Ведь лишь слепому не видно, какие задействованы суммы при подготовке к турниру, какие коррупционные механизмы и подпольные схемы запускаются, сколько на этом "празднике спорта" зарабатывают соответствующие структуры. Поэтому можно уже сегодня сказать, что, если случится провал Евро (и спортивный, и финансовый), это может стать той каплей, которая переполнит наконец чашу общественного терпения и нарушит шаткое и ненадежное украинское равновесие. И тогда про футбол никто и не вспомнит.

Донбасс довольно неоднозначно воспринимают в других регионах. То, что жители двух областей — Донецкой и Луганской — фактически определили направление развития страны, по крайней мере, на ближайшие пять лет, многих раздражает и вызывает нездоровую ответную реакцию. Это касается и футбола — скажем, на одном из матчей нынешнего сезона фанаты киевского "Динамо" долго и дружно скандировали "Спасибо жителям Донбасса за президента-пидараса", что, впрочем, довольно показательно: политика все очевиднее проникает на трибуны, футбол давно и эффективно используется как средство пропаганды и манипуляции, болеть за тот или иной клуб уже почти невозможно без усвоения определенной идеологии. И то, что киевские болельщики переводят свою ненависть к вечным врагам — "кротам" — в политическую плоскость, хорошо передает общую ситуацию в стране: так или иначе, каждый клуб является представителем целого региона, так или иначе, за каждым стоит ка-

питал его владельца, тоже в той или иной степени присутствующего в политической и социальной жизни. В общем, вся жизнь на Украине напоминает футбольное противостояние, с его яростью и нетерпимостью, с его ребячьими претензиями ("Спасибо жителям Донбасса!") и вполне серьезными угрозами, с его постоянными конфликтами и тотальной коррумпированностью. А потому, если заговоришь на Украине про футбол, обязательно придется говорить про политику.

13.

На фан-секторе "Донбасс Арены" сидячих мест нет. При входе даже висит предупреждение: мол, не хочешь петь — не заходи. Первые несколько минут трибуна молчит — ультрас отдают дань памяти погибшего товарища. Вскоре сектор оживает, звучат первые "заряды"[1]. "Дирижеры" пытаются вовлечь стадион, благо акустика позволяет. Среди ультрас стоит кто-то из запасного состава "Шахтера", такое вообще-то редко увидишь. На секторе вывешивают баннер "Нет — натурализации", направленный против привлечения в национальную сборную иностранцев (откровенный камень в наш, харьковский, огород — именно "Металлист" делегировал в сборную натурализованных серба Девича и бразильца Эдмара). В середине первого тайма "Кривбас" проводит опасную атаку, мяч в пределах штрафной площадки попадает в руку капитана "Шахтера". Судья не стал назначать одиннадцатиметровый. "Умышленной игры рукой не было, — считают ультрас, — все справедливо". В конце тайма "Шахтер" открывает счет, во втором тайме его удваивает. Все становится на свои места. Довольные дончане собирают флаги и направляются к выходу.

После игры мы сидим возле стадиона с Андреем — он у них один из главных. Андрей рассказывает про их планы, говорит, что ультрас стараются установить нормальные отношения с руководством клуба, хотят в будущем получить целую выделенную трибуну. Вспоминает, что, когда в прошлом году между ультрас и игроками клуба произошел конфликт (футболисты даже не подошли к трибуне поблагодарить за поддержку), Ахметов лично надавил на команду, и конфликт был улажен. Про президента Андрей отзывается очень хорошо — говорит, что политика здесь ни при чем, что, когда на трибунах появляется тот же Янукович, это мало кого интере-

1. Речевки.

сует, поскольку всем понятно, что футбол ему до фонаря. А вот "папа" футбол любит по-настоящему и о своем клубе заботится. Андрей рассказывает также про бразильцев, говорит, что с ними нет никакого контакта, что они просто игнорируют болельщиков. В отличие от украинских игроков или легионеров из Польши и с Балкан — с этими всегда можно было нормально пообщаться. Еще он подтверждает, что матчи Евро будет смотреть на даче, потому что уверен: на трибуны их просто не пустят. Не похоже, чтобы он сильно переживал по этому поводу.

Вокруг вечернего стадиона еще долго толпятся люди — место популярное. Надеюсь, в будущем году здесь и вправду будут переполненные трибуны и толпы туристов, которые приедут открывать для себя экзотичную страну контрастов и парадоксов. Жаль, если на трибунах не будет донецких ультрас — футбол они любят и чувствуют. Возможно, потому и не идут на компромисс с милицией.

14.

Ходить по вечернему вокзалу еще сложнее из-за темноты — трудно предугадать, в какую яму упадешь. "Ничего-ничего, — успокаиваю я себя, — все пройдет, власть поменяется, а вокзалы останутся". Нахожу свое место в ночном экспрессе; вагон полупустой, редкие пассажиры отправляются из Донецка куда-то на север, их мало заботят результаты матча и перспективы команды в этом сезоне. Футбол все же интересует не всех, он вряд ли может заменить национальную идею, он вообще ничего не может заменить. Поскольку футбол — вещь самодостаточная, он приносит радость и разочарование, только пока ты воспринимаешь его всерьез, пока веришь в свою команду и не разочаровываешься в ней даже после самых постыдных поражений. Все прочее — лишь попытка сыграть на наших чувствах, на нашей вере и любви.

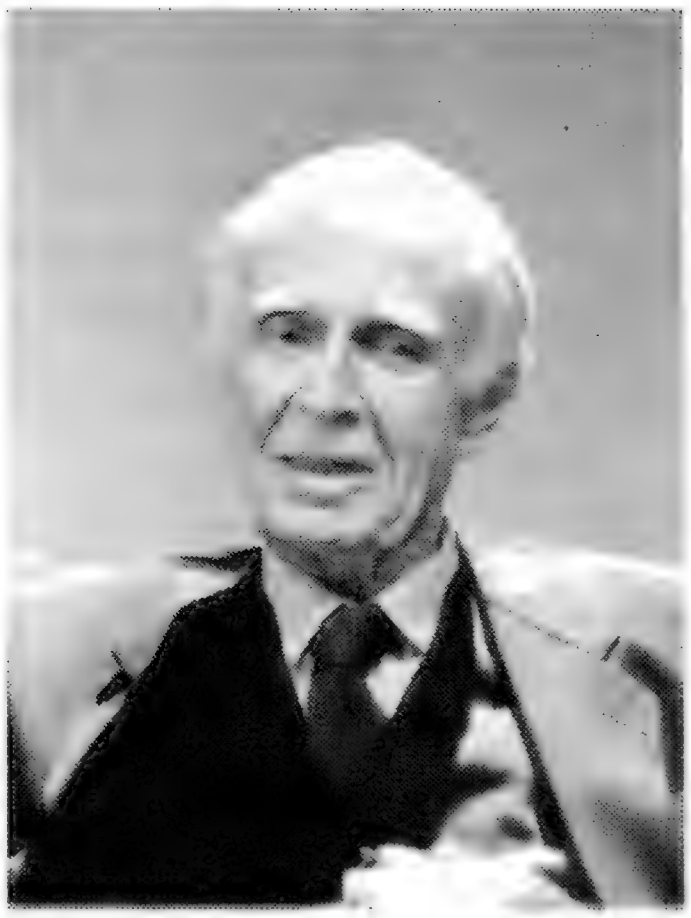
Я не знаю, собираетесь ли вы в будущем году на матчи в Донецк. И если да, то успеете ли увидеть и почувствовать что-нибудь еще, кроме футбола. Впрочем, вряд ли вы здесь задержитесь надолго и вряд ли вас озаботят проблемы этого странного места. Главное — чтобы ими, этими проблемами, озаботились те, кто тут остается, кто тут живет и регулярно ходит на здешние стадионы. Ведь это их шахты и комбинаты, их история и будущее, их уголь — "черное золото", как его тут называют, которое лежит под городами и футбольными газонами, последняя надежда, ради которой они кладут жизнь и теряют здоровье. Поэтому кто я такой, чтобы кого-то чему-то

учить — нам всем вместе довелось жить в это время и в этой стране, мы все вместе делали эту страну такой, какая она сегодня есть, и нам всем вместе приходится за это отвечать. Вы, по большому счету, здесь ни при чем, это наши внутренние дела, наслаждайтесь игрой.

15.

Сквозь сон, когда в окнах вспыхивает свет фонарей очередной безымянной станции, я пытаюсь всех их вспомнить и пересчитать, чтобы ничего не потерять и ни про кого не забыть. Сижу и считаю всех этих валлийских рабочих, которые гоняли по пустырям допотопный мяч, всех этих беженцев и переселенцев, которые застревали на местных предприятиях, физкультурников и комсомольцев, активистов и стахановцев, заезжих тренеров и страстных любителей, которые, как могли, развивали футбол в этом прожженном солнцем регионе. Я считаю всех шахтеров на терриконах и женщин на трибунах, всех звезд и неудачников на поле, всех бойцов и дублеров, всех бразильцев и татар, всех "кривых" и "бомжей", всех пацанов, которые завороженно смотрят на зеленое поле, мечтая вырасти и заменить этих старперов. Считаю всех депутатов и клерков, всех безработных и пьяниц, всех неуверенных и убежденных, всех, кто находит время, чтобы прийти на трибуны поддержать своих. Все мы тут разные, и у каждого из нас свое понимание игры и свои размышления о смерти. И нельзя никого пропустить. Главная задача: помнить обо всех. А пересчитав тех, кого я смог вспомнить, я прячу всю эту информацию куда-то в карман куртки, на дно сумки, в самые надежные сейфы памяти. Прячу так тщательно и глубоко, что, когда рано утром на харьковском вокзале милиция пытается меня обыскать, она ничего не находит. Совсем-совсем ничего.

Адольфо Бьой Касарес



Борхес

Из дневников

Перевод с испанского Александра Казачкова

Кажется, моя дружба с Борхесом началась с нашей первой беседы, случившейся в 1931-м или 1932 году на пути между Сан-Исидро и Буэнос-Айресом. Борхес был тогда одним из самых известных молодых писателей, а я — юношей с одной-единственной опубликованной книгой, которую мало кто заметил. <...>

Хотя мы были очень разными как писатели, дружба оказалась возможной, ведь нас объединяла страсть к книгам. Целые вечера мы проводили в разговорах о Сэмюэле Джонсоне, Де Квинси, Стивенсоне, фантастической литературе, детективных сюжетах, о "L'Illusion Comique"[1], литературных теориях, о contrerimes[2] Туле, о проблемах перевода, Сервантесе, Лугонесе[3], Гонгоре и Кеведо, о сонете, верлибре, китайской литературе, Маседонио Фернандесе[4], о Данне[5], времени, относительности, идеализме, о "Метафи-

© Herederos de Adolfo Bioy Casares
© Александр Казачков. Перевод, 2013

1. "Комическая иллюзия" (*франц.*) — пьеса Корнеля. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. Антистихи (*франц.*). Поль-Жан Туле (1867—1920) — французский поэт-символист.
3. Леопольдо Лугонес (1874—1938) — аргентинский поэт и прозаик.
4. Маседонио Фернандес (1874—1952) — аргентинский писатель, наставник Борхеса.
5. Джон Уильям Данн (1875—1949) — английский мыслитель, вошел в историю философии XX в. как создатель многомерной модели времени.

зической фантазии" Шопенгауэра, о неокреольском наречии Шуля Солара[1], о "Критике языка" Маутнера[2]. <...>

Я работал с Борхесом над самыми разными вещами: вместе мы писали детективные и фантастические рассказы с сатирическим уклоном, киносценарии, статьи и предисловия; вели книжные серии, составляли антологии, комментировали классиков. Среди лучших моментов моей жизни вспоминаю вечера, когда мы сочиняли аннотации на "Urn Burial", "Christian Morals" и "Religio Medici"[3] сэра Томаса Брауна, "Остроумие, или Искусство изощренного ума" Грасиана, подбирали тексты для "Антологии фантастической литературы" и переводили Сведенборга, Эдгара По, Вилье де Лиль-Адана[4], Киплинга, Уэллса, Бирбома[5].

Какими вспоминаются ощущения от наших тогдашних диалогов? Стихи, критические заметки, увлекательные эпизоды прочитанных мной книг в интерпретации Борхеса представали новой истиной, а все непрочитанное — миром приключений, ослепительным сном, каким временами становится жизнь.

И я спрашиваю себя: а не покажется ли грядущим поколениям нынешний Буэнос-Айрес в какой-то мере историями и персонажами романа, придуманного Борхесом? Возможно, так оно и будет, ведь, как я убедился, слово Борхеса нередко кажется людям большей реальностью, чем сама жизнь.

1947 год

Среда, 21 мая. Начал вести дневник.

1948 год

Вторник, 13 января. Говоря об идее книги и ее последующих черновиках, Борхес замечает: "Книга — тень чего-то возникшего в голове автора, причем автор не представляет себе это что-то достаточно четко: тень появляется, остальное исчезает. Произведение становится реальным, а идея — лишь следом от него, все более и более ирреальным. Перечитав ранние стихи Йейтса, похорошевшие за двадцать лет после многих исправлений, я подумал, что он добивался именно такой формы: понадобилась вся жизнь автора, чтобы стихи об-

1. Шуль Солар (наст. имя Оскар Агустин Алехандро Шульц Солари, 1887–1963) — аргентинский художник, писатель, изобретатель искусственных языков, наставник Борхеса и друг его отца.
2. Фриц Маутнер (1849–1923) — австрийский и немецкий писатель и философ, имеется в виду его трехтомный труд "Введение в критику языка" (1901–1902).
3. "Погребение в урнах", "Христианские учения" и "Вероисповедание врачевателя" (*англ., итал.*).
4. Филипп Огюст Матиас Вилье де Лиль-Адан (1838–1889) — французский писатель, автор фантастических новелл.
5. Макс Бирбом (1872–1956) — английский писатель, театральный критик и художник.

рели совершенство. Возможно, в голове поэта не бывает плохих стихов; возможно, во всех плохих стихах заложены хорошие стихи, они-то и побудили автора писать".

1949 год

Суббота, 10 сентября. В лекции о Гёте Борхес сказал: "В подражание религиям литература каждой страны тоже имеет свою каноническую книгу или автора. В Италии (а может быть, и во всем мире) это Данте, в Англии — Шекспир, в Испании — Сервантес, во Франции — Расин, Гюго и Бодлер, у нас, возможно, Эрнандес[1], в Германии — Гёте. Пожалуй, Данте — самый необыкновенный из авторов, а изучение 'Божественной комедии' предполагает исследование христианского богословия, классических литератур (в частности, Вергилия) и многого другого. Шекспир — любопытный случай, поскольку речь идет об авторе, который в силу обстоятельств той эпохи не мог считать себя литератором. <...> Что касается выбора Гёте, то он, хотя в Германии есть крупные писатели — Шопенгауэр, Ницше, Гейне, по ряду причин весьма удачен. Гёте занимали многие темы; как философ он несколько разочаровывает: когда Шопенгауэр пытался растолковать ему идеализм, то так ничего и не добился".

1950 год

Февраль. Мать Борхеса говорит со служанкой о загробной жизни. Служанка: "Конечно, религия говорит про загробную жизнь. Но мы не знаем, какая она. (*С надеждой.*) Вот бы и там была работа..."

Пятница, 15 декабря. Бьой: "Очевидно, реальность обильнее порождает умных женщин, чем женщин красивых. А возможно, всё проще: ум можно культивировать". Борхес: "Но и красоту тоже. Нечасто увидишь красивых женщин в бедных кварталах".

1951 год

Понедельник, 3 сентября. Борхес: "Я всю жизнь оспаривал общепринятые суждения (что Сервантес выше Кеведо, что в романах характеры важнее сюжета, что детектив — жанр второстепенный) — суждения, которых теперь придерживаюсь".

1. Хосе Эрнандес (1834—1886) — аргентинский поэт, автор поэмы о гаучо "Мартин Фьерро", ставшей едва ли не главным памятником национальной словесности.

1952 год

Суббота, 5 июля. Борхес читает. Подходит один из племянников и восклицает: “Как?! Бабушка разрешает тебе читать книжки без картинок?”

1954 год

Четверг, 14 января. На прощание Борхес говорит, что если влюблялся по-настоящему, то вовсе не в тех, кто отвечал его вкусам или предрассудкам: “Не в скандинавских полубогинь”.

1955 год

Четверг, 27 января. Об американцах Борхес говорит, что они не умеют быть реалистами. Они бывают романтиками, как По, могут быть Мелвиллом, Готорном, Фолкнером, но в роли реалистов они неубедительны и сентиментальны. А если хотят показаться жесткими, как Эрнандес или Аскасуби[1], то неизбежно впадают в плаксивость.

<...>

Говорит, что германцы (скандинавы) не держались за свою культуру; в Нормандии они стали французами, в Англии — англичанами. Англичане продолжают эту традицию: не хотят навязывать свою культуру. <...> Возможно, под влиянием “Германии” Тацита немцы, почти ничего не знающие о своей мифологии и своем происхождении, цепляются за идею германизма. Это даже трогательно: ставшие полем битвы, на котором сходились все армии мира, перепутьем, мировым борделем, они толкуют о чистоте расы.

Суббота, 30 июля. Говорим о жанре рассказа; американец [один из гостей Бьоя — Джон Грант Копланд[2]] просит дать определение. Бьой: “Упор здесь делается на сюжет; в романе — на персонажей”. Борхес: “Рассказ можно пересказать устно; роман же, если вы его не читаете, теряет главное (примеры: Пруст, ‘Путем всея плоти’ Батлера[3]). В рассказе можно изучать отдельного героя; в романе же одни герои влияют на других”. Копланд: “Может, это просто вопрос объема?” Бьой: “Не думаю, ведь ‘Дон Кихот’ — это по сути рассказ”. Борхес: “Конечно. Груссак[4] пишет, что он задумывался как *назидательная*

1. Иларио Аскасуби (1807–1895) — аргентинский поэт, автор нескольких поэм о гаучо.
2. Джон Грант Копланд (1927–2000) — американский испанист, под его редакцией в США вышел первый томик борхесовской прозы.
3. Сэмюэл Батлер (1835–1902) — английский писатель и художник.
4. Поль Груссак (1848–1929) — аргентинский писатель, выходец из Франции.

новелла, то есть как рассказ; потом Сервантес понял, что может писать дальше, отсюда и второй выезд Дон Кихота".

Вторник, 29 ноября. Борхес о Гейне. Сравнивает его с Уайльдом; в Гейне есть что-то от хитроватого еврейского паренька. Вспоминает доводы обращения Гейне в христианство: "Когда я был могучим Вакхом, то насмехался над любым верующим в личного бога. Теперь, став старым евреем, бедным и больным, я нахожу больше утешения в этой вере, которую не способен обосновать, чем в моем юношеском пантеизме". Борхес замечает: "Доводы, хоть и не очень достойные христианства, несомненно, высказаны искренне (искренне и с долей меланхоличной иронии)".

1956 год

Четверг, 16 августа. Борхес уверяет, что Мальеа[1] готовит большой роман под названием "Синдбад", и замечает: "Почему бы не назвать книгу сразу "Улисс"?" Еще рассказывает: "На днях мы в Библиотеке получили письмо от некого господина из Лас-Пальмаса, оно похоже на начало фантастического рассказа. Господин прилагает к письму книгу и учтиво просит передать ее писателю Рикардо Гуиральдесу[2], чей адрес отправителю неизвестен. Когда умер Гуиральдес? Кажется, в 27-м. Господин из Лас-Пальмаса мертв? Или он живет в мире, где обитает Гуиральдес? А мы сами?"

Четверг, 25 октября. Борхес: "Хуану Рамону Хименесу дали Нобелевскую премию". Бьой: "Какой позор..." Борхес: "...для Стокгольма. Сначала Габриэле, теперь Хуану Рамону. Лучше бы изобретали динамит, чем давали премии". Бьой: "Все же Хуан Рамон много лучше Габриэлы Мистраль. Плохие стихи Хуана Рамона – плохи, но лучшие из них достаточно хороши. Габриэла Мистраль не написала ни одного достаточно хорошего стихотворения".

Суббота, 27 октября. Пейру[3] и Борхес с улыбкой замечают, что все автомобили русского посольства, кроме одного, американские. Борхес: "При всем славянском мистицизме им присуща замечательная практичность. Они понимают, что

1. Эдуардо Мальеа (1903–1982) – аргентинский прозаик.
2. Рикардо Гуиральдес (1886–1927) – аргентинский поэт и прозаик, его славу составил роман о гаучо "Дон Сегундо Сомбра" (1926).
3. Мануэль Пейру (1902–1974) – аргентинский писатель, близкий друг Борхеса с юных лет.

автомобиль должен служить для передвижения, а потому покупают кадиллаки и шевроле".

Суббота, 10 ноября. Спрашиваю Борхеса, как он считает: надо ли писать статьи как рассказы. Борхес: "Думаю, все должно быть повествованием. Все должно иметь форму рассказа". Сильвина [Окампо][1]: "Как? И стихи тоже?" Борхес: "И стихи тоже. Во всем должна быть ситуация и развязка. Разумеется, в идеале ты можешь задаться целью и написать что-то неповествовательное, но почти наверняка ничего не получится. Чтобы поддерживать у читателя интерес, надо писать статьи как маленькие рассказы". Бьой: "Все-таки мне кажется, что между планом рассказа и планом заметки или статьи есть разница. Рассказ надо завершать самым важным. Начало в рассказе не так существенно; читатель знает, что может чего-то ждать. В заметках и статьях лучшее из того, что у тебя есть, надо давать в первой фразе. Иначе читатель не включится".

Среда, 12 декабря. Борхес: "У Асорина[2] спросили, зачем он дает названия своим театральным пьесам по-английски? 'И Шекспир так делал', был ответ".

1957 год

Четверг, 23 мая. "Беда в том, — говорит Хулия Пейру[3] о Маргарите Бунге[4], — что она до того красива, что люди ей верят". Борхес поясняет: "Женщины ошибаются по поводу красоты или уродства других женщин. Подозреваю, у них есть абстрактное представление о красоте женщин — правильные черты лица, цвет кожи и волос, — но они их не чувствуют".

Воскресенье, 26 мая. Борхес по телефону. <...> О биографиях: "Верно подметил Марк Твен: 'Никто не способен сообщить правду о себе или скрыть ее'".

Вторник, 25 июня. Говорим о Блейке. Борхес: "В Блейке есть что-то очень неприглядное". Бьой: "Это видно в рисунках". Борхес: "И в именах его богов. Что-то немецкое в языке и в воображении". Бьой: "С примесью детского вздора 'nursery

1. Сильвина Окампо (1903—1994) — аргентинская писательница, друг Борхеса и жена Бьоя Касареса.
2. Асорин (наст. имя Хосе Мартинес Руис, 1873—1967) — испанский писатель.
3. Хулия Пейру — дочь аргентинского военного, политика и писателя Мануэля Хосе Оласкоаги, жена Мануэля Пейру.
4. Маргарита Бунге (1913—1991) — знакомая Борхеса; Борхес посвятил ей миниатюру "Клинок", вошедшую в книгу "Эваристо Каррьего" (1930).

rhymes'[1]". Борхес: "Видения Сведенборга куда лучше". Добавляет, что в стихах Блейка встречаются нелепости, свойственные XVIII веку: розовые пальцы зари и тому подобное.

Среда, 26 июня. Борхес: "Знаешь, кто, оказывается, был педерастом? Марло. В 'Геро и Леандре' героиню он описывает сдержанно, но, перейдя к описанию героя, теряет голову". Бьой: "Я тоже сделал открытие: роман — жанр для гомиков. Когда принимаешься тщательно описывать героя, чувствуешь себя голубым". Марло был гомосексуалистом сверх меры, как, видимо, многие во времена Шекспира. <...>

Четверг, 18 июля. Борхес хотел, чтобы несколько человек, включая меня, под его руководством написали книгу о том, как англичане видели свое прошлое. Шекспир представлял его кельтским. Поскольку Стюарты считали себя потомками короля Артура, республиканцы настаивали на происхождении от саксов: Мильтон не затрагивал тему Круглого стола, а сэр Томас Браун пишет об англосаксонском языке. У Карлейля увлечение саксами достигает апогея. Честертон и Беллок[2] (а до них Мэтью Арнольд?[3]) снова ссылаются на кельтские корни.

Суббота, 20 июля. <...> Сравниваю Лопе и Кеведо. Борхес соглашается, что Лопе писал лучше: "У него есть великолепные сонеты". Утверждает, что у Кеведо можно читать стихотворение за стихотворением и не найти никаких эмоций и задушевности. Гонгора лучше, а Лопе — намного лучше. "Не знаю, как я мог так восхищаться Кеведо", — заключает он.

Борхес: "У Донна есть красивые стихи, но есть и много безобразного. Как надо писать?" Бьой: "Гладко, ровно, гармонично, стараясь установить связь с читателем, не отталкивая его". Борхес: "Так писал Мур[4]. Но посмотри, как скверно он начинал". Бьой: "Эта нелепая манера письма, которой мы грешили в начале, полезна как дисциплина. Она учит избегать промахов. Порой, вероятно, удается найти легкую, без нажима, аллюзию, намек — это дисциплина помогла нам его отыскать. В Библии есть такие фразы: благим намеком они приносят весть. Но написать книгу из таких фраз невозможно". Борхес: "Пожалуй, Стивенсон умеет писать сложными фразами, их сложность незаметна. А

1. Детские стишки (*англ.*).
2. Хилэр Беллок (1870—1953) — английский писатель и публицист.
3. Мэтью Арнольд (1822—1888) — английский поэт, историк, эссеист.
4. Джордж Огастас Мур (1850—1933) — английский (ирландский) прозаик, поэт, драматург.

Честертон? У него все похоже на игру марионеток". Бьой: "Вступаешь в игру и принимаешь ее. Ничто не нарушает стиль".

<...>

О "Фаусте". Борхес: "Странно, в этой книге не чувствуется зло. В 'Макбете' чувствуется. А в 'Фаусте' нет: просто беседуют два господина. Сцена с Маргаритой довольно слаба: танго avant la lettre[1]. Странно, что никому, даже немцам, никогда не приходило в голову поставить 'Фауста'. Возможно, Рест[2] прав: в немецкой литературе нет фантазии".

<...>

Форньелес[3] собирается прочесть лекцию в Библиотеке. До этого он хочет познакомиться с Борхесом и побывать у него. Бьой: "Неужели жизнь не научила его, что этот визит окажется прежде всего неуместным и безрезультатным. Когда я был в Англии, то не пытался познакомиться ни с одним из восхищавших меня писателей. Если нет общего прошлого, в рамках одной специально устроенной встречи трудно говорить и объясняться". Борхес: "Когда объявили, что Честертон приедет в Буэнос-Айрес, я мечтал его не видеть. Предпочитал и дальше знать его по книгам".

Среда, 24 июля. Борхес отмечает слабую сторону "Потерянного рая" — там фантастический мир придуман наполовину: "Данте вообразил его ярко (правда, ад ярче, нежели рай), и читатель следит за ходом книги с интересом, словно читает фантастический роман. Данте поступает подобно Уэллсу; разумеется, Луна окажется не такой, какой ее описывает Уэллс, но пока работает suspension of disbelief[4], принимаешь все как есть, поскольку вымысел построен связно и последовательно". Бьой: "Странное дело. Когда люди слетают на Луну, книга Уэллса несколько утратит свою силу". Борхес: "В предисловии к 'Морскому кладбищу' в переводе Ибарры[5] я писал: если однажды станет известно, что происходит после смерти, половина литературы и философии сделается ненужной".

Суббота, 7 сентября. Отмечаем любопытную вещь: никто не обратил внимания, что ад Шоу и Сартра позаимствован у Сведенборга. Бьой: "Эсхатология Сведенборга значительно

1. Здесь: эрзац (*франц.*).
2. Хайме Рест (1927—1979) — аргентинский переводчик, историк и преподаватель литературы.
3. Сальвадор Форньелес — аргентинский правовед, адвокат, историк.
4. Приостановка неверия (*англ.*) — выражение, введенное С. Т. Кольриджем в его труде "Biographia Literaria", гл. XIV (1817).
5. Нестор Ибарра (1907—1986) — французский переводчик-испанист, "Морское кладбище" — поэма Поля Валери.

лучше, чем католическая. Гораздо правдоподобнее". Борхес: "Намного лучше, чем эсхатология Данте, где есть только воздаяние и кара. Как мог Данте поместить в ад Паоло и Франческу? Они же благородные люди".

1958 год

Понедельник, 31 марта. Борхес не выносит вальсы. "Глупейшая музыка, — заявляет он. — Хуже всего — венские".

Четверг, 1 мая. Борхес: "Когда ко мне приходят молодые писатели, я советую им не спешить с публикациями. Так они уберегут себя от сочинений, за которые потом пришлось бы краснеть". Бьой: "Все же в публикациях есть и хорошая сторона. Излечиваешься от тщеславия. Не придаешь такого значения тому, что пишешь, и тому, что пишут о тебе. Ужаснее всего — писатели, которые ничего не печатают, боясь оказаться недостойными того, что от них ждут". <...> Борхес: "Не нужно стремиться к совершенству каждого абзаца, каждой фразы. Стиль получается неестественный. Не хватает воздуха. Так создаются очень напыщенные книги". Бьой: "Надо смириться с тем, что одни книги получаются лучше других. Как говорил Стендаль, кому-то выпадает билет с выигрышным номером, кому-то — нет".

Пятница, 16 мая. Борхес: "Больше не буду читать лекции. Дело это, похоже, пустое... Я отметил, что топография "Божественной комедии", над которой Данте работал особенно тщательно, с осадой Иерусалима, центром ада, каждым кругом, балконами чистилища и так далее, позволила создать видимость единой конструкции, хотя сама поэма, по сути, состоит из эпизодов. Как работал Данте? 'Значит так, мне нужен пример чревоугодия, помещаю его в соответствующий круг, пишу биографию; теперь пример корыстолюбия, теперь — сладострастия'. По сути — это roman à tiroirs[1]. А что плохого в такой книге? Я его предпочитаю книгам, построенным с помощью сложнейшего сюжета и множества персонажей, которых надо отличать друг от друга. Мне так и не удалось пробиться сквозь 'Братьев Карамазовых'; я все пытался разобрать, о ком речь — о Дмитрии или Алеше? Как ты сумел его прочитать — не понимаю. А вот 'Дон Кихот' — не roman à tiroirs: там череда приключений, подтверждающих то же самое. Это как фильм Чаплина или Лорела и Харди[2]. По всей видимости, он оказался тогда бестселлером, и потому культурные люди не принимали его всерьез.

1. Роман со вставными эпизодами (*франц.*).
2. Лорел и Харди — актеры-комики в голливудском кино 1920—1930-х гг.

Лопе утверждал, что навряд ли отыщется глупец, способный восторгаться Сервантесом. Фраза не означает, что восторженных почитателей не нашлось...”

Суббота, 1 ноября. Борхес: “Недостаток ‘Божественной комедии’ в том, что люди распределяются там по системе воздаяний и наказаний. Понятно, Данте объяснил бы, что это ему потребовалось для создания поэмы; он начал с топографии, но постепенно пришлось довести ее до крайности. Странно, что за это автором восхищаются. В ‘Дон Кихоте’ дело вроде бы обстоит лучше. — И дальше замечает: — Странно: люди считают, что литераторы — лучшие умы. Литература — это забава, полная условностей, и в один прекрасный день она человечеству надоест. Де Квинси отдает Шекспиру первенство в споре лучших умов. <...> Люди уверены, будто литературные творения изобилуют глубокими мыслями. Как ни удивительно, обманываются и сами писатели, а уж они-то должны знать, что все обстоит куда скромней”.

1959 год

Пятница, 17 апреля. Борхес: “Шоу, когда писал об Ибсене, обычно утверждал: ‘Здесь он хочет сказать...’ Кто-то спросил: ‘Откуда вы знаете? Судя по вашим же словам, Ибсен нигде не указывает, что хотел сказать именно это’. Шоу ответил, что он — критик, а задача критика — не повторять сказанное авторами, а раскрывать глубинный смысл написанного”.

Воскресенье, 17 мая. Борхес: “Когда писатель умирает, люди думают, что, проживи он дольше, его творчество получило бы развитие. Это не всегда так. Мне было бы совсем неинтересно читать книги, которые Гуиральдес написал бы, если бы не умер прежде времени. Он писал все помпезнее. Другое дело — Эдгар По... Он столько всего излучает... Стивенсон тоже, несомненно, написал бы множество необыкновенных книг”. Бьой: “Он умер в сорок с небольшим. Насколько его творчество богаче, чем фолкнеровское. Каждая книга Стивенсона уникальна; Фолкнер написал одну-две книги и множество перепевов”. Борхес: “С каждой книгой его недостатки все заметнее”.

Понедельник, 1 июня. Борхес: “Ортега-и-Гассет пишет, что эпика — это жанр, который обращается к прошлым временам и совершенно чужд нашей жизни”[1]. Он хотел сказать — его жизни! Что за убогость воображения. Разве он не видит по-

1. “Дегуманизация искусства” (1925). (*Прим. автора.*)

стоянного присутствия эпического в жизни; как он мог не увидеть его в гражданской войне?!" <...>

Среда, 10 июня. Борхес: "Пастернак мне не интересен. Предпочитаю думать о нем плохо, нежели хорошо".

Пятница, 19 июня. Борхес: "Те, кто спрашивает: 'Что подумают о нас за границей', — очень тщеславные люди. Что ты думаешь о политике Суматры? Как трактуешь последние события на Памире?" И так далее.

Среда, 24 июня. О героях "Илиады": "Они, как аргентинцы, но не из 'Мартина Фьерро', а нынешние, которым для драки надо разозлиться. Сначала они бранятся, потом дерутся. Им неведома краткость, как героям саг; в них есть что-то от итальянцев".

Понедельник, 27 июля. Читаем первые страницы "Лолиты" Набокова. Борхес: "Я бы поостерегся читать эту книгу. Пожалуй, она очень вредна для писателя. Чувствуешь, что писать иначе невозможно. Сразу начинаешь обезьянничать перед читателем, фокусничаешь, достаешь цилиндр и кролика, мельтешишь, как Фреголи[1]".

Воскресенье, 23 августа. Борхес: "Важно, не чтобы читатель верил прочитанному, а чтобы он чувствовал, что писатель верит написанному".

Четверг, 27 августа. Борхес: "Всегда мечтал обзавестись 'Большим Брокгаузом'; это была энциклопедия в двадцати с чем-то томах; сейчас мне попался на глаза 'Большой Брокгауз' в двенадцати томах. Наше время ошибается, считая энциклопедии справочным материалом, а не книгами для чтения. Раньше энциклопедия была целой библиотекой, с историей китайской литературы, историей крестовых походов, биографией Мильтона".

Четверг, 3 сентября. Читаем сонеты Гонгоры. <...> Борхес: "Видишь? Лучшие стихи Кеведо написал Гонгора".

Воскресенье, 13 сентября. Кажется, Неруда утверждал, что важно не стихотворение, а все, что вокруг. Борхес (*пародируя*): "Важен не этот нож, а контекст, астрономия. Неужели

1. Леопольдо Фреголи (1867—1936) — итальянский артист варьете, мастер сценических перевоплощений.

он не боится, что рано или поздно все увидят: это же всего лишь видимость мысли?”

Понедельник, 14 сентября. Борхес: “Кафка мыслил притчами. Наверняка у него не было иных объяснений для своих рассказов, кроме сказанного в тексте; коротко говоря, его тема — отношения человека с непостижимым богом и космосом. Бог из финала книги Иова, Бог, повелевающий Левиафану, — вот бог Кафки, бог совершенно непостижимый... Мой отец говорил, что есть люди, например гаучо, способные мыслить лишь образами, и что знаменитые притчи из Евангелия доказывают: Христос был одним из таких людей. <...>. Он говорил образами, поскольку мог мыслить только образами”.

Воскресенье, 27 сентября. Борхес: “Кафка изобрел совершенно новый вид повествования, но в отличие от всех изобретателей-предшественников умел использовать свое изобретение с необыкновенной расчетливостью и проницательностью, сведя элементы к минимуму. Эта простота композиций — одна из его главных заслуг”. <...> Бьой: “Если сравнить Джойса с Кафкой, Джойс предстает этаким Бретоном или Тцара[1]”. Борхес: “У Джойса есть очень красивые фразы”. Бьой: “Достоинства Джойса — в таланте слова и риторических способностях, которые поднимают его до высот подлинного красноречия; а недостатки в том, что он недалек и не способен выстроить произведение. Кафка — необыкновенное существо (не только как писатель, но и как человек). Сочинения Кафки интересны человеку; сочинения Джойса — стилисту. Джойс — это своего рода Кеведо”.

Понедельник, 28 сентября. Борхес: “По-моему, Китс лучше Шелли: он считал себя невеждой, говорил, что ничего не читал”. Вспоминаем нападки Де Квинси на Китса, его hoofs[2], попирающие язык, любовь Китса к ужасным словам. Китс и Шелли показались современникам столь приторными, что их приняли за педиков. Борхес: “Поколение Кольриджа, Де Квинси и Водсворта лучше поколения Шелли, Китса и Байрона; однако у публики знамениты именно эти последние. Байрон из них менее плох... Нет, у Китса стихи лучше, и он стоит отдельно, намного выше Байрона и Шелли, но Байрон писал в более классической манере. Байрон гораздо выше Шелли: за ‘Дон Жуаном’ ощущается необыкновенная легкость и, может,

1. Тристан Тцара (наст. имя Сами Розенштох, 1896—1963) — румынский, а затем французский поэт-сюрреалист.
2. Лапища (*англ.*).

не столь возвышенная, но необычайная сила; а за многословными, windy, поэмами Шелли — ничего. Удача Шелли в том, что обычные люди, понятия не имеющие о литературе, считают его поэтом. Байрону тоже выпало такое счастье, но его звезда уже закатилась. Суинберн же, будучи намного лучше Шелли и Китса, неизвестен за пределами мира литературы".

Понедельник, 5 октября. <...> Говорим о жизни Аполлония Тианского, описанной Филостратом[1]. Борхес: "Вот думаешь, что книг, подобных 'Тысяче и одной ночи' должно быть много, а их нет. Хорошие книги должны появляться в конце литератур: это дистилляция множества предшествующих книг, многих литератур. Вероятно, понадобилось немало книг о путешествиях, чтобы появился 'Синдбад'".

Понедельник, 12 октября. Борхес: "Вот я писал рассказ о ронинах[2] очень тщательно, а Эмита[3] выловила у меня тридцать три ошибки. Ошибаешься там, где никогда и не подумаешь: герой ложится в постель, но оказывается, что постели нет; измажешь кровью простыню, а простыни, оказывается, тоже не существует".

Четверг, 15 октября. По поводу "Войны и мира" Борхес замечает, что неверно начинать роман большим праздником с большим числом персонажей, которых читатель должен индивидуально распознать: "Зачем Толстой так нагружает читателя, заставляя отождествлять каждого? Есть же замечательный ход: 'Жил некогда человек', — почему им не воспользоваться?"

Воскресенье, 25 октября. Пытаемся читать "Гаргантюа"; не получается. Борхес: "Книга Рабле не для читателей, а для комментаторов. Сначала я старался ее полюбить, а потом понял, что даже спать не хочу с ней в одной комнате. <...> Она — отрицание всего французского".

Воскресенье, 8 ноября. Завтра Борхес читает лекцию о Шиллере: "Очень любопытно узнать, что же я буду говорить. Ничего в голову не идет".

1. Филострат Старший (170—247) — римский писатель, автор, среди прочего, романизированного жизнеописания философа-неопифагорейца Аполлония Тианского.
2. "Неблаговоспитанный мастер церемоний Косукэ-но Сукэ" (1933). (*Прим. автора.*).
3. Эмма Риссо Платеро (1904—1981) — уругвайская писательница и дипломат, близкая знакомая Борхеса; в 1955—1957 гг. находилась в Японии в качестве атташе по культуре уругвайского посольства. (*Прим. автора.*)

Пятница, 13 ноября. Борхес: “Хорошее произведение узнаешь, даже читая в плохом переводе, ведь что-то обязательно остается. Хорошую вещь всегда можно перевести. А непереводимые вещи не так важны: это игрушки, они служат для удовольствия...”

Вторник, 17 ноября. Борхес: “Реализмом называется все жестокое, порочное, эсхатологическое. Господа, в какой реальности вы живете? В моей ничего такого не происходит”.

Вторник, 22 декабря. Борхес рассказывает, что в самые страшные моменты гражданской войны в Мадриде Хемингуэй в шутку написал на двери номера Уолдо Фрэнка[1] “фашист”. Эта шутка могла стоить Фрэнку жизни. Испанский коммунист-писатель, стерший надпись, поведал об этом Борхесу и добавил, что Хемингуэй был скверным типом. Борхес: “Это видно по его книгам. Если он так восхищается злодеями, то наверное и сам злодей”.

Борхес: “Если бы Франция дала миру только Рабле, Леона Блуа и Гюго, она бы славилась гениями; но поскольку там попадались и правильные писатели, считается, что Франция неспособна производить гениев”.

1960 год

Суббота, 2 января. Борхес: “У кого всемирная — и загадочная — слава, так это у Гёте. Он не только великий поэт; он мудрец, своего рода Конфуций или Будда. Французские и английские стихи у Гёте очень плохие. В Гёте было что-то провинциальное. Une sorte de Voltaire sans esprit[2], хотя характер у него тоже не подарок... Наверняка в его личности было что-то очень мощное, не дошедшее до книг: все, знавшие его, считали его гением”.

<...>

Борхес вспоминает, что Гейне высоко ценил блистательные фразы Гёте, в которых, словно в парадной карете с эскортом, следовал единственный персонаж — одна-единственная идея. Цитирует фразу Гейне: “Я умолял Бога превратить меня в греческое божество, и вот умираю старым евреем”.

Среда, 6 апреля. Борхес: “Нужно писать книги, и отговорки тут неуместны. Бессмысленно говорить, что вот, мол, то по-

1. Уолдо Фрэнк (1889–1967) — американский писатель; коммунист.
2. Нечто вроде Вольтера без его острого ума (*франц.*).

мешало или это. Пиши то, что должен писать. Это единственный долг; долг, от которого отговорками не отделаешься".

Четверг, 7 апреля. Говорим о "Shadow line"[1]. Борхес: "Начало выглядит абсолютно естественно. Фразы у Конрада четкие, ясные, он сразу устанавливает с читателем доверительные отношения. Такой способ входить в тему кажется менее оригинальным, чем у Генри Джеймса или Фолкнера. Возможно, такая естественность вредит Конраду: в конечном счете, это не его личная манера, не он ее придумал, это то, что делают все, но доведенное до совершенства. А у Джеймса или Фолкнера есть собственная манера, которую не спутаешь с другой, это их личное изобретение, чем и кормятся критики".

Понедельник, 2 мая. Борхес о человеческом безумии: "Критики считают, будто экспериментальную литературу создает Маринетти, а не Конрад".

Четверг, 12 мая. Борхес, прочитав предисловие Сэмюэла Джонсона к "Словарю": "Замечательная вещь. Как Джонсон сознавал, что все приходит в забвение, как видел себя безумцем! Надо видеть себя безумцем. Жизнь каждого, каждый день нашей жизни гораздо необычнее, чем 'Одиссея'. Это такая узенькая дорожка, составленная из повторов памяти... До работы над 'Словарем' Джонсон мечтал о чудесных удовольствиях, которые его ожидают, когда он припадет к источникам мудрости... Затем, когда это стало реальностью, труд обернулся для него бременем — искать цитаты из классиков, находившихся под рукой..."

Воскресенье, 15 мая. Борхес говорит об этимологиях: "Любопытно: в слове 'grammatical' тот же корень, что и в 'glamorous'. Грамматика и мага не различали".

Суббота, 2 июля. Борхес: "<...> Возможно, поэты или писатели, выбранные странами, чтобы их представлять, не похожи на то, какими мы видим людей этой страны. Гёте был нечувствителен к музыке и неспособен к абстрактному мышлению: он заявлял, что чтение Канта ничего ему не дало. <...> Шекспир с его безответственным витийством смахивает на двуликого итальянского еврея, но никак не похож на англичанина. Никакой understatement [сдержанности], никакой английской страстной любви к морю: он был бы теперь перо-

1. "Теневая черта" (*англ.*) — роман Джозефа Конрада (1917).

нистом[1]. Сервантес похож на испанца меньше, чем мрачный, фанатичный Кеведо. Данте не соответствует привычному образу итальянца. Кто самый что ни на есть англичанин? Сэмюэл Батлер, Джонсон, Вордсворт, пожалуй. Люди считают слабостью французов отсутствие писателя, стоящего выше прочих, этакого Шекспира, Данте, Сервантеса. А французы просто не захотели выделять такого, посчитали, пусть их будет много. Захоти они кого-то выбрать, затруднений бы не было".

Воскресенье, 3 июля. Борхес: "Все восхищаются Теннесси Уильямсом, Сарояном, этим кретином Беккетом с его 'En attendant Godot' ['В ожидании Годо']. Как ни странно, Шоу прошел почти незамеченным для всех, кроме разве что швейцарца Дюрренматта".

Суббота, 9 июля. Борхес: "Механизм 'Тысячи и одной ночи' построен на заблуждении. Никто не желает слушать сказки. Султан не хотел, чтобы Шахерезада рассказывала ему сказки; наверняка он сам ей их рассказывал".

Среда, 17 августа. Борхес: "Думаю, это недостаток, а может, и достоинство, такое трудно определить с ходу, — привычка Сервантеса показывать нам, как окружающие расхваливают все, что делают или говорят Дон Кихот и Санчо. Этот метод применяется в кино: как только появляется главный актер, играя на чем-нибудь или исполняя песню, все остальные замирают, слушают, а затем аплодируют. Поскольку все персонажи созданы автором, выходит, что аплодисменты адресованы самому себе. Дон Кихот и Санчо выступают на протяжении всей книги как *звезды*".

Понедельник, 22 августа. Борхес: "С каждым годом спишь все меньше. Как это грустно. — Затем добавляет: — Человек, страдающий бессонницей, чувствует себя виноватым и противен всем остальным".

Суббота, 27 августа. Борхес замечает (*читая заглавие*): "'Университетская культура' — оксюморон".

Понедельник, 29 августа. Борхес говорит, что музыка Стравинского необыкновенна (в смысле — *превосходна*), она звучит так странно, как джаз, так весело. "Но Стравинскому об

1. Хуан Доминго Перон (1895–1974) — аргентинский военный, авторитарный политик популистского толка.

этом лучше не говорить, — добавляет он. — Скорее, его музыка выражает всю печаль современного мира".

Пятница, 16 сентября. Борхес говорит, что еще Маседонио Фернандес заметил: множество повседневных действий не остается в памяти. Например, процесс одевания: "По словам Маседонио, единственным подтверждением того, что мы одевались, является факт, что мы одеты".

Пятница, 25 ноября. Говорим о "Золотом осле", которого я читаю в переводе Грейвса[1]. Борхес: "Столько всего вышло из этой книги... Из нее родился фантастический роман, плутовской роман".

Понедельник, 28 ноября. Борхес: "Чтобы воспевать море, не нужно никаких специальных знаний, не требуется разбираться в кораблях и мореплавании, как Киплинг, или в ихтиологии. Поэту даже не надо лезть в море, а то еще утонет".

Среда, 7 декабря. Борхес: "Художники не говорят уничижительно: 'Это чистая живопись', равно как и скульпторы с архитекторами: 'Это чистая скульптура или чистая архитектура'. А вот писатели заявляют: 'Это все чистая литература' или 'Все остальное — литература...'"[2]

1961 год

Воскресенье, 1 января. Бьой: "Сантаяна говорит, что 'happiness is the only sanction of life'[3]". Борхес: "Лучше достойная печаль, чем идиотская радость".

Вторник, 13 июня. Борхес: "Маседонио сказал одному зануде: 'Если вы ждете трамвай, не обязательно ждать его у меня дома'".

Суббота, 15 июля. Борхес дарит мне экземпляр "Новой английской Библии"[4]. <...> Читаю ему в Четвероевангелии эпизоды с Пилатом и распятием. Борхес: "Я уверен, что все это прав-

1. Роберт Грейвс (1895—1985) — английский поэт, прозаик, исследователь мировой мифологии, переводчик.
2. "Et tout le reste est litterature" (*франц.*) [Verlaine. Art Poetique. // Jadis et Naguere (1884)]. (*Прим. автора.*)
3. "Счастье — единственное оправдание жизни" (*англ.*) — "Little Essays" (1920) американского философа и писателя Джорджа Сантаяны (1863—1952).
4. Перевод Библии на современный английский язык, Новый Завет вышел в 1961 г., Ветхий — в 1970-м.

да. Я не про чудеса, разумеется... Но кто мог бы такое придумать? Не какой-то невежественный ученик. Какой романист мог бы написать лучше разговор Христа и Пилата, иудея и римлянина? Каждый обретается в своем мире, говорит в cross-purposes[1], и никто не прибегает к костюмированным глупостям, к дотошным выдумкам в стиле Вальтера Скотта или Флобера. Различие дано изнутри. А что может быть лучше сна жены Пилата, умывания рук, доброго разбойника, 'Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?'? При чтении эти эпизоды снова и снова берут за живое; они волнуют в любой редакции".

Четверг, 27 июля. Борхес говорит, что великим открытием Гитлера, великим открытием политиков, вопреки тому что пытался доказать Достоевский, стало то, что у людей нет частной жизни: "У людей нет возлюбленных, они не садятся за книгу, не хотят выкроить часок, чтобы поспать после обеда, но они всегда готовы к церемониям, массовым актам, парадам и проч.".

Четверг, 3 августа. Бьой: "Раньше я не решался выбрасывать книги с дарственными надписями, но ясно же, что нельзя без конца забивать дом ненужными вещами". Борхес: "Надо вырывать страничку с посвящением". Бьой: "Ах, черт! Рука как-то не поднималась. А потом они появляются в книжных лавках, и люди думают, что ты их продал". Борхес: "Или возвращаются к тебе домой. Как-то утром я выкинул целую кучу в металлическую корзину в подземке, а после обеда очень застенчивый и очень бедный паренек явился ко мне домой с этими книгами. Я дал ему пять песо и поблагодарил, но не отважился попросить, чтобы он унес их снова".

Пятница, 1 сентября. Борхес: "Ни один писатель не застрахован от написания плохих книг. Зачастую весь секрет в интонации: если удается подыскать подходящую интонацию, роман или рассказ получаются хорошие, даже если сюжет не ахти. И напротив, неверная интонация может загубить самый лучший сюжет. 'Персилес и Сихизмунда'[2] — книга, обреченная с первой фразы, она очень плохо начинается. А вот 'Дон Кихот' начинается хорошо: 'В некоем селе Ламанчском...' и т. д. Сервантесу явно нравились авантюрные книги. Подобно Дон Кихоту, он готов был провести жизнь за чтени-

1. Не понимая друг друга (*англ.*).
2. "Странствия Персилеса и Сихизмунды" (1617) — роман Сервантеса.

ем рыцарских романов. Но прислушался к голосу разума и осудил их в 'Дон Кихоте', а затем уже со спокойной совестью поддался искушению и занялся тем, что ему действительно нравилось: написал 'Персилеса'".

Четверг, 7 сентября. Борхес: "Как человек Лорка показался мне очень неприятным. Как поэт..."

Пятница, 3 ноября. Согласно письму Борхеса, на углу евангелистской церкви Остина написано: "No fire like passion; no shark like greed"[1].

1962 год

Пятница, 6 апреля. Говорим об американском сленге. Борхес отмечает: "Изначально (к 1870 году) 'jazz' означал половой акт, или глагол 'совокупляться': 'he jazzed her'; затем суматошное движение, и, наконец, — музыку".

Четверг, 12 апреля. Борхес: "'Кантос' Эзры Паунда начинаются переводом трех или четырех страниц песни одиннадцатой 'Одиссеи'. Какого эффекта он добивается? Ироничного?"

Среда, 23 мая. Борхес: "По мнению Шопенгауэра, есть три категории писателей. Худшие — кто никогда не думает; затем те, кто думает, когда пишет, и, наконец, те, кто думает, прежде чем написать. Шопенгауэр считает, что последние лучше всех. В отношении философских очерков он прав, но в рассказах и в поэзии лучше, если писатель думает по ходу дела, а не пишет под диктовку памяти. Хотя стихи Честертона великолепны, они страдают этим недостатком. При всех удачных пассажах видно, что Честертон следует заранее придуманной схеме".

Четверг, 24 мая. Борхес: "В 'Святилище' стиль Фолкнера больше соответствует сюжету, чем в других книгах. Фолкнер — единственный хороший шекспировский писатель нашего времени, в смысле напряженности и великолепной, выразительной фразы". Бьой: "А Конрад?" Борхес: "Нет, у Конрада много 'fine writing'[2], но нет шекспировской напряженности, подобной растущему приливу. Сам я предпочитаю Конрада, думаю, Конрад выше как писатель, но, если бы шек-

1. "Сильнее страсти нет огня, и нет акул страшней корысти" (*англ.*).
2. Тонкостей стиля (*англ.*).

спировский характер считался высшим литературным достоинством, Фолкнер стал бы величайшим писателем наших дней". Ищем еще. Борхес: "Может, Гюго". Бьой: "Отдельные абзацы Джойса, хотя там всегда есть некий ироничный фон, снижающий напряженность". Борхес: "Наверняка Джойс повлиял на Фолкнера". Бьой: "Я мало знаю Д'Аннунцио". Борхес: "Д'Аннунцио скорее напоминает Ларрету[1] или худшее из Уайльда. Чтобы казаться утонченным, он увлекается сложностями и красивыми штучками". Бьой: "Этим грешит Гюисманс, в 'Наоборот'. Пожалуй, еще Баррес[2]". Борхес: "А как с напряженностью у Барбюса?" Соглашаемся с Джорджем Муром в том, что нелегко писать во весь голос и удачно.

Четверг, 31 мая. Борхес: "Стране ни к чему тратить огромные суммы на культуру". Бьой: "Раз надо тратить на все остальное, то они считают, что, если не тратить и на культуру, — значит ее недооценивать". Борхес: "Может, книги, школы, даже университеты — это органы культуры, но я убежден, что от лекций, конгрессов, грантов мало толку. Если человеку интересна тема, вы не помешаете ему говорить о ней. Я прочитал множество лекций безвозмездно. Не думаю, что они были хуже платных".

Четверг, 14 июня. Борхес: "Недостаток Мильтона в том, что он пишет о первозданном мире, о творении языком, перегруженным более поздними понятиями человека XVII века, который знаком с Грецией, Римом, Израилем и начатками наук. Шекспир тоже об этом не заботился, но для него это не так важно".

Четверг, 21 июня. Борхес говорит: "Слава Шекспира поражает. В конце концов, кажется невероятным, что он нравится такому количеству людей, не очень чутких к слову. Своего рода гонгоризм. Он, видимо, не считал себя писателем. Писал потому, что были под рукой актеры и театр и возможность зарабатывать деньги".

Борхес: "Мы, писатели, сначала воюем с традицией и классиками, а затем, вкупе с нашей войной, становимся частью традиции. Поэтому позднее мы несколько примиряемся с ситуацией. Теперь молодые писатели это обнаружили,

1. Энрике Ларрета (1875–1961) — аргентинский писатель, дипломат, общественный деятель.
2. Морис Баррес (1862–1923) — французский романист.

они пишут и действуют с оглядкой на историю литературы. А поскольку все подражают Франции, в изобилии возникают литературные движения, авторы распределяются по поколениям и так далее".

Пятница, 10 августа. Борхес говорит об умершем вчера Германе Гессе: "В 'Паломничестве в страну Востока', в 'Игре в бисер', возможно, и найдется какая-нибудь любопытная идея, но исполнение неудовлетворительное. 'Степной волк' написан коекак. Эти вещи Гессе или Чарльза Моргана[1], намеренно напоминающие XVIII век, дарят читателям надежду, что им наконец попадется великая книга, та самая великая книга... В литературе рано или поздно срывают маску с любого. Придет время, когда фальшь Германа Гессе и Чарльза Моргана откроется. Гессе нравилась 'педагогическая провинция', о которой писал Гёте[2]. Писатель, не замечающий, что слово 'педагогическая' обдает ушатом холодной воды, видимо, не отличается слухом..."

Вторник, 9 октября. Борхес: "Мадарьяга[3] говорил, что коммунистические диктатуры наших дней хуже инквизиции, поскольку последняя позволяла творить великим сатирикам, таким как Кеведо. Вообще-то Кеведо — сатирик весьма странный. Он особо не рисковал: в Испании высмеивал французов, королей Англии... Держался safe side[4]. Он хоть раз высказался против королей Испании, против католической религии? Высмеивать толстяков, рогоносцев, портных, лекарей — значит не высмеивать никого".

Воскресенье, 14 октября. Борхес: "Как мог такой человек, как Джойс, с его даром слова, не понять, что ему противопоказано писать романы. Поскорее бы прошла слава Джойса, ведь это просто беда: она оболванивает писателей и даже толкает их к прискорбному подражательству. Часто я не могу вести разговор из-за похвал, расточаемых собеседниками в адрес 'Улисса' и 'Финнегана', и особенно из-за их спокойной уверенности в том, что я разделяю их энтузиазм..."

Борхес: "Утверждение французских романистов Роб-Грийе и Бютора о моем влиянии на них не имеет смысла. Как я мог оказать влияние на эти длиннющие книги?"

1. Чарльз Морган (1894—1958) — английский романист и драматург.
2. "Годы странствий Вильгельма Мейстера" (1821), II. (*Прим. автора.*)
3. Сальвадор де Мадарьяга (1886—1978) — испанский писатель и дипломат.
4. Безопасная сторона (*англ.*).

Воскресенье, 4 ноября. Борхес: “Коммунизм предлагает ад и сулит рай. Капитализм уверяет, что, дабы не скатиться в коммунистический ад, нужно по-прежнему вести всегдашнюю суровую жизнь. Люди, естественно, предпочитают коммунизм”.

Пятница, 30 ноября. Борхес: “Идея Империи — чисто латинская: римляне, испанцы, Наполеон создавали империи. Германцы, напротив, так ее и не поняли: викинги могли стать властителями мира, но предпочитали освобождать завоеванные города и требовать выкуп, за что их и ненавидели. Англичане владели своей огромной империей не без стыдливости. Киплинга, посвятившего жизнь прославлению имперской идеи, покарали незаслуженным забвением. С истовостью неофитов немцы усвоили идею Империи, но не сумели воплотить ее в жизнь: их ненавидели всюду, где бы они ни оказались. Теперь у американцев есть все для утверждения империи, но они старательно ее отвергают и насаждают торговый империализм, который всем опротивел, так как никто его не понимает (все понимают лишь силу оружия)”.

1963 год

Среда, 5 июня. Борхес: “Лучший Лорка — тот, что пишет андалузские и цыганские поэмы. Когда он возомнил, что может писать все что угодно, когда он написал верлибром ‘Поэта в Нью-Йорке’, получились ужасные стихи”. <...>

Читаем стихи Неруды и Паса. Пасовские, пусть порой неказистые и не без глупостей, явно лучше. Борхес: “В ‘Оде Лорке’ Неруда в конце говорит о своей тоске мужественного мужчины[1]. Он пишет о нежном цветке и боится, что его заподозрят: вот ведь беда. Несравненно лучше стихотворение Мачадо на смерть Лорки[2]: тут чувствуется настоящее вдохновение”.

Воскресенье, 9 июня. Беседуем о По. Борхес: “Самое трудное в литературе — это роскошь. Всякое золото на письме становится жестью; всякое сокровище — хламом. По потерпел крах, Гюисманс тоже...”

Понедельник, 10 июня. Борхес говорит, что малые народы обречены впадать в национализм. Бьой: “Конечно, аргентин-

1. “Такова она, жизнь, Федерико, и это дары, / которые может тебе предложить моя дружба, дружба мужчины мужественного и печального”. “Ода Федерико Гарсиа Лорке”. Перевод В. Столбова. В кн.: “Местожительство — Земля, II часть” (1931—1935). (*Прим. автора.*)
2. “Преступление было в Гранаде” (1937). (*Прим. автора.*)

цы не были националистами, пока собирались стать великой нацией. А теперь мы нация второго порядка, и у нас полно националистов". Борхес: "Да, мы утратили надежду стать великой нацией. Шотландцы и ирландцы — националисты; англичане — нет. Все евреи — националисты".

Воскресенье, 14 июля. Борхес: "Странная у нас ситуация: пишем на языке, нам неприятном; наш стиль складывается из пропусков; мы избегаем слов, которые нам противны. А потом какой-нибудь испанец с удивлением отмечает скудость нашего словаря. Только для писателя, который не чувствует себя в языке, как дома, подобно Конраду, стиль — это инструмент". "На днях, в статье 'Times Literary Supplement' о Кафке я прочитал, что ситуация чешских евреев, писавших на немецком языке, была похожа на нашу; даже для Гейне (то есть и для немецких евреев) ситуация была более-менее сходной".

Суббота, 17 августа. Борхес: "О дружбе, одной из лучших тем в литературе, уже нельзя писать, так как она внушает мысль о педерастии. Что за гнусные люди... Все опошлят".

Вторник, 24 сентября. Спрашиваю, правда ли, что ему больше нравится писать рассказы, а не эссе. Борхес: "Да, если только не привносишь в эссе что-то от рассказа".

Суббота, 28 сентября. У нас дома обедают Борхес и Пейру. Сильвина при поддержке Пейру доказывает, что писателям надо лучше платить. Борхес так не считает: "Литературы в мире и так достаточно. Зачем поощрять избыток? Людям нужно больше еды, одежды, мебели, а не стихов. Хорошее вознаграждение поощряет плохую литературу. Я поддерживаю мнение иудеев о том, что человеку необходимо занятие — плотника, кузнеца, какое угодно, а если у вас к тому же есть что сказать — пишите".

Затем говорим об ангажированной литературе. Я замечаю, что вечно забываю смысл этого словосочетания, и подозреваю, что должен держаться подальше от постоянного соблазна — путать его с тем, что практикуется в России. Борхес: "Нет. Ангажированная литература подразумевает свободу автора, свободу неизменно защищать конкретную политическую партию, религию. Однако в России царит полная свобода, чтобы примкнуть к одному лагерю, но никак не к другому. Никто не создает ангажированную литературу в пользу плутократии. Разве что в пользу католицизма... Будь я христианином, стал бы протестантом. Не приверженцем

Church of England, нет: пресвитерианцем, Church of Scotland, это церковь без епископов, вполне абстрактная".

Четверг, 3 октября. Борхес: "Я сегодня узнал об Оксфорде кое-что, оправдывающее англофильство. Не знаю уж, в каком College есть War Memorial, мраморная доска с именами студентов, павших на войне. Так вот, поскольку среди них были немцы, которые погибли, сражаясь против Англии, их имена записаны там, напротив остальных: они ведь студенты колледжа, которые погибли на войне, сражаясь за свою родину. Не думаю, чтобы немцы сделали подобное. Помнишь? Гитлер стер имена евреев, которые погибли в Первую мировую, сражаясь за Германию. Да и французы так бы не поступили. Ну а про нас и говорить нечего".

Среда, 23 октября. Продолжаем работать с Борхесом над рассказом о Бонавене. Я замечаю, что, когда грустишь, пишется лучше. Борхес: "Пожалуй, просто человек больше заряжен. В конце концов, тихое счастье несколько тривиально". Бьой: "Когда ты счастлив, уступаешь лени. В грусти не так; ты ищешь прибежища в работе, не хочешь из работы выходить". Борхес: "Об этом пишет Киплинг. Работа спасает тебя вопреки тебе самому".

Вторник, 31 декабря. Борхес: "Если любовь не приносит счастья, она ни в коем случае не должна становиться источником несчастья".

1964 год

Вторник, 18 февраля. В Мар-дель-Плата. В половине седьмого утра приезжают Борхес и Мария Эстер Васкес[1]. Мы с Борхесом немного прогуливаемся по округе. Он говорит: "Кажется, дело обстоит очень хорошо. Если все так пойдет и дальше, мы поженимся в этом году. Знаешь, у меня было немало проблем. В общем, я себе всякое воображал. Все это исчезло. Я мог бы жить нормально".

Слушаем диски с джазом. Борхес замечает: "Странный они народ, американцы. В других странах поют об обычных ситуациях. У них не так. Точно неизвестно, о чем поется, да и музыка вроде не соответствует словам. Под веселую музыку человек говорит о самых грустных вещах... о грустном гово-

1. Мария Эстер Васкес (р. 1937) — аргентинская писательница, друг и соавтор Борхеса, автор нескольких книг о нем.

рится застенчиво. И надо же, они придумывают миллион сочетаний звуков, манер пения, новых стилей... Одни не похожи на другие. Может, мы зря занимаемся писательством? Единственная стоящая вещь — это музыка".

Четверг, 16 апреля. Борхес: "Как мог выглядеть диалог с Вергилием? Найти с ним общий язык оказалось бы непросто, ведь он считал бы само собой разумеющимися столько аллюзий, для тебя непонятных. Тоже с Гомером или Гесиодом. Да и с самим Шекспиром. С писателями XVIII века, напротив, проблем не было бы. Хосе Эрнандес показался бы нам испанским сеньором? Не думаю. Скорее Сан-Мартин[1]. Мы сами говорим иначе, чем тридцать лет назад".

Пятница, 10 июля. Бьой: "Для аргентинца писать — значит бежать от одного слова к другому. Мы вынуждены прибегать к синонимам, и стиль получается нарочитым". Борхес: "А Гонгора и Кеведо — разве не так писали? Разве они тоже не бежали? Разве они не укрывались в латинских словах? Возможно, всякий литературный язык, всякий литературный стиль таков. Испанцы пишут с бóльшим комфортом. Более непринужденно. Они чувствуют себя в языке свободно".

Среда, 16 декабря. Читаю Борхесу копию протокола суда над Иосифом Бродским, поэтом-переводчиком, осужденным за тунеядство в Ленинграде: мол, мало работал и недостаточно зарабатывал. Борхес: "Обвиняемый тоже вносит свою долю кафкианства: он похож на обвинителей, сам погружен в этот мир. Понятно, не будь этого, его бы просто убили". Бьой: "Судья ведет себя как прокурор. Конечно, там судья не может держаться беспристрастно: это было бы подозрительно". <...> Замечаю: "Когда его в чем-то обвиняют, а он ссылается на пример известного писателя, на него нападают за то, что он посмел сравнивать себя с великими. Даже не знаешь, как несчастному отбиваться".

Вторник, 22 декабря. Борхес: "Похоже, власти Восточного Берлина подражают Кубе. В Берлине, как и на Кубе, дети из буржуазных семей не могут учиться дальше средней школы; а дети рабочих, напротив, обучаются в университетах. Вот неразумные: не понимают, что так они сохраняют деление на классы, классовые различия. Завтрашние буржуа будут хва-

1. Хосе де Сан-Мартин (1778—1850) — национальный герой Аргентины.

статься праправнуком-попрошайкой. Я полагал, коммунисты гордятся тем, что обеспечивают равноправие для всех людей. [Мой племянник] Луис говорил, что ни одно правительство не думает о завтрашнем дне, они озабочены лишь сиюминутным эффектом своих действий". Бьой: "Эти люди не думают о будущем, они его лепят, но посмотрите — как! Люди считают, что нельзя воздействовать на развитие общества декретами. Это неправда". Борхес: "Меня всегда поражало, что в русских фильмах бедняки показаны красивыми, смелыми, умными, а богачи — подонками. Я полагал, что они считают бедность бедой; похоже, что нет: это лучшее состояние для человека. Но люди так не думают".

1965 год

Вторник, 11 мая. Борхес: "<...> Сервантес постоянно изобретал сложные, трудоемкие бессмыслицы. Пасторальные новеллки, вставленные в 'Дон Кихота', доказывают, что Сервантес не верил в свой роман. Или что ему надоели Дон Кихот и Санчо. Его увлекал другой вид повествования, более сложный и абсурдный. Видимо, ему занятнее было писать 'Персилеса', а не 'Дон Кихота'. В Перу мне сказали: 'Есть испанские писатели, но нет испанской литературы'. Думаю, это правда: в Испании хорошие книги не дали потомства. Какая школа родилась из 'Дон Кихота'? Он оказался бесплодным. Этаким мулом".

Понедельник, 19 июля. Борхес говорит, что, когда в Колумбии его попросили дать совет молодежи, готовящейся взяться за литературный труд, он порекомендовал: "Читать только то, что нравится. В рамках того, что нравится, отдавать предпочтение классическим авторам или, по меньшей мере, тем, кто писал в иные эпохи. Избегать испанских классиков. Читать переводы: возможно, они плохи по части стиля, но, вполне вероятно, хороши по части мысли. В переводах читателю важно знать, кем восторгаться. Если перевод в стихах, не исключено, что человек думает, будто восхищается Пиндаром, а на деле он восхищается Родольфо Пугой[1]. Поэтому лучше переводить прозой".

Пятница, 30 июля. Маргарита Бунге сказала Борхесу: "Неруда смалодушничал. Зная, что ты приедешь в Чили, он уехал в деревню, чтобы не встречаться с тобой". Борхес: "Поступив

1. Родольфо Пуга — аргентинский журналист.

так, он повел себя по-джентльменски. Он коммунист и знает, что я антикоммунист; оба мы претендуем на Нобелевскую премию. Его обязательно спросят о моей кандидатуре: выступать с нападками на нее — грубо, приветствовать — неискренне. Вероятнее всего, каждый попытается топить другого с помощью dump praise[1]. (*Пауза.*) Однако не думаю, что именно мой приезд заставил его отправиться в деревню. Наверняка возникло что-то другое, не имевшее ни малейшей связи со мной".

Вторник, 19 октября. Борхес: "Думаю, нет никого выше Данте. Шекспир, по-моему, несколько безответствен, чтобы возносить его на такую высоту. Не думаю, чтобы он был способен выстроить нечто подобное 'Божественной комедии'. Он был наделен красноречием, достоинствами, но их достаточно и у Данте". Сильвина: "А сонеты? Они прекрасны, хотя тебе и не нравятся". Борхес: "И у Данте они неплохие. У Шекспира тема сонетов очень уж странная..." <...> Бьой: "Ты ставишь 'Божественную комедию' превыше всего?" Борхес: "В литературном плане выше нее только Евангелия. Пожалуй, Гомер — великий писатель, но он несравним с Данте и авторами Евангелий. Есть хоть один по-настоящему эпический момент во всей 'Илиаде'? По-моему, нет". <...> Я ему говорю, что из Плутарха и Монтеня выбираю Плутарха; по-моему, он богаче и увлекательнее. Борхес соглашается.

Понедельник, 1 ноября. Борхес говорит, что немцы ненавидят евреев, поскольку узнают в них собственные недостатки: "Они очень похожи. Раболепны, но при этом деспотичны, если чувствуют себя хозяевами положения. И потом, еще бы им не беситься, раз евреи умнее".

1967 год

Вторник, 3 января. Борхес: "История — вещь настолько загадочная, что задаешься вопросом: а не лучше было бы, если бы войну выиграли немцы? Они поделили бы мир, как того хотели, между Германией и Англией. Коммунизма не было бы. Да и нацизма тоже: после победы нацизм прошел бы, как болезнь". Бьой: "Сомневаюсь. И не верю в долговечность этого идиллического раздела". Борхес: "Я тоже. Но как изумились бы те, кто мечтал о коммунизме как о благородном учении, как о рациональном порядке, когда им показали бы

1. Убийственные славословия (*англ.*).

диктаторов, тайную полицию, концлагеря". Бьой: "Авторы идеи фаланстеров". Борхес: "Фурье, Оуэн".

Понедельник, 15 мая. Борхес говорит, что вначале он был сторонником русской революции и что русские фильмы о революции заронили в нем первые сомнения. Борхес: "В них совершенно отсутствовало великодушие по отношению к побежденным. Сквозила жуткая низость... Честертон утверждает, что объявлять о полной победе невозможно; во всякой победе должно быть некое поражение". Говорим об "Александре Невском". Борхес: "Он так тебя и не воодушевил?" Бьой: "Ни капли". Борхес: "Ибарра говорил, что он похож на отечественные фильмы. Ну а атака псов-рыцарей?" Бьой: "Атака еще куда ни шло, но сама битва — просто катастрофа. Удары постановочные, как в театре, с деревянными или картонными мечами, и еще угадывались отверстия в спинах лошадей, чтобы рыцарь пролезал и ходил своими ногами. А что ты скажешь о буржуях-купцах и их алчных взглядах?" Борхес: "Было сказано, что фильм должны понимать неграмотные мужики". Бьой: "И это шедевр? Нет. Это фильм для неграмотных мужиков. К тому же битва и фильм не реалистичны, так как халтурны. Они стремились к реализму и потерпели неудачу". Борхес: "Хуже всего оказался 'Броненосец Потемкин'".

Воскресенье, 11 июня. Говорим о войне между арабами и израильтянами. Борхес отмечает, что все стихийно становятся на сторону варварства, против цивилизации: "Что за мерзость. Они очарованы подлостью. Вспыхни война между швейцарцами и саамами, все стали бы на сторону саамов. В войне между варварской страной и цивилизованной, даже если правота на стороне варваров, следует желать победы цивилизованной нации для блага всего мира. Это просто удача, что испанцы, англичане и французы завоевали Америку, а не краснокожие и индейцы из пампасов захватили Европу. В этой войне между арабами и евреями все перонисты и коммунисты, руководствуясь безошибочным чутьем, выбрали худшую сторону, сторону зловещую. Разумеется, нынешние арабы — это совсем не те, что возводили Альгамбру. Да и египтяне — вовсе не египтяне времен фараонов и пирамид: это кочевники, одолевшие египтян; люди Омара, которые сожгли Библиотеку и снесли бы пирамиды, будь им это под силу. Это все равно что жильцов, сменявших друг друга в одном доме, называть одинаково".

Пятница, 28 июля. Составляем списки любимых — не обязательно замечательных — писателей, и сходимся на Джонсоне,

Де Квинси, Стивенсоне, Гейне, фра Луисе де Леоне, Эса де Кейроше[1]. Когда я называю Кафку и Пруста, Борхес не отрицает и не утверждает. Добавляет Монтеня (я соглашаюсь) и спрашивает, не слишком ли тщеславен вариант Уайльда. Бьой: "Пока его не знаешь, любишь; не уверен, останется ли он столь любимым, когда его узнаешь". О Джонсоне, Де Квинси, Стивенсоне Борхес замечает: "К тому же они были хорошими людьми".

Воскресенье, 30 июля. Борхес отмечает, что слова "perdonare", "perdonar", "pardonner", "forgive" и даже соответствующие слова в немецком и англосаксонском языках несут в себе идею дара, дарения: "Идея прощения пришла к германцам из Рима. У них было понятие кары и мщения, но не прощения. Это сложное понятие. Даже теперь многие употребляют слово, не понимая его". Добавляет, что слова "sad" (печальный) и "satis" (сытый, довольный) изначально значили одно и то же.

1968 год

Понедельник, 1 июля. Борхес рассказывает, что в "Насьон" ему предложили написать автобиографию. Он признает, что это позволит навести некоторый порядок и отмести предвзятые суждения. Он сможет раскритиковать ультраизм, креольские выходки. Бьой: "А заодно и лабиринты с зеркалами. Все, что несущественно". Борхес: "Надо быть осторожнее и не писать автобиографию, подобно Честертону[2], с обилием символов и иносказаний. Его биографии, написанные Мейзи Уорд[3], намного лучше". Бьой: "Тебе также не следует писать автобиографию подобно Киплингу, превосходную, но оставляющую многое за скобками. Киплинг был очень скрытным. Ты не такой. Ты нескромен, и нескромности выходят у тебя неплохо. Напиши ты книгу, подобно Киплингу, получится игра в Киплинга, и ты не будешь самим собой". Борхес: "Я постоянно перечитываю 'Кое-что о себе'; кажется, даже помню целые абзацы наизусть".

Вторник, 9 июля. Борхес от души потешается над оратором, которого услышал на съезде писателей в Сантьяго [де Чили]; тот, расхваливая советскую молодежь, заявил, что ее кумирами являются Че Гевара и Евтушенко: "Удивительные, оригиналь-

1. Жозе Мария Эса де Кейрош (1845–1900) – португальский писатель.
2. "Автобиография" (1936). (*Прим. автора.*)
3. "G. K. Chesterton" (1944) и "Return to Chesterton" ("Возвращение к Честертону", 1952). Мейзи Уорд (1889–1975) – английская писательница. (*Прим. автора.*)

нейшие люди: восхищаются оплаченным ими же человеком, который убивает и грабит для расширения советской империи, и поэтом, которого помнят за стихи, подобные 'Бабьему Яру', где тот отважно называет еврея *братом*. Отлично, что он так поступает, но что это за молодежь, если она выбирает такого поэта из всех?" <...>

Борхес: "Я знаю, имеются сомнения относительно существования 'я', но никто не сомневается в том, что существование общества еще более сомнительно".

Суббота, 5 октября. Борхес замечает: "Диктатуры пользуются тем, что никто не любит признавать свой страх. Действительно, обделавшись со страху, ты изображаешь энтузиазм, пылкое участие в общем великом деле. Потом скажешь, что заблуждался, это вроде не так стыдно... Fooling who?[1]"

Борхес: "В этой стране мы уже двести лет силимся пристойно пожарить мясо, а все получается как подошва. Пора бы кончить с этой показухой".

Четверг, 17 октября. Борхес говорит: "Суинберн извлекает из языка все, что тот способен дать". Составляем список авторов, обладающих этим качеством: Мередит, Теннисон, Шекспир, Гюго, Дарио.

Воскресенье, 22 декабря. Обсуждаем женщин и курьезные причитания сэра Томаса Брауна о том, что люди не могут размножаться, как деревья. Борхес: "Не думаю, что дефект женщин именно в этом. У них это в голове". Бьой: "Я думаю о них как о *a choice of evils*[2]. Борхес: "Ну, не настолько". Бьой: "Как это *не настолько*? Я не расстаюсь с этой, потому что сравниваю ее с той, и не знаю, что мне сулит следующая". Борхес: "Прав был Сэмюэл Джонсон, утверждая, что, если женщина проповедует, ее надо хвалить не за то, что она делает это хорошо, а за то, что она вообще это делает, как собачку, стоящую на задних лапках"[3].

1969 год

Суббота, 28 июня. Борхес: "Похоже, Шекспир писал по два текста для каждой пьесы; один для писательского удовольствия, второй для постановки, acting text[4]. Считается, что от

1. Кого мы дурачим? (*англ.*)
2. Своего рода напасть (*англ.*).
3. Джеймс Босуэлл "Жизнь Сэмюэля Джонсона", "31 июля 1763 года". (*Прим. автора.*)
4. Текст для постановки, с ремарками для актеров (*англ.*).

'Макбета' сохранился лишь acting text, а от других пьес — первый, литературный. Поэтому 'Макбет' — лучшая из его пьес".

Воскресенье, 28 декабря. Борхес: "'Предпоследняя дверь'? Отличное название! У Мальеа выдающиеся способности придумывать хорошие названия. Жаль только, что он упорно приделывает к ним книги".

1971 год

Понедельник, 17 мая. Борхес: "Приходится выбирать между криминальными русскими и туповатыми американцами. Туповатыми, но все же ловкими коммерсантами: они отвратительно влияют на Англию. Повсеместно. Нынче беседа между писателями обязательно касается авторских прав. Я познакомился с этой знаменитой писательницей Айрис... Мердок. Она показалась мне half-wit[1]. Притчетт[2] чуть лучше. Но ненамного".

Суббота, 10 июля. За обедом Борхес внезапно говорит: "Думаю, нет никакого смысла в том, чтобы я каждодневно работал с Норманом[3] над переводами моих рассказов на английский. В этом есть что-то нездоровое — постоянно возвращаться к собственному прошлому. Да и какое мне дело до переводов? Я аргентинец и пишу, чтобы меня читали здесь. Мне семьдесят два года: успех меня не волнует. Успех в США или Европе — что он для меня значит? По правде говоря, успех мне совершенно безразличен. Это просто абсурдно — извечно продолжать эту работу. По-моему, осталось десять томов. Если я и дальше буду все переводить, лучше больше не писать, ведь из-за всего вновь написанного растет объем непереведенного".

1972 год

Пятница, 14 января. Борхес: "Люди говорят мне о Кортасаре, как о предателе, потому что он принял французское гражданство. По-моему, это совершенно не важно. Или после сей волшебной операции он разлюбил нашу фирменную вареную сгущенку — 'дульсе де лече'? За пределами России быть писателем-коммунистом очень просто. Достаточно заявлять, что ты — коммунист. Читая Кортасара, ты замечаешь что-то особенное? Это в России им приходится подстраиваться под определенные правила".

1. Слабоумная (*англ.*).
2. Виктор Соудон Притчетт (1900—1997) — английский писатель.
3. Норман Томас Ди Джованни (р. 1933) — литературный секретарь Борхеса, переводчик его новелл на английский.

1973 год

Воскресенье, 4 февраля. Беседуем о метрике. Бьой: "Английский пятистопный ямб звучит как испанский или итальянский одиннадцатисложник". Борхес: "Я никогда не изучал метрику; всегда доверял слуху".

1974 год

Среда, 23 января. Борхес говорит по телефону, что правит корректуру своего "Полного собрания сочинений": "Поразительно, какую чушь я написал. Такие книги, как 'Эваристо Каррьего' и 'Обсуждение', невозможно исправить. Напечатаю их, как есть, и отмежуюсь в приписке". Бьой: "Насколько я помню, 'Обсуждение' — восхитительная книга". Борхес: "Ну, не знаю насчет 'Обсуждения', но что можно ждать от книги об Эваристо Каррьего[1]? От книги о насекомом? Странно, но Эваристо Каррьего был остроумен в разговоре. Хотя если подумать, вовсе это не странно, ведь разговор вытекает из контекста, но человек пишет в одиночку, никакого контекста нет, приходится его создавать, а в голове нет ни одной мысли".

Четверг, 28 февраля. По словам Борхеса, его отец говорил, что одно слово в Евангелиях в пользу животных избавило бы их от тысяч лет грубого обращения. Но искать это слово бесполезно, его там нет.

Среда, 6 марта. Читаем Вольтера. Борхес: "Вольтер, по-видимому, был одним из величайших людей, когда-либо живших на земле".

Воскресенье, 31 марта. Борхес рассказывает, что в одной саге герой, отважный воин-победитель, под конец, состарившись, сидит у огня в суровую исландскую зиму, а служанка выгоняет его, выпихивает на улицу, где он умирает от холода. "С каждым из нас может случиться такое", — добавляет он.

Понедельник, 3 июня. Читаем Вольтера. При чтении об ужасах в Англии времен Ричарда III Борхес замечает: "Это означает, что цивилизовать можно любую страну".

1977 год

Вторник, 11 октября. Бьянко рассказал мне о диалоге Борхеса с таксистом. Борхес: "Я не могу читать. Я слепой".

1. Эваристо Каррьего (1883–1912) — аргентинский поэт, друг семейства Борхес.

Таксист: “Ничего не можете читать?” Борхес: “Нет. Ничего”. Таксист: “Даже газет?”

Суббота, 19 ноября. Борхес рассказывает, что ему приснился кошмар. Он направляется к поезду на вокзал Конститусьон, так как должен читать лекцию в Ла-Плате. По пути замечает, что несет с собой подушку: он ее бросает. Позднее, уже на вокзале обнаруживает, что несет вторую подушку, чуть меньше первой: он ее бросает. Окошко по продаже билетов находится на перроне. Борхес платит. Кассир, брюзжа, дает ему сдачу — целую уйму купюр — и маленькую подушечку. В этот момент Борхес проснулся.

1978 год

Воскресенье, 31 декабря. Борхес считает, что “The End of the Tether”[1] — замечательная повесть, и задается вопросом, мог ли слепой, подобно капитану из этой повести Конрада, в течение нескольких дней скрывать свою слепоту? Конрад пишет о мраке у слепого: Борхес говорит, что никогда не ощущает мрака; он тоскует без тьмы. Мир для него отдает голубоватыми, либо желтоватыми, или оранжевыми тонами.

1979 год

Воскресенье, 21 октября. Борхес говорит, что ему приснился сон: ужасно сильный карлик запихивает ему в рот перья, которые затем оборачиваются птицами. Отмечает: “Странно, за минуту придумываешь такие несуразности”. Рассказывает еще: “Снилось мне также, что я нахожусь в библиотеке с бесчисленным множеством одинаковых книг. Они переплетены. Без названия или имени автора. Вроде бы книги с краткими мыслями или фрагментами. Я читал какие-то из этих фраз: они были непонятны. Я хотел уйти и не находил выхода. У господина, который находился в библиотеке и во сне был одним из моих друзей, я спрашивал, где дверь для выхода. ‘Вообще-то ее нет’, — отвечал тот”. Борхес добавляет, что Джонсон (в беседе с Босуэллом)[2] и Шопенгауэр отмечали следующее: порой в сновидениях побочному персонажу известно то, о чем не знает центральный персонаж, которому снится сон.

1980 год

Суббота, 26 января. Борхес: “В происходящем не бывает ничего романтичного. Романтика рождается из ностальгии”.

1. “Конец рабства” (*англ.*).
2. Джеймс Босуэлл “Жизнь Сэмюэля Джонсона”, “1780 год”. (*Прим. автора.*)

Понедельник, 25 августа. Борхес рассказывает, что впервые он вырядился на маскарад в костюм дьявола. Опыт ему понравился: ему показалось, что в этом наряде он неотразим. Его сестра Нора надела костюм клоуна. Я видел фотографию Норы в этом костюме[1]. Она смеется, ужасно довольная. Рассказывая о том, как он радовался своему наряду, Борхес отмечает: "Ошибка. Важно понять, что жизнь состоит из совершения ошибок и их преодоления. Ошибки столь же нелепые, как считать себя неотразимым в костюме дьявола: то, что я стал ультраистом, то, что потом вступил в радикальную партию, — последняя ошибка оказалась наихудшей".

1982 год

Пятница, 8 января. Беседуем о том, как мы начинали в литературе. Борхес говорит: "Я писал со словарем синонимов и всегда старался употребить самые диковинные слова. Когда мне удавалось вставить их в мои сочинения, я очень гордился и думал, что критика отметит, как я раскопал это старое, столь полезное слово. Однако те же самые слова, когда я читал мои тексты дома, вызывали у меня чувство стыда".

Пятница, 19 марта. Бьой: "Для дружбы между двумя писателями желательно, чтобы каждый одобрял книги другого". Борхес: "Не одобрял, а смирялся с ними".

Понедельник, 13 декабря. Борхес рассказывает сон. Он идет со мной по туннелю с шероховатыми стенами. Я низенький, почти ребенок. Он несколько напуган, потому что туннель, кажется, тянется бесконечно. Словно догадавшись о его тревоге, я ему говорю: "Сейчас найдем выход. Дверь справа". Борхес видит дверь и говорит: "Она слева". Я отвечаю: "Значит, нам это снится".

1984 год

Понедельник, 13 февраля. Последние вести о Борхесе и Марии [Кодаме][2], сообщенные Фанни[3] Сильвине: Борхес уже ни с кем не видится, не только с нами, но и с Ноэми

1. См. M. de Torre Borges. Borges; Fotografías y manuscritos. — Renglón, 1987: 38. (*Прим. автора.*)
2. Мария Кодама (р. 1937) — подруга и помощница Борхеса, затем его жена и вдова.
3. Эпифания Уведа де Робледо (1922–2006) — с конца 1940-х гг. домоправительница в семействе Борхес.

Улья или Алифано[1]. Утром принимает журналистов et alii[2]. Потом обедает и устраивает сиесту. Потом приходит Мария, они работают и ужинают, у него не остается времени видеться с кем-то еще. Фанни заключает: “На деле она хочет именно этого: чтобы он больше никого не видел”. Если это окажется правдой, я не удивлюсь: несколько моих приятелей прошли через нечто подобное. Сама Сильвина, при возможности, сделала бы со мной то же самое.

1985 год

Среда, 30 января. Бьой: “Надо бы закончить перевод ‘Макбета’”. Борхес: “Конечно. Какие трудности? Никаких. Более-менее настроить слух на одиннадцатисложный стих. Нынче ни у кого нет слуха. Никто не способен распознать восьмисложник. Каким бы плохим ни оказался наш перевод, он будет лучше ‘Гамлета’, переведенного Андре Жидом”. И добавил, что теперь никто не умеет писать прозой, приемлемой с грамматической или разговорной точки зрения.

Среда, 27 ноября. Звонит Панчо Муратуре[3], просит отвезти Борхеса сегодня вечером к Альберто Касаресу[4]. Я говорю: “Борхес улетает в Италию”. Звонит Касарес: “Борхес остался и придет в книжный магазин”. Вечером иду в книжный магазин. Борхес хорошо выглядит. Рассказывает мне, что Талейран, умирая, все сетовал: ‘Quel tourment’. Король, будучи рядом, спросил: ‘Déjà?’[5]”.

Его забирают в полдевятого.

1986 год

Понедельник, 12 мая. Сегодня говорил с Борхесом, он в Женеве. Около девяти, когда мы собирались завтракать, зазвонил телефон. Подошла Сильвина. Вскоре я понял, что она говорит с Марией Кодамой. Сильвина спросила, когда они возвращаются; Мария на вопрос не ответила. Сильвина поговорила и с Борхесом, снова спросив: “Когда вы возвращае-

1. Ноэми Улья (р. 1930), Роберто Алифано (р. 1943) — аргентинские писатели.
2. И прочих (*лат.*).
3. Франсиско Муратуре (?-1989) — друг Борхеса и Бьоя Касареса.
4. См. заявления А. Касареса (Последний вечер с Борхесом в Аргентине // Лимитес, 1988, № 1). “Любой мог подойти к Борхесу или Бьою, который тоже был там, и спросить о какой-нибудь книге, о рассказе, о чем угодно. И оба они заводили разговор со всяким собеседником”. (*Прим. автора.*)
5. “Какие муки!”... “Уже?” (*франц.*).

тесь?". Она дала мне трубку, и я поговорил с Марией. Сообщил ей мало значащие новости об авторских правах (из вежливости, чтобы не переходить на патетику). Она сказала, что Борхесу нездоровится, он плохо слышит и повышает на нее голос. Возник голос Борхеса, я спросил, как он поживает. "В общем, средне". "Я хочу тебя видеть", — сказал я. Странным голосом он ответил: "Я больше никогда не вернусь". Соединение оборвалось. Сильвина сказала: "Он плакал". По-моему, да. Думаю, он звонил, чтобы попрощаться.

1987 год

Февраль. Борхес умер в обществе Марии, Бернеса[1] и, вероятно, Бьянчотти[2]. Мария была его любовью, почему я и сказал: "Восьмидесятилетним он вернулся со своей любовью в страну лучших воспоминаний". По сути, Мария — женщина со странной идиосинкразией; она обвиняла Борхеса по любому поводу; наказывала молчанием (Борхес, не забудем, был слепым); ревновала его (приходила в ярость от преклонения почитателей); теряла терпение из-за его медлительности. Живя с ней рядом, он боялся ее рассердить. К тому же Мария была человеком иных, чем он, традиций. Борхес как-то сказал мне: "Нельзя жениться на человеке, не знающем, что такое пончо или наша вареная сгущенка — 'дульсе де лече'". Пончо или "дульсе де лече" можно заменить бесконечным множеством других вещей, которые Мария и Борхес никогда не разделяли. Думаю, он мог чувствовать себя с Марией очень одиноким. Бернеса он знал очень поверхностно, видел до этого лишь у меня дома. Что до Бьянчотти, то для Борхеса он всегда был смешным, тщеславным, манерным, марионеточным персонажем.

По словам Сильвины, Борхес отправился в Женеву и женился, чтобы показать свою самостоятельность, подобно пареньку, который стремится стать самостоятельным и творит сумасбродства. Я бы добавил: "Он уехал, чтобы показать свою самостоятельность, и заодно, чтобы не перечить Марии".

1989 год

Бернес рассказал мне, что дней за пятнадцать до смерти Борхес почувствовал ее присутствие. Он вроде сказал: "Она

1. Жан-Пьер Бернес (р. 1940) — французский литератор, помогал Борхесу в составлении его французского "Избранного".
2. Эктор Бьянчотти (1930–2012) — французский писатель, выходец из Аргентины, в 1955 г. покинул страну.

пришла. Она здесь". Я спросил, описал ли он ее. Бернес ответил: "Он сказал, что это что-то внешнее, жесткое, холодное".

Одна из последних его шуток. Бернес упоминает "Золотую монету". Борхес поправляет: "железная"[1]. Бернес недоволен своей ошибкой. Борхес говорит: "Не сердитесь. Вы сделали то, что не удалось алхимии".

К концу Бернес читал ему "Ульрику". Борхес заметил: "Это написал я". По словам Бернеса, он умер, читая "Отче наш". Произнес его на англосаксонском, английском, французском и испанском.

<...>

Бернес записал, как Борхес поет "Я — та брюнетка" и другие танго. Он утверждает, что на этой записи Борхес смеется своим обычным смехом.

1. "Железная монета" (1976) — сборник стихов Борхеса.

Алан Гарнер

Доджсон из Чешира и Кэрролл из Крайст-чёрч

Перевод с английского Нины Демуровой

О Льюисе Кэрролле написано больше, чем сам он мог бы написать за всю жизнь. Он держит на своих плечах целый мир научно-исследовательской индустрии, что интересно и само по себе: ведь столько ученых умов то и дело пересекают во всех направлениях нашу планету, чтобы до последней запятой изучить его стихи и прозу. А тут еще и я присоединяюсь к этой толпе. Зачем? Вопрос риторический; я задаю его, чтобы, воспользовавшись случаем, сообщить: вследствие некоего исторического и географического совпадения мне, возможно, дано увидеть то, что скрыто от других. Об этом мне и хочется рассказать. А потом пусть критики и ученые поумнее моего выносят свое решение.

Кэрролл мне близок местом рождения (Чешир), языком, общим для нашего детства, дефектами речи, чуть было не омрачившими жизнь (он заикался, я шепелявил), знанием того, что представляет собой Оксфордский университет с его гротескными обычаями, глубокой, как бывает у детей, увлеченностью языком, игрой слов и абсурдом — вот, пожалуй, и все. Он был склонным к уединению и безбрачию ученым, который умел писать. Я — вольный писатель, умеющий, если надо, подражать ученым. И все же то общее, что нас объединяет, возможно, позволит мне увидеть то, чего не увидели другие.

Чарлз Лютвидж Доджсон родился 27 января 1832 года в старом доме приходского священника в Ньютоне, неподалеку от деревни Дарсбери; он был третьим ребенком и старшим сыном достопочтенного Чарлза Доджсона и Франсис Джейн (в девичестве Лютвидж). Он рос в семье, где из одиннадцати детей семеро были девочками, чьим обществом он наслаждался и развлекал их рассказами и загадками. Судя по всему, он был смышленым ребенком, любившим все, к чему бывает склонен детский ум; однако эта любовь не оставила его и впоследствии: он сохранил детскую свежесть восприятия каждого слова, способ-

© Alan Garner, 1998
© Нина Демурова. Перевод, 2013

ность строить логические умозаключения, опираясь на нелогичности и новации, видеть пути установления неожиданных связей, которые в более поздние годы люди обычно не ценят и потому теряют. Наш внук, когда ему исполнилось шесть лет, заметив раздавленную грушу, воскликнул с притворной печалью: "Несчастная!" Доджсон и в зрелости сохранил это детское свойство и не только сохранил, но и дал ему развиться.

В восьмилетнем возрасте Доджсон побывал на торговой выставке в Уоррингтоне, устроенной лордом Фрэнсисом Эджертоном, где демонстрировалось множество курьезов и естественно-научных редкостей; была там и птица додо. Можно спросить, почему из огромного числа всяких диковинок ребенку запомнился именно додо. На это можно ответить, что, если ребенок заикается и зовут его при этом Доджсон, он способен ощутить некую родственность, некую соприродность заморскому чужаку, и этот образ не изгладится у него из памяти.

По-видимому, здесь сказалось и влияние Эджертона. Джон Спид, сам уроженец Чешира, писал, что это графство было "питомником аристократов", где особенно широко было представлено семейство Эджертонов, чей герб — червленый с серебром лев, вставший на задние лапы меж тремя стрелами с чернядью. Там, где прошло детство Кэрролла, чаще всего встречалось изображение этого багряного льва, вырезанное из камня или нарисованное теми, кто видел котов, но никогда — львов. Лучшая таверна в графстве (и вторая в Англии), расположенная в двадцати пяти милях от Дарсбери, называлась "Кот и скрипка" ("Le chat fidel"). О чеширском коте я узнал раньше, чем о Кэрролле. Чеширский кот — редкая генетическая аберрация. Это темно-рыжий, неспособный к размножению (sterile) кот, у которого на передней лапе пальцев больше, чем положено. За всю свою жизнь я видел трех таких котов: одного в детстве; другого — в 1960 году; третий родился у нашей кошки в 1970-м. Чеширского кота невозможно вывести, его рождения не вычислить. Он появляется и исчезает, когда ему вздумается. Можно допустить, что мальчик Доджсон знал это, а взрослый Кэрролл — использовал.

Немалый интерес представляет допущение (хотя полной уверенности тут нет), что в эти юные, фонетически восприимчивые годы, когда внимание его матери было постоянно поглощено вынашиванием и рождением детей, а отца — пастырскими обязанностями, Кэрролла воспитывали слуги, говорившие по-чеширски, с характерным чеширским словарем, тональностью, ритмом.

Отрыв от домашнего тепла и уюта, от привычного языка и родных мест ради образования, которое на всю жизнь замкнуло его в жесткие рамки, был для Доджсона, верно, очень болезненным, что, как теперь считают, зачастую приводит к заиканию. Возможно, это усугубило уже существующий дефект и еще

больше изолировало подростка. Повзрослев, он, вероятно, изо всех сил пытался восстановить утраченное (впрочем, тут во мне говорит романист), соединяя ритмы романских корней, во множестве усвоенных в университете, с более древними английскими корнями, знакомыми с детства, результатом чего стала баллада "Джаббервоки" — воплощение высоких достижений английской литературы.

Первое появление "Джаббервоки" под заглавием "Строфа из англосаксонской поэзии" (1855) симптоматично. Чтобы убедиться в этом, следует процитировать оригинал целиком и сравнить его с тем вариантом, который вошел в "Алису". Я утверждаю, что, сделав это, мы не сможем не увидеть, что имеем дело с *рассеченным* человеком — человеком, отрезанным от родного края, куда ему уже нет возврата, и от любящих братьев и сестер. Трудно представить себе бóльшую *отсеченность* от древней северной общины, семейного тепла и деревенской культуры, чем жизнь, которая проходит среди холодного великолепия архитектуры, в общении, состоящем из холодно-абстрактного обмена мыслями, в сугубо мужском обществе, где за Высоким столом[1] царит юмор... нет, не юмор, а злословие, выдаваемое за остроумие. Я должен снова подчеркнуть, что выражаю эти мысли как писатель, созерцающий писателя. И не претендую на точное знание. Однако писатель настроен таким образом, что читает не только слова, но и то, что за ними стоит.

Вот кэрролловский черновик 1855 года:

T'was bryllyg, and ye slithy toves
Did gyre and gymble in ye wabe;
All mimsy ye borogoves;
And ye mome raths outgrabe.

Значения слов таковы:

Bryllyg (производное от глагола *bryl* или *broil*) — *время варить обед*, то есть сумерки.

Slythy (составное от *slimy* и *lithe*) — *гладкие и ловкие.*

Tove – вид барсука. У этих барсуков гладкая белая шерсть, задние ноги длинные, а рога короткие, как у вола. Питаются в основном сыром.

Gyre — глагол (производный от *gyaour* или *giaour:* "пес"), означающий *чесаться, как пес.*

Gymble (отсюда *gimblet*) — *буравить дырочки.*

Wabe (производные от глагола *to swab* или *soak*) — *склон горы* (назван так потому, что пропитан дождем).

Mimsy (отсюда *mimserable* и *miserable*) — *несчастный.*

Borogove – вымерший вид попугая. У этих птиц не было крыльев, а клюв заворачивался вверх; гнезда они себе вили под солнечными часами; питались телятиной.

Mome (отсюда *solemome, solemone* и *solemn*) — *грустный.*

Rath — вид земляной черепахи. Голову она держала прямо, рот был как у акулы, передние лапы изогнуты в стороны, так что ползала она на коленях;

1. Высокий стол — стол для университетских преподавателей, стоящий в столовой колледжа на возвышении перпендикулярно к столам студентов. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

тело зеленое, гладкое; питалась ласточками и устрицами.

Outgrable – прошедшее время от глагола *to outgribe* (связанного со старым глаголом *to grike* или *shrike*, производными которого являются *shriek* и *creak*) — *пищал.*

Буквальный перевод этого отрывка гласит: "Смеркалось, и гладкие бойкие барсуки скреблись и бурили дырки на склоне холма, попугаи все загрустили, и пищали печальные черепахи".

Возможно, на вершине холма находились часы и borogoves боялись за свои гнезда, потому что raths бегали, пища от страха, услышав, как toves скреблись снаружи. Это темный, но глубоко трогающий фрагмент древней Поэзии.

Доджсон был математиком и логиком, но не лингвистом. Однако обратите внимание на заключительное предложение этого отрывка и прочитайте его как признание скорее личного свойства. Хотя юмор тяжеловат, что совсем не характерно для Доджсона, это все же неплохая имитация бесед университетских донов за Высоким столом и в Преподавательской. А что бы он хотел услышать? Знакомую с детства речь чеширского крестьянства, язык "Сэра Гэвейна и Зеленого Рыцаря"[1], которые раньше слышал лишь ребенком? Контраст был, наверное, огромным, а противоречие между его теперешним окружением и воспоминаниями — болезненным.

Предлагаю вашему вниманию некую модель. Я кое-что знаю о Доджсоне. И знаю свой родной язык. Знаю я и университетскую публику. И к тому же знаю, как работают писатели. То, что я скажу, возможно, не абсолютно точно, однако эмоционально — то есть с точки зрения толкования эмоций — вполне допустимо. А Доджсон, если не Кэрролл, был человеком глубоко приватным и эмоциональным.

Итак, вот модель, или некая попытка объяснить реакцию мальчика, который провел некоторое время там, где в воздухе раздавалась сельская речь, на письме ни разу им не виденная; речь, служившая постоянным жизненным фоном: смысл слов не был ясен, но звуки застревали в памяти. Это попытка объяснить реакцию смышленого не по годам мальчика, ставшего заикающимся интеллектуалом незаурядного ума, который он не мог реализовать как Доджсон из Оксфорда, но инстинктивно пытался — как Кэрролл из Дарсбери: "сварковатый", черезвычайно робкий "растяпа", рассказывавший девочкам сказки и игравший в детские игры с братьями, мальчик, чья взрослая жизнь протекала среди агрессивных мужчин, которому, чтобы выжить, пришлось стать шутником, актером, трикстером, играющим смыслами и словами.

Обратимся снова к хитроумному и одновременно пе-

1. "Сэр Гэвейн и Зеленый Рыцарь" — один из стихотворных рыцарских романов Артурова цикла, созданный в конце XIV в. на западном диалекте центральных графств Англии.

чальному комментарию, которым он снабжает "Строфу из англосаксонской поэзии", а также к последнему предложению, отмеченному светом и звуками его детства, этого не обнесенного университетской стеной Эдема. Все эти слова известны в сельском Чешире, и я употребляю их сейчас, как употреблял в детстве. Мне они говорят так же много, как Кэрроллу; однако, проглядев мой небольшой список кэрролловского словаря, вы поймете, насколько он был изобретателен.

Brillig. Bryl — жарить на открытом огне.

Slithy. Slither — выскользнуть из рук, вырваться из-под власти; и *lither — ленивый, которого трудно заставить работать*, откуда и пословица: "If he were as long as he is lither, he might thatch a house without a ladder". ("Будь он так же высок, как ленив, он бы крыл крышу дома без лестницы".)

Toves. Это фонетическая запись слова *taws*, множественное число *taw.* Возможны два прочтения. Первое — это *стеклянные шарики для детской игры.* Второе — *непослушный ребенок, шалун.* В этом втором значении слово всегда употребляется ласкательно. Бабушка, бывало, отрывала нас — моего двоюродного брата и меня — от игры, приказом: "Let's be having you lithermon taws!" *Lithermon* (*лентяй*) здесь используется как прилагательное, так что вся фраза означает "А ну-ка, ступайте сюда, бездельники!" Это мне представляется особенно интересным при сопоставлении slithy и tove у Кэрролла.

Gyre. Gyaour — фонетическая форма обычного бранного словечка по отношению к собаке, которая вертится под ногами или брешет. Глагол *to gyre* означает *страдать поносом* (*несет, как теленка*).

Gymble. Этот глагол означает *буравить дырки буравом.*

Wabe. To swab означает *плескать* (жидкостью). А *waede* – это *брод через горный ручей.*

Mimsy. Это слово означает *унылый* и *жеманный.*

Boro — картофельный бурт.

Gove. Это *сток в хлеву или коровнике.* (Я не связываю это слово с телятами, хотя другие, если хотят, могут это сделать.) Такое соединение двух слов не столь абсурдно, как вымерший попугай. Возможно, Доджсон вспоминал эти слова с нежностью, хотя и не знал их смысла, ибо они напоминали ему о звуках и запахах скотного двора — скотного двора, который он подсознательно вспоминал всякий раз, как пересекал внутренний дворик своего колледжа, известный под именем Том Квадрат.

Mome. Mom (долгое "о") и *mommocks* (краткое "о") — *пищевые отходы, даваемые свиньям в виде пойла или помоев.*

Rath — крепкая доска, идущая вдоль верхнего края телеги.

Outgrable. To grike или *to skrike — плакать, как плачут только дети* (но не взрослые).

Вот как я — писатель (Кэрролл сказал бы, что автор вправе писать по-своему, но прав отнюдь не всегда) — интерпретирую заикание Доджсона из оксфордского колледжа Крайст-чёрч; выглядывая из окон своих комнат, он всякий раз видел на всех изваяни-

ях дразнящее звукоподражательное заиканье *Ch. Ch*[1] — традиционный знак местных каменщиков. Чеширцы... Когда-то он с легкостью говорил на их языке, но потом уже никогда им не пользовался, не будучи в состоянии вернуться в детство.

Доджсон-Кэрролл из Ньютона, что неподалеку от Дарсбери, — это Чеширский кот. От этих котов всегда остается лишь улыбка. Исследователям их никогда не поймать. Ибо снарк был буджумом, понятно?[2]

Через несколько дней, после того как я закончил эту статью, случилось нечто кэрроллианское. Я получил открытку от русской приятельницы; она пришла не из Москвы, а из Филадельфии. На открытке был воспроизведен рисунок, который теперь находится в Розенбаховском музее[3]; его сделал Чарлз Доджсон в 1841 году — в возрасте 9 лет.

На рисунке изображены двое мальчишек, которые смотрят на грозную птицу, сидящую в гнезде высохшего дерева. Вид у мальчишек вполне благопристойный. Один говорит другому: "Here's a nest! Tom thee must go up first!" ("Вон гнездо! Полезай первым, Том!") Второй отвечает: "Naw! Thee!" ("Нет! Ты!") Они говорят на чистейшем чеширском наречии.

В Чешире thou всегда thee, а no всегда naw. Между глаголами *must* и *mun* существует четкое различие. Mun означает физическую и моральную необходимость; в глаголе *must* степень долженствования ослаблена, она ближе по значению к ought или it would be better if. Знаменательно, что Доджсон поправил одно слово. Go up у него было вначале записано так, как слышится: gou'p. Чеширское go up — это goo, оно съедает вторую гласную, в результате чего получается одно слово *goo'p*; однако необходимость употребить апостроф и [u:], возможно, оказалась не под силу юному Доджсону, так что он был вынужден изменить чистоте своего языка, которую бы по достоинству оценил в зрелости.

Заурлакал от радости я[1].

1. То есть Крайст-Чёрч (Christ Church), но также в данном случае и Чешир (Cheshire).
2. *Ибо снарк был буджумом, понятно?* — заключительная строка поэмы Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка".
3. Розенбаховский музей — музей в Филадельфии, где хранятся книги, рукописи, иллюстрации и рисунки, собранные американскими коллекционерами, братьями Ф. Х. и А. С. У. Розенбах.

1. Перифраз из баллады "Джаббервоки" (перевод Т. Щепкиной-Куперник).

Вера Калмыкова
КВЕСТ *по английской литературе*

В. Л. Гопман *Золотая пыль: Фантастическое в английском романе: последняя треть XIX–XX вв.* — М.: РГГУ, 2012. — 488 с.

Изначальная задача литературоведения и критики — служить "мостом" между писателем и читателем. Она выполняется, и порою, как всем известно, блестяще, когда дело касается *почти* всех видов и жанров литературы. Почти. Потому что до сих пор, кажется, литературоведы "отстают" от предмета, если речь заходит о фантастике.

Владимир Гопман формулирует эту проблему в самом начале своей книги: "Уж которое десятилетие фантастическое в изящной словесности вызывает споры, и, хотя сейчас их напряженность спала и дискуссии, подобные тем, что разворачивались на страницах 'Литературной газеты', 'Вопросов литературы' и других периодических изданий в 1970—1980-е годы, уже не ведутся, это случилось вовсе не оттого, что наконец получены ответы на вопросы, обсуждавшиеся четверть с лишним века назад. И по-прежнему фантастика многим представляется явлением эстетически ущербным... Хотя форма уничижительных отзывов о фантастике изменилась со времен 'неистового Виссариона' — Белинский утверждал, что 'фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов', — суть их остается неизменной. По точному выражению американского фантаста Теодора Старджена, 'никогда в истории литературы не существовало такое направление, о котором судили бы практически исключительно по... худшим образцам'". С Гопманом и его единомышленниками нельзя не согласиться, и, если задуматься, ситуация выглядит весьма странной: миллионы людей во всем мире читают, а профессионалы в лучшем случае молчат, а в худшем отмахиваются.

Конечно, это не совсем так. По ходу своего повествования В. Гопман ссылается на исследования, увидевшие свет как на Западе, так и в России. Но, как он замечает, "все это работы либо об отдельных английских писателях-фантастах (чаще всего), либо об отдельных проблемах фантастики Великобритании. До сих пор в отечественном литературоведении не анализировались в совокупности роль и формы существования фантастического в английской литературе, не выявлялся генезис

и характер развития фантастики Великобритании как важной и неотъемлемой части национальной литературы".

В. Гопман делает максимум, для того чтобы всесторонне показать свой предмет (это "научная фантастика и фэнтези") и выявить проблемы, связанные с тем или иным писателем или со всем корпусом фантастической литературы в целом. Поэтому "Золотая пыль", имеющая безусловную ценность для филологов, может быть интересна и обычному читателю, который хотел бы побольше узнать о полюбившихся произведениях и хотя бы что-нибудь — о вовсе неизвестных. Гопман предлагает познакомиться, пусть поверхностно, с прозаиками, доселе не переведенными в России. И потому книга включает главы о творчестве известных в нашей стране Уильяма Морриса, Брэма Стокера, Герберта Джорджа Уэллса, Джеймса Херберта, Джона Рональда Руэла Толкина, Клайва Стейплза Льюиса, малоизвестных Лорде Дансени, Мэри Нортон и совсем неизвестных Джорджа Чесни, Ф. Энсти (Томаса Энсти Гатри), Теренса Хэнберри Уайта, Энтони Хоупа, Джеймса Уайта, Майкла Фрейна, Брайана Уилсона Олдисса, Джеймса Грэма Балларда и Уильяма Хоупа Ходжсона.

И тот *совокупный* анализ, на отсутствие которого сетует В. Гопман, им самим предпринят по принципу "от частного к общему": творчество того или иного фантаста он рассматривает как одну из составляющих, один из аспектов единого и целостного явления под названием "английская фантастическая литература". Так, с именем Морриса связано создание образа земного рая, деревенской утопии, в которой технический прогресс отменяется, а люди живут в блаженном творческом труде. Здесь органичны волшебство, магия, сверхъестественное, причем "они присутствуют в жизни описываемых миров как... обязательные компоненты бытия".

В связи с творчеством Морриса В. Гопман вводит понятие "Квеста", более знакомое сегодня по совершенно другой, казалось бы, области культуры. "Термин 'Quest' на русский может быть переведен как 'путешествие', 'странствие', 'приключение', 'путь', 'поиск', 'поход', но ни одно из них не будет полностью адекватно оригиналу, так как отражает только одну грань английского слова. Ибо Квест — это движение и в пространстве географическом, и в пространстве души... путь в поисках себя, познание себя, обретение внутренней гармонии. Именно Квестом был и один из самых знаменитых походов в западной литературе XX в. — тот, что предприняли Фродо Бэггинс и его товарищи в страну Мордор, чтобы уничтожить Кольцо Всевластья, Кольцо Зла".

Возникновение "литературы катастроф", выразившей английскую национальную "островную" фобию — страх перед разрушительным иностранным вторжением, — связано с именем писателя-фантаста Чесни. Нет нужды говорить, что эта традиция оказалась чрезвычайно продуктив-

ной. “Наверное, — так завершает В. Гопман рассказ об этом феномене английской словесности, — едва ли корректно с полной определённостью утверждать, что именно небольшая повесть Чесни [‘Битва при Доркинге’] стала родоначальником гигантского пласта литературы... ...Но все же не будем забывать, что лавина в горах сходит от небольшого камушка”.

Следующий герой исследования, Т. Энсти, косвенно знаком русскому читателю: в 1902 году его роман “Медный кувшин” был переведен на русский язык и впоследствии лег в основу известнейшей повести Л. Лагина “Старик Хоттабыч”. В произведениях Энсти сказочное переплетается с социально-бытовым, фантастическое — с реальным, ирония и юмор соседствуют с утопическим началом, и в целом коронный номер писателя — “введение фантастического элемента в реалистическое повествование”. Еще один автор, Энтони Хоуп, помещает действие своего романа “Узник Зенды” в вымышленное пространство страны Рурита-нии. “Герой оказывается в мире реальном — и одновременно условном, лишенном четких географических и временных координат действия, расположенном ‘где-то и когда-то’. Именно так строятся миры фэнтези, миры, похожие на наш, но похожие лишь отчасти, ведь они возникли благодаря фантастическому допущению. Ожиданность неожиданного, вероятность того, [что] в любой момент повествования может случиться нечто совершенно невероятное — особенность фантастики, которая роднит ее с приключенческим романом и притягивает того, кто жаждет встречи с чудом, стремится оказаться в ‘мире за холмом’. Умение фантастики создавать такие миры, то есть отвечать имманентно присущей человеку потребности в необычном, американский писатель и критик Алексей Паншин называл одним из важнейших свойств этой литературы. Читателю легче отождествить себя с героем, который действует в нереальном мире — в таком, который ближе и понятней тому, кто любит мечтать”.

Брэм Стокер, автор целого ряда романов, из которых известности и признания удостоился лишь “Дракула”, является представителем готической литературы и предтечей огромного количества “книг о вампирах”, порожденных XX столетием. В связи с этим произведением В. Гопман задается вопросом: “Так в чем же притягательность в наши дни историй о вампирах, к которым продолжают обращаться литература и кино?.. Ведь... потребность в страшном таится в человеческой душе... Жуткого мертвеца, пьющего кровь, культурная традиция превратила в существо, обладающее безусловным обаянием... и незаурядным умом”.

В. Гомпан дает такой ответ: “Популярность вампира во многом связана с тем, что восприятие его двойственно: он отталкивает — и притягивает, он отвратителен — и желанен. Вампир выступает как квинтэссенция представлений о злодее: он бессмертен... обладает почти неограниченным могу-

ществом, аморален... загадочен, ощущает свое избранничество, уникальность. Образ вампира имеет отчетливо выраженные сексуальные обертоны... Смерть в 'вампирической' традиции сочетается с неодолимой страстью... с возможностью, вступив в союз с вампиром, испытать нечеловеческое наслаждение. Вампир — воплощение тайных желаний и мужчин, и женщин. <...> При этом тяга к страшному определяется не только неврозами человека, его душевным разладом. В какой-то степени вампир — отражение, олицетворение темной, звериной стороны человеческой души, пороков и искушений, которые обуревают нас. В сущности, глядя в это 'зеркало', мы видим себя такими, какими можем быть — но не должны. И борьба 'я-нынешнего' с 'я-вероятностным' придает чтению книг о вампирах дополнительную остроту и притягательность".

Со всем этим невозможно не согласиться, разве что следует заметить, что сказанное характеризует нашу эпоху с той же точностью, с какой — эпоху появления и первоначальной популярности "Дракулы". В. Гопман говорит скорее об архетипе книжного восприятия, сформировавшемся к концу XIX века в культурной читательской среде и действующем, как и положено архетипу, пусть и молодому, в начале XXI века. Существуют ли специфически сегодняшние причины популярности вампирской темы и каковы они — вопрос, вероятно, требующий специального рассмотрения.

Следующая глава посвящена одному из известнейших в нашей стране представителей НФ — "Шекспиру научной фантастики" Уэллсу. С его именем связана идея эволюции социума на основе научных достижений, причем технический прогресс, по Уэллсу, имеет двойственный характер: он помогает обществу развиваться и вместе с тем подталкивает его к потрясениям и катастрофам. Совершенно противоположен Уэллсу Ходжсон, которого В. Гопман называет "творцом ужаса". Неоромантик, обращавшийся к темам страшного и загадочного, Ходжсон связал их с морской темой и с таким багажом вышел к готическому роману, причем в его творчестве "готическое пространство... создается иными, чем в классическом готическом романе, средствами". Герои Ходжсона, подобно персонажам Морриса и Толкина, проходят Квест.

В романах Дансени действие происходит "в странах, расположенных, по определению автора, на краю света (иногда писатель называет их 'Земли Чудес'). Миры Дансени, как и миры Уильяма Морриса, тщательно продуманы, обладают своей историей, географией, культурой... Названия населенных пунктов, имена героев звучат одновременно реалистично и фантастично, что придает волшебным приключениям убедительную достоверность".

Главу о творчестве Толкина В. Гопман предпочел заменить главой о толкиноведении в России. Автор рассказы-

вает как о переводных зарубежных, так и об отечественных исследованиях, посвященных миру Средиземья и его обитателям. Зато рассказ о Льюисе и его мирах возвращает читателя к избранному В. Гопманом жанру Квеста по английской словесности, путешествию-испытанию, ожидающему любого, кто откроет "Золотую пыль". Анализируя "Космическую трилогию" и "Хроники Нарнии", Гопман сконцентрирован главным образом на непримиримом для английской литературы противостоянии добра и зла.

Книги Уайта В. Гопман определяет как "артуриану", подчеркивая важность "артуровского цикла" для данного автора. Уайт создавал также вариации на темы Библии и Шекспира, и в таком контексте его "артуриана" получает, конечно, дополнительную значительность. С именем этого писателя в английскую фантастику входит представление о весомости исторических источников — да и вообще Истории как грандиозного здания, в котором живет человечество. Если Уайт уходит в область высокого, то Нортон спускается в буквальном смысле к самой земле: герои ее произведений *добывайки* — маленький народец, пришедший в литературу из английского фольклора (в оригинале они носят название "borrowers"). Произведения Нортон во многом близки толкинской истории: ни у добываек, ни у хоббитов нет "мифологии, верований, религии — они живут сегодняшним днем, его конкретными событиями, в их жизни нет места ничему таинственному, загадочному, мистическому". И те и другие "с помощью разума, логических умозаключений, своей воли побеждают страхи, их окружающие. Они не мифологизируют действительность — напротив, стремятся понять и познать ее". И четверке героев "Властелина колец", и добывайкам пришлось совершить Квест и не потерять лучших... *человеческих* качеств.

С Земли в Космос поднимается Уайт. Его предпочтения отданы научной фантастике. Совершенно по-своему решал этот писатель проблему создания образа пришельца. Очень часто явление носителей инопланетного разума на Землю — ужасное событие, и множество произведений попадают, таким образом, в область "литературы катастроф". Иначе трактует тему Уайт: для него "инопланетянин — носитель разума, а потому достоин уважения, независимо от его внешнего облика". Потому его подход к героям В. Гопман называет "неантропоморфным" — в том смысле, что автор не ставит человека в центр Вселенной, а делает его равным партнером многообразнейших внеземных существ.

Предпочтения следующего писателя, Фрейна, лежат в области социальной фантастики. Он сатирик, которого В. Гопман сравнивает с Гоголем, не скрывающий своей неприязни к героям. Его романы носят пародийный характер, Фрейн охотно использует гротеск, откровенно издевается над попытками формализации отношений между людьми. И

если у него общественные настроения вызывают главным образом насмешку, то его соотечественник Херберт исполнен, как считает В. Гопман, "отчаянием и надеждой". "Пишет Херберт литературу ужасов, детективы, в которых активно использует мистику и оккультизм". Русский читатель знает его по циклу романов "Крысы", в которых писатель создал "пугающие картины вторжения иной жизни" и выразил надежду на победу человека и человечности.

"Космическая" и "историческая" линии соединяются в творчестве Олдисса, который не чужд постмодернистского подхода: "Олдисс поначалу невозмутимо пишет космический вариант мифа об Эдипе, сохраняя его драматическую напряженность, а потом словно выворачивает его наизнанку издевательским хэппи-эндом". "Бодрый постмодернистский стёб" не мешает автору создавать умные и светлые книги и при этом затрагивать самые сложные вопросы современности — например, проблему терроризма. Наконец, для писателя Балларда, которого В. Гопман называет "штурманом внутреннего космоса", самым главным становится изображение человеческой души: "От рассказа к рассказу нарастает ощущение, что психика героев, призрачные картины, встающие в глубине их сознания, становятся для этих людей единственной реальностью, тогда как физическая реальность приобретает черты фантасмагоричности".

Таков краткий обзор основных авторов, ставших героями исследования В. Гопмана, и основных тенденций современной английской фантастики. А теперь следует вернуться в самое начало книги. Перед тем как развернуть перед читателем панораму разновидностей фантастического, В. Гопман дает подробные определения обоих видов фантастики, которые ему предстоит анализировать (автор отмечает: "НФ не жанр, поскольку в фантастике существуют романы, повести, рассказы, пьесы, стихи, как в литературе реалистической". Почему бы, в таком случае, не говорить о ней как о *виде* литературы?). Первое: научная фантастика, или НФ, — это "вид фантастической литературы (или литературы о необычном), использующей вторичную художественную условность, основанную на единой сюжетной посылке (допущении) рационального характера. Согласно этому допущению необычайное (небывалое, даже, казалось бы, невозможное) в произведении создается с помощью законов природы, научных открытий или технических изобретений, в принципе не противоречащих естественнонаучным воззрениям, существующим в то время, когда создавалось научно-фантастическое произведение". И второе: "Фэнтези... — вид литературы фантастической (или литературы о необычайном), использующей вторичную художественную условность, основанную на сюжетной посылке (допущении) иррационального характера. Это допущение не имеет 'логической' мотивации в тексте, предполагает существование фактов и явле-

ний, не поддающихся рациональному объяснению". Разумеется, автор отмечает, что между НФ и фэнтези существует тесная взаимосвязь, подкрепленная множеством переходных форм, и в одном произведении переплетаются черты обоих видов литературы, каждый из которых есть полноправный способ смотреть на мир. Однако важно, что В. Гопман сразу определяет оба полюса; с его изящными формулировками приятно иметь дело в дальнейшем, отмечая признаки обоих видов в произведениях того или иного автора.

Для НФ, конечно, важны традиции реалистической литературы (поскольку будущее здесь конструируется как реальный мир, просто *завтрашний*), но плюс к ней — знания о последних достижениях технического прогресса, ощущение внутренней логики открытий и возможностей, которые они теоретически могут предоставить. Для фэнтези важнее традиция чисто *словесная, художественная, образная*. Применительно к английским авторам это прежде всего архаический миф, фольклорная волшебная сказка, цикл легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола и готический роман.

Книга замечательна огромным количеством разнообразных литературных параллелей, экскурсов в историю, информацией о современном состоянии английской литературы — словом, всем тем, что неизменно интересно, но на что у непрофессионала никогда не хватает жизни. Быть может, собратья по профессии пожелали бы, чтобы Владимир Гопман в своем исследовании затронул вопрос о фантастическом реализме в английской литературе (есть ли он там?) и соотнес бы его с НФ и фэнтези. Однако автор, как известно, хозяин-барин, и никто не волен предписывать ему сферу интереса и угол зрения.

Словом, Владимир Гопман явно разделяет мнение Брайана Олдисса, что "научная фантастика — самая современная литература. Секрет ее притягательности прост: она говорит о том, что происходит с миром сейчас". Что ж, думается, у него есть множество единомышленников. И эта книга, конечно, для них.

Наталья Малиновская
Г*ранат и соловей*[1]

От редакции

В нашем журнале спокон веку существует рубрика " Трибуна переводчика", в которой мы решаем наши цеховые проблемы. Теперь к ней присоединится еще одна, в ее названии слово "перевод" фигурирует тоже — "Слагаемые перевода". Непосредственно к литературному переводу, к переводу как ремеслу, она, казалось бы, отношения — прямого, во всяком случае, — не имеет. И тем не менее роль того, о чем она рассказывает, в нашей профессии огромна и совершенно незаменима.

В этой рубрике журнал предполагает печатать то, что, говоря словами Натальи Малиновской, автора первого материала "Слагаемых перевода", "переводчику очень нужно, но никогда не попадает в кадр. Это не лингвистические частности, не словарные и прочие находки, а то чувство, без которого нет смысла подступать к тексту". Как бы мы определили это чувство? Наверно, любовью к своей профессии, к "стране изучаемого языка". И даже если язык, с которого мы переводим, давно изучен, даже если и с родным языком тоже все обстоит не так уж плохо, — без этих "слагаемых" по-настоящему хороший переводчик "не сложится" никогда, а то, ради чего мы переводим, не попадет в кадр.

В Испании не говорят "жители", "обитатели" или "население". Даже официально, а не так давно и в статистических справочниках, употреблялось странно домашнее vecinos — соседи. И неважно, идет речь о маленьком селении или большом городе и сколько этих "соседей" — полторы сотни или полтора миллиона. Ощущение города как единого многосемейного дома — своего дома — примета всего Средиземноморья, наследие античности. Южные города настолько пропитаны историей, культурой и стариной, что современный испанец и поныне считает родной город своим государством, своей республикой и участвует в его управлении не просто из любви к отеческим местам, но по велению долга, безотчетно следуя традиции, завещанной афинянами и римлянами. (И

© Наталья Малиновская, 2013

1. Глава из книги Натальи Малиновской о литературе и искусстве Испании "Тема с вариациями", которая выйдет в конце года в издательстве "Центр книги Рудомино".

это при полном отсутствии того, что у нас именуется соборностью, такое отношение к своей малой родине в Испании – всегда личный выбор.)

У каждого города здесь не только особая архитектура, но и свои любимые цветы, праздники, песни, даже каллиграфия. Слепяще белые или разноцветные фасады андалузских городков так же не похожи на кремовые, с тисненым орнаментом стены кастильской Сеговии, как и жители этих мест. Город – родовое гнездо. И все – начиная с колокольни и заканчивая расписной тарелкой – это его герб, которым гордятся и за которым ревниво следят. Весной, когда готовятся к Пасхе, всюду белят и красят, точь-в-точь как когда-то белили хатки (хочется сказать: “у нас на Украине”, да ведь уже не “у нас”). И города расцветают словно яблоневые сады по весне. Испанский поэт Хуан Рамон Хименес с гордостью и нежностью вспоминал севильского старика, который, всякий раз собираясь красить дом, осведомлялся у соседа напротив, какой цвет тому приятен: “Тебе смотреть, ты и выбирай...” В этом сюжете в равной мере важны и оказанное соседу уважение, и готовность с радостью исполнить ежегодный долг перед домом и городом – так у Экзюпери из вежливости к мирозданию подметают свою планету.

Испанские города, богатые и небогатые, празднично-нарядны и при этом всегда аристократичны – иначе говоря, здесь в каждом пустяке ощутим стародавний культ сдержанности, непреложный для рыцаря. Вот вы идете по тихой улице вдоль глухой беленой стены, изредка украшенной вмурованной на высоте глаз, чаще всего вблизи от входа в дом, большой расписной тарелкой, а за дверью – отдельный мир, в который с улицы не заглянуть, где идет чья-то неведомая жизнь – и неведомой она останется. Здесь невозможны ни окно с отдернутой занавеской, ни английская низкая изгородь – условный знак и не более того, – ни еще недавно так привычный нам прозрачный штакетник, а уж лавочка, вынесенная к калитке, покажется здесь такой же дикостью, как простыня, развешенная поперек улицы (обычный пейзаж итальянского неореализма, столь родственный нашим национальным привычкам[1]). Тот, кто отважился бы так выве-

1. Попробуйте глазами испанца взглянуть на обыкновенную среди родных осин деревенскую сценку, характерную и для дачного поселка (прежних лет, еще без трехметровых заборов). Итак, семейный скандал в разгаре. На кульминации протагонистка, воздевая руки, выскакивает за калитку с воплем: “Люди добрые!” и надрывно, с причитаниями и завываниями, на всю ивановскую излагает суть сюжета. Прочие действующие лица, втянутые в мизансцену, 1) пытаются уволочь протагонистку домой, 2) вяло опроверга-

сить белье в Гранаде, немедленно прослыл бы городским сумасшедшим. (Белье, недоступное ничьему взору, сушится на верхней, закрытой от постороннего взора веранде.)

А улица — по сути дела, две высокие стены — при этом не кажется ни угрюмой, ни нелюдимой. Потому что это на радость вам, случайному прохожему, хозяин долго выбирал настенную тарелку и белил стену, на которую никому и в голову не придет водрузить привычную нашим глазам громоздкую, похожую на надгробную плиту, мемориальную доску. В Андалузии они легкие, красочные, радостные и делаются совершенно иначе — из керамики. Испанский вариант памятной доски называется *асулехо* — "синий изразец". И нельзя не остановиться у той гранадской стены, которую украшает такой памятный знак. К примеру, этот: матовый теплый квадрат сине-желтых изразцов, по краю — гирлянда зеленеющих веток, две птахи, светлый фон, чуть размытый голубизной, и несколько строк изящной старинной вязью: *Здесь жил и вырастил свой райский сад Сото де Рохас.*

Это памятная керамика в честь умершего почти пять веков назад испанского поэта-мистика, и появилась она усилиями молодого и тогда еще безвестного гранадского студента Федерико Гарсиа Лорки. Он и его друзья отыскали художников, чтоб те нарисовали эскизы "в исконно гранадской мане-

ют героиню или 3) обреченно ждут завершающей коды. Селяне внемлют. Хотя сцена привычна и скучновата, некое разнообразие в унылый дачный быт она все же вносит.

А для испанца (даже теперешнего, а не иных времен) все вышеописанное "не может быть, потому что этого не может быть никогда". Точнее — не должно быть, даже на грани или за гранью нервного срыва. Все происходит внутри — внутри человека, внутри семьи, внутри дома — и не рвется наружу: нет такой душевной потребности, а есть прямо противоположная. Накал же чувств, будьте уверены, нашему не уступит.

Понятно, что с такой душевной организацией, с такой акцентированной границей между собой и миром, белье посреди улицы не вешают.

Вот через такие мелочи понимаешь, насколько мы разные, насколько полярны наши обыкновения, впитанные с материнским молоком. И тем неожиданнее и драгоценнее на этом фоне наше с испанцами внутреннее родство — еще какое! Может быть, из этой горючей смеси сходств и несходств рождается наша с Испанией вековая далекая любовь?

ре", уговорили заняться этим заказом владельца керамической мастерской и его рабочих, нашли, наконец, каменщиков – и все делалось весело, от души и, естественно, бесплатно, "ради славы Гранады"... На открытии не было ни мэра, ни речей – только стихи и музыка. (Оказывается, и вешать мемориальные доски можно по-человечески, без пафоса и официоза, и сами они могут быть живой, сердечной памятью, а не твердокаменным отданием долга.)

Не все, задуманное тогда "закоулочниками" – компанией Лорки, – осуществилось и не все сделанное уцелело. Жаль, потому что сегодня, бродя по узким гранадским улочкам, можно было бы увидеть вьюнок, оплетающий *асулехо* в память Готье и Мериме, Дебюсси и Глинки – в память тех, кто "отыскал и полюбил Гранаду и о ком наш город должен благодарно помнить"...

К слову сказать, из наших соотечественников не только Глинка и Боткин "отыскали и полюбили Гранаду". Русских издавна притягивала Испания – в ней ощущали родную непохожесть на Европу.

Корни этого родства – в русской и в испанской пограничности, полувосточности. А еще – в общности исторического опыта: жизнь под долгим игом достается далеко не всякой нации, а оба наших народа узнали эту странную жизнь, когда война столетиями идет своим чередом, а жизнь – своим и то поневоле смыкается с войной, то словно бы о ней забывает, устанавливая зыбкое согласие, скрепляемое соглашениями (торговыми и даже военными), а заодно и семейными узами.

Мифы, наш и испанский, о национальном характере, наделенном редкостным героизмом, тоже схожи и рождены, конечно, этим историческим опытом. Однако когда иго свергают не пять и не двадцать лет, а в сорок раз дольше (именно столько длилась испанская реконкиста), в конце концов приходится признать устами Ортеги-и-Гассета: "Будь у нас в крови героический импульс, мы бы не отвоевывали свою землю восемь веков". Но для того, чтобы эта мысль посмела возникнуть, потребен не только философ, но и масштабное историческое потрясение – оно наши страны не обошло. Не всякой стране доводится быть великой империей, затем колоссом на глиняных ногах, затем европейской окраиной, жалкой, кучей страной третьего мира с ворохом национальных мифов, доставшихся в наследство...

Но родство родством, а все-таки не оно играло первую скрипку в русской любви к Испании: для наших Дон Кихотов из века в век Испания была "далекой любовью", и редко кому

из ее паладинов выпадало счастье встречи. А если и выпадало, последствия могли быть непредсказуемы и поражали воображение. Такова история русского князя, который единожды оказавшись в Гранаде, не смог с ней расстаться. Мало-помалу разорившись, этот русский князь (его имя, неподвластное испанской артикуляции, забылось) стал нищенствовать в Альгамбре, где, случалось, позировал как экзотическая модель местным и заезжим живописцам — в галерее сохранились его портреты, под одним из них табличка с разъяснением "Портрет гранадского дервиша".

Трое русских художников — Михайлов, Нотбек и Евграф Сорокин — так долго прожили в Гранаде и настолько сроднились с ней, что стали членами местного литературно-художественного общества "Гранадские струны". Сын гранадского гитариста Родригеса Мурсиано, друга Михаила Ивановича Глинки, завидев их на набережной Дарро, объяснял друзьям: "Эта русская троица органически не способна существовать вдали от Альгамбры"... Я их понимаю, так же как и нищего князя, — Гранада, осененная Альгамброй, привораживает навеки. (Помню, как всю неделю, единственную за жизнь неделю в Гранаде, на утренний вопрос испанских приятелей "Куда вы сегодня?" следовал неизменный ответ: "В Альгамбру". А далее неизбежное продолжение: "А гробница Католической четы?" — "Да ну ее, эту Католическую чету! И Карлоса Пятого с его Лужниками[1]".)

Что же за гений места у Альгамбры, почему, единожды ступивши на этот красный холм, готов там остаться навеки? Почему можно полдня глядеть на пламенеющий куст осенней хурмы в не самом знаменитом дворцовом дворике или просто, уставившись в стену, день напролет следить за игрой теней на вылепленных узорах? Чем сделано это чудо? Солнце, вода, легкий ветерок в листьях, рукодельная стена — и больше ничего. Больше ничего не нужно. Разве что время — чтобы вглядеться. Но чтобы чудо произошло, чтоб выстроилась Альгамбра, человеку должно прийти в голову не торжествовать над природой, возводя нечто грандиозное и победительное, а услышать ее музыку — и преклониться, и догадаться запечатлеть ее завораживающие темы с вариациями... А ведь есть еще ароматы, долетающие из садов Хенералифе (где "ночь лимоном и лавром пахнет"), и цветы — сего-

1. Так неделикатно был поименован дворец (к счастью, не завершенный) Карла Пятого, с которым он вторгся в Альгамбру, что, заметим, еще непростительнее, чем возведение Дворца съездов в Кремле.

дня распускаются эти, завтра — те, и все это — неповторимо, и со всем надо сжиться и совладать, и сохранить — не растерять, не нарушить.

Повсюду в городе, в его домах с садами, на узких улочках и площадях с фонтанами — эхо Альгамбры: в узорах изразцовых тарелок, шелесте листьев, плеске воды, цветочных горшках на стенах. Мы, привычные к широким и могучим рекам[1], к обилию воды и не знающие ей цены, воспринимаем фонтаны скорее как атрибут курортного пейзажа, оперный атрибут ("сцена у фонтана") или городское помпезное украшение версальского происхождения. И в русских стихах, где сыщется все что угодно — от ручья до реки, от озера до пруда, фонтанов — раз, два, три и обчелся[2]. Прочие — переводные. А самый первый — пушкинский, бахчисарайский, в котором, кажется, и обитает поэзия, — вспомним, что это в оригинале? Да ровным счетом ничего: "из ржавой трубки капала вода".

Вот и испанские фонтаны совсем не монументальны, они обыденны и привычны глазу, как нам в недавние времена *колонки* в дачной местности (боюсь, уже пора объяснять реалию). И попутно спрошу: как быть переводчику с испанским фонтаном — всегда задушевным, — неважно, где он расположился, в домашнем садике или на городской площади?[3] С тем, что только называется так пышно — "фонтан", а на самом деле — родник, источник? Казалось бы, так — источником — и переводи, но ведь в Испании это городская реалия, а у нас родник тянет за собой совсем другой пейзаж.

Так вот, в Альгамбре — и больше нигде — вода становится музыкальным инструментом. И ровно столько же, сколько,

1. Помню разговор с испанцами на набережной Дарро. Вот, объясняют нам, это наша река, та самая, про которую "Твои две реки, Гранада..." Мы, заглядывая за каменный парапет, обнаруживаем где-то внизу, среди зелени неприметный ручеек шириной в полтора шага: "Это река?!" — "А то что же?" В ответ я начинаю повествовать про Амур, возле которого выросла, про его немыслимую ширь и остров посередине, чем вгоняю испанцев в ступор.
— И где это — то, что называется Амор (любовь то есть)?
— Далеко, почти там, где Китай.
— Надо же — Амор... И река — как океан... Какое же должно быть отношение к любви, чтоб так назвать великую реку!
Я преисполняюсь гордости — так, как будто сама придумала назвать Амур Амуром, и восторгом — потому что в этой фразе мне чудится истинно испанский образ чувств и мыслей.
2. Говорю только о классике — там, кроме Пушкина, только Тютчев и Бродский.
3. Понятно, что в Испании (и прежде всего в столице) нет недостатка в вариациях на версальскую тему, но при слове "фонтан" мадридская "Кибела на колеснице" или гранадская Изабелла с Колумбом скорее вспомнятся иностранцу, чем испанцу. Для него фонтан менее всего помпезен.

не отрываясь, можно следить за игрой теней на стенах, ровно столько же можно слушать и альгамбрийский говор воды. Он повсюду. Пройдешь десять шагов — и уже другая мелодия, другой голос, другие обертона. Еще два шага — и все иначе. Нужна только тишина, чтобы услышать, а еще ветерок — чтоб именно так, как нужно, и тогда, когда нужно, зашелестели листья. Сколько же вариаций прозвучало здесь за века, и как неисчерпаема оказалась тема... А, казалось бы, всего лишь наклонный желоб, половинка распиленной трубы, поднятая на метр, — вместо перил у лесенки, ведущей из одного сада в другой, — и струйка воды, льющаяся по желобу и плещущая о камень. Или крохотный фонтан с еле заметной пляшущей струйкой — и со своей и только своей россыпью мелодий.

Тайна в Гранаде ненавязчива и тиха, даже неприметна. Она здесь у себя дома и ей уютно в любовной обыденности этого города.

Вот вам дали адрес, к примеру, в старой Гранаде, а лучше всего в ее легендарном квартале — Альбайсине. Вы вчитываетесь — и не находите номера дома ни на бумажке, ни на доме (то есть на той самой белокаменной глухой стене) — нет там привычной остальному миру жестянки с номером дома и названием улицы. Да и улицы там другие — мало где они так стремительно и бесстрашно лезут в гору. Альбайсин выстроен маврами на скалах, и крутизна сказывается даже в названиях узких, запутанных улиц, которые прежде были тропами. По "Козьей тропе" действительно впору ходить лишь горцам, особенно в дождь, нужны сноровка и годная обувь. И сами дома, как путники, тоже взбираются на гору или спускаются с кручи — потому что им невозможно уместиться на плоскости — негде, нет места. И тогда дом вереницей комнат и крохотных садов, лепится к скале — как лесенка. Сколько комнат — четыре, восемь или больше — столько и этажей. Комнаты невелики, и все разного размера, который диктует пространство, отвоеванное у скалы. Здешний дом — не вертикаль, не башня, не архитектурная этажерка. Из нижней, полуподвальной комнаты без окон (там живут в летний зной) — выход на лесенку. Несколько шагов вверх — и ты на крыше комнаты, где только что был, в крохотном садике, иногда с фонтаном, и всегда с гранатовым деревцем. А сбоку — дверь в следующую комнату, этажом выше первой. (И ниоткуда не видно соседей, и вас никому не видно — ниоткуда и никогда.) Вот так, ступеньками и садиками, поднимаешься к самой верхней комнате со стеклянным потолком. Здесь, наверху, живут зимой, греясь

солнечным теплом, ибо в домах не топят, а над Гранадой, напомню, высятся вечно снежные вершины. И стоит ноябрьскому солнцу скрыться с глаз, как лето (по нашим понятиям) сменяется не особенно ранней осенью и пронизывает холод.

Гранадский дом — словно аул в миниатюре. И в этой замкнутости неизгладимая печать Востока.

Это устройство жизни, такое непохожее на наше, многое объяснит и в испанском характере и в испанском искусстве. Пока что мы смотрели снаружи, а теперь попробуем догадаться о том, как живется в таком непохожем на наш городе, как там выстраивается душа. И чтобы в итоге стал чуть-чуть яснее испанский образ чувств, приглядимся к тому, что нагляднее всего — к танцу: пусть пластика заставит почувствовать суть — и разницу.

Дело в том, что в танце мы (да и вместе с нами вся остальная Европа) абсолютно другие — у нас другая природа жеста, другой рисунок движения, другая геометрия души. И пространство танца другое, ибо задано другим природным пространством. Нам подавай степь без конца и края, чтоб водить по ней текучие, как река, хороводы, то стремительно, то плавно — неслышным парящим шагом "Березки", то сплетая, то расплетая, как косу, узор. Нам нужен неоглядный простор, чтобы закинуть руку за голову и проскакать полстраны вприсядку — вперед и дальше, дальше, дальше. Не случайно в России этот размах народного танца спустя века прекрасно срифмовался с балетной классикой, не зря же по этой части мы в свое время были впереди планеты всей.

Да, конечно, опера и балет — это имперские жанры и пришлись они нам как раз впору в самые разные времена, но не только в этом дело. А в совпадении с нашим изначальным лихим, требующим простора внутренним импульсом, в балете умело обузданным и выпестованным терпеливым трудом. И потому балет оказался таким родным — и здесь подайте нам пространство без конца, края и предела, пространство, открытое и вширь, и ввысь. Короче говоря, подайте сцену Большого театра, иначе не будет ни волны, ни полета.

Испанцу своя земля изначально не дает простора. Азарта же и там через край, да размахнуться негде. Что же дано испанцу? Камень, скала, выжженная земля, изредка долина, как оазис в пустыне. А простор там существует в другом измерении — это океан, и он не всякому по плечу, разве что Колумбу. Только в Галисии иначе — там и леса, и дожди, и туманы (оттого и песни там другие), но сейчас я говорю об Андалузии, исконной, изначальной земле испанской песни и по-

эзии, а еще — о той земле, откуда отплывали в Америку каравеллы.

У андалузца, если он не бродяга, есть дом, прилепившийся к скале (о нем уже было рассказано), а у андалузских цыган пространство и того меньше — их дома-пещеры вырублены в горах. Вот они — ортегианские обстоятельства (напомню формулировку: "я есть я плюс мои обстоятельства"), других не дано, и в них творится искусство.

Здесь рождается танец, на этом крохотном — меньше не бывает — пространстве: шаг вперед, два назад — и, оказывается, достаточно. Не разбег, не размах, а концентрация, предельная концентрация, сгущение до предела; лазерный палящий луч, а не рассеянный призрачный свет, тающий в наших бескрайних далях. Вот еще один важный природный параметр отличия: наши размытые туманом силуэты, полуразвеянные ветрами, и испанский разящий четкий контур — тот, что Лорка считал стержнем эстетики Средиземноморья: "Испания — страна твердых линий. Каждый штрих беспощадно точен. Испанцу нужен четкий контур и зримый облик тайны, форма и ощущение". (Именно он, беспощадно четкий контур в ослепительном свете, завораживает у Дали.)

Это наша неуемная сила (чреватая, увы, известно каким бунтом) требует шири, размаха и мирового масштаба, а испанской энергии, обжигающему лазерному лучу, нужно другое — высшая мера напряженности, intensidad. Трудное для переводчика слово — может быть, именно потому, что психологическая основа концентрации, сосредоточенности и выявления индивидуальности у нас другая. И ощутить эту предельную испанскую напряженность легче всего опять-таки в жесте, танце.

Попробуйте это почувствовать на собственной, так сказать, шкуре. В свое время эти простые вещи, первые подступы к испанскому танцу мне показала Виолетта Гонсалес (ставшая "русской испанкой", эмигрировав еще совсем юной, в 1937 году), замечательный хореограф, знаток своего дела и вообще человек большого таланта и глубокой культуры. Прошу прощения у знатоков за хореографическое отступление, но все же давайте попробуем[1].

1. Особо заинтересованных в предмете отсылаю к полезной книге, давно ставшей библиографической редкостью и настоятельно требующей переиздания вследствие хотя бы повального увлечения танцем фламенко: Альфонсо Пуиг Кларамунт, Флора Альбайсин. Искусство танца фламенко. — М.: Искусство, 1984.
Изданию можно доверять — консультантом переводчика Н. Ю. Ванханен была знаток своего дела Виолетта Гонсалес.

Пожалуйста, встаньте (лучше перед зеркалом, которое беспощадно выявляет ошибки). Вытяните руку (сразу с двумя не справитесь) в сторону под прямым углом к торсу, не нарушая общей с ним плоскости — ни сантиметра ни назад, ни вперед. Ладонь вертикальна. Мизинец и четвертый палец прижаты к ладони, указательный и средний прижаты друг к другу и вытянуты, большой палец отогнут — и образует с вертикальным и средним тупой (на худой конец, прямой угол). Плоскость ладони, общая с торсом, должна сохраняться неуклонно, ладонь прямая. Получилась струна? И перпендикуляры не съехали? Тогда держите, сколько можете, исполняя всю положенную геометрию и все возможные прямые углы. Эта исходная эстетика сродни древнеегипетской — вспомните их позы, фигуры с барельефов. И не бойтесь — в итоге, в танце, никаких прямых углов не останется, движение и умение уберут их в подтекст, но стержень останется. Но сначала попробуйте выучить эти гаммы, достичь хотя бы сносной геометрии и удержать ее, допустим, на пять минут — и вы ощутите, как напряженность, нарастая и сдерживаясь, уходит внутрь и только снаружи кажется недвижностью, полным штилем.

Достигнув этого физиологического сосредоточения, вы почувствуете, как каждая клеточка тела становится струной, натягивается, как тетива, рвущаяся в полет. Но это не тот плавный полет лебединых крыл, к которому природно склонен славянский мир, — снова вспомните реки наших хороводов и руки — ветви? крылья? — Анны Павловой и Улановой. В испанском танце рука не гнется ивовой веткой на ветру, не катит волной, а падает, как сокол на добычу, разит, как молния, как клинок. Рисунок южноиспанского танца стремителен и четок. Геометрия его остра, как лезвие.

Теперь — движение. Попробуйте сначала медленно, а потом, быстрее и быстрее, но главное, выдерживая всю прямоугольную геометрию и предельную напряженность, довести скорость взмаха уже обеих, поначалу вниз опущенных рук до молниеносного всплеска — вверх. И замрите вытянутой струной — руки над головой и пальцы (указательный и средний) устремлены в зенит. И вот в эту замершую секунду, перед тем, как рука забудет, что была стрелой и обернется распускающимся — и тут же опадающим — цветком, запомните свои ощущения.

Почувствуйте: этот жест — не сумма движений рук, ног, головы и всего остального, не навык, отработанный долгой и суровой школой, хотя во всяком деле есть свое ремесло (которому надо учиться, выучиться и довести до бле-

ска)[1]. Этот жест исходит изнутри, из каких-то неведомых, неощутимых в обыденности глубин — оттуда, где спрятаны "корни крика"[2], по выражению Лорки. Исходит из самых глубин и устремляется ввысь и снова низвергается вглубь — вот она, искомая вертикаль, молнией пронзающая и тело плясуньи, и сценическое пространство. Вертикаль, диктующая совсем другую эстетику, почти не соприкасающуюся с нашей эстетикой горизонтали, другую пластику, другой ритм, другое дыхание.

Почувствуйте это, еще раз вернувшись к умирающему лебедю — к мягкому рисунку стелющейся в ритме прибоя горизонтали. Стрела и волна — вот наша природная разница. Что не мешает время от времени стреле лететь вдаль, а волне — вздыматься стеной девятого вала — так и только так, контрапунктом, контрастом сотворяется гармония.

Испанский танец разом отмечен и устремленностью к выси, и тягой к пропасти. В цветаевских строчках:

> ...тягою к пропасти
> измеряют уровень гор, —

случись им быть переведенными достойным образом, Испания неминуемо услышит родное[3]. Высь — и пропасть, вот вертикаль испанского танца, а предельную ее напряженность, удерживая баланс, рождают разнонаправленные — разрывающие — силы.

Всем сказанным я бы начинала самый первый урок в школе с испанским языком, будь то урок истории, страноведения, литературы или языка. Даже если у вас и в мыслях нет учиться танцевать, а хочется лишь в первом приближении выучить язык всего только для общения, попробуйте проделать вышеописанное и транспонировать на произношение. Перестаньте на латиноамериканский манер катать во рту переваренную картошку и вместо чистого "а", "о", "и" выдавать

1. Повторяю эту подзабытую прописную истину только потому, что ежедневно сталкиваешься с *креативом*, который незамедлительно выдается даже не дилетантом — невеждой — на пустом месте, по любому запросу и непременно за большие деньги. Словарное же нововведение принимаю: *креатив* совершенно необходим для обозначения своей реалии — в отличие от *творчества*, которое уже только одними словесными корнями предоставляет человеку возможность эволюционировать — от *твари* до *творца*.
2. Ф. Гарсиа Лорка. Поэзия. Проза. Театр. — М.: Институт ДИ-ДИК–АСТ, 2000. Кровавая свадьба. — С. 454.
3. Сколько таких перекличек у Лорки и Цветаевой — и потому ее немногие переводы из Лорки останутся камертоном для его переводчиков на все времена.

смазанную помесь гласных. Очень рекомендую осваивающим азы языка приучить свой расхлябанный голосовой аппарат к этому напряжению, дающему чистый звук, редкий по нынешним временам и среди носителей языка, но тем более реликтово драгоценный.

И еще одна обязательная черта танца. Вглядитесь в лицо танцора и представьте на минуту, что он вдруг улыбнется — так, как улыбаются — торжествующе, победно, одолев трудности (к примеру, прокрутив тридцать два фуэте), — танцоры других широт. В испанском танце этого не может быть никогда — лицо танцора или плясуньи неизменно остается строгим, суровым, сосредоточенным, отрешенным и от зрителей, и от партнера, и от всего на свете. И мало того, на этом лице — почти страданье, тень мученичества, обреченности, завороженности тайной, печать неведомого горя. И взгляд, устремленный в себя и силящийся понять природу тоски — тайну тех "черных звуков", из которых, по слову Лорки, растет главное в искусстве[1]. Испанский танец отмечен печатью боли и одиночества. И в то же время он говорит о родстве — о всечеловеческом родстве в боли. И о жажде неведомой судьбы — любой ценой:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть залог!

Наверно, только испанский танец умеет сказать об этом.

Понятно, что другая (наша, славянская) танцевальная общность, вовлечение зрителя в хоровод, рука, протянутая другому, — проще и радостней, естественно рождает улыбку и зовет к душевной открытости. И все же насколько глубже и пронзительнее то единство, к которому нас приобщает одинокий испанский танец...

И вот теперь, в самом первом приближении почувствовав жизнь, скрытую белыми стенами Альбайсина, продолжим разглядывать стены дома изнутри и снаружи.

Называется такой дом с садами — *кармен*. В Альбайсине у каждого дома есть имя, которое дает ему хозяин — оно и значится в адресе. Его вы пишете на конверте и его же почтальон прочтет на вмурованном в стену у входной двери изразце

1. Федерико Гарсиа Лорка. Самая печальная радость... — М.: Прогресс, 1987. — С. 112.

особой формы (он тоже, как и всякий другой изразец, включая мемориальные доски, называется *асулехо*). На верхнем полукружьи изразцовой таблички непременно будет гранадский символ — надтреснутый плод граната с виднеющимися зернышками и ссохшимся бутоном. И синяя надпись. К примеру такая: *CARMEN DEL MORO — ДОМ МАВРА*[1]. Или *CARMEN DEL ALBA — ДОМ ЗАРИ*. Или любая другая, выбранная тем, кто построил здесь себе жилище в незапамятные времена. Или всего только в начале прошлого века. Так, Домом Зари в память о первых строках "Дон Кихота" назвал свое пристанище старый гранадский писатель и уместил в одном из садиков рядом с фонтаном и гранатовым деревцем махонький самодельный памятник бессмертному Рыцарю и его верному Санчо.

Асулехо с именем дома заказывают в керамической мастерской обычно вместе с домашней посудой, также украшенной именем дома и все теми же традиционными гранадскими символами — *гранатом* или *соловьем* в традиционном сине-зеленом орнаменте. Соловьиный мотив связан с названием пересекающей Гранаду речной теснины, называемой Вальпараисо — райская долина, пристанище соловьев.

1. Дом Мавра действительно существовал — но не в Гранаде. И у имени этого подмосковного дома своя история.
По дороге в Дом Зари гранадские друзья спросили нас, как бы мы назвали свой дом, если б жили в Альбайсине, и мы, почти не задумавшись, хором ответили: "Carmen del Moro". (Мавром — Маврюшей — звали нашего мохнатого черного песика). А спустя пару месяцев, уже дома, получили подарок — настоящее гранадское асулехо с именем наших владений.

При гончарной мастерской — лавочка, торгующая керамикой. Стены сплошь увешаны тарелками — от огромных, для наружных стен, до крохотных, меньше блюдца. И всюду простой и вольный, когда изысканный, а когда и почти детский, синий или сизоватый рисунок: гирлянда, цветочный орнамент, а в центре — гранат или соловей. И еще одно любимое украшение комнаты или сада — изразцовые таблички с изречениями, стихами (иногда собственными), пословицами и мудрыми мыслями. Они здесь тоже своеобразны:

No corras tanto que el tiempo no acaba.
Не спеши, ибо время не кончается.

И правда, время в Гранаде иное. Нескончаемое. Поэтому и вчера, и сегодня, и триста лет назад здесь рисуют все ту же танцующую птицу, что впервые замерла, приподняв лапку, на тарелке девять веков назад. И в Альбайсине из века в век выкладывают из цветной гальки узкий тротуар, чередуя два вечных рисунка — гранат и соловей. Выкладывают любовно, не торопясь — всю ту неделю в Гранаде на улочке, где жили, по утрам мы видели человека, занятого своим неспешным делом — каменщика? художника? — и рядом с ним у стены стояли корзинки с разноцветной галькой. Он брал камешек, придирчиво разглядывал: годится ли? И бросал назад в корзину или пускал в дело. Только так и надо работать, потому что “время не кончается”.

И оттого здесь, куда ни глянь, ни от чего нельзя оторвать глаз: опустишь глаза — под ногами галечный ковер, поднимешь — асулехо на сахарно-белой, голубой или нежно-зеленой известняковой стене. И ни с чем не спутаешь сизоватую дымку этих тарелок с надтреснутым гранатом, который за века никому не наскучил. Их делают только в этом гранадском монастыре: мглистый мягкий оттенок будто бы дает местная глина с примесью никеля (не знаю, так ли оно на самом деле или это мгновенная фантазия монаха-керамиста). Здесь, как и века назад, керамику продают те же, кто ее делает.

Иной край, иные города — и все в них иное. Другое солнце, другой воздух — и другие узоры, другие тона, другие орнаменты. Уже не гранат и соловей, а олень, аист или агава. Севернее — совсем другая геометрия: здесь в орнамент вплетаются провансальские ритмы. И все реже встретишь в круговой прогалине перекрестья разноцветных линий звезду — шести или восьмиконечную (да какая в конце концов разница, это звезда Давида или Вифлеемская, если теми же звездами, внутри которых — все тот же надтреснутый гранат, по всей Андалузии украшают церковные стены, а не только тарелки).

Невдалеке от Толедо — знаменитая керамика Талаверы с ее скупым (в отличие от андалузского), словно воздушным орнаментом, в котором запечатлены желтые, сизые и охристые краски Ла Манчи, родины Дон Кихота. Это кастильская классика жанра.

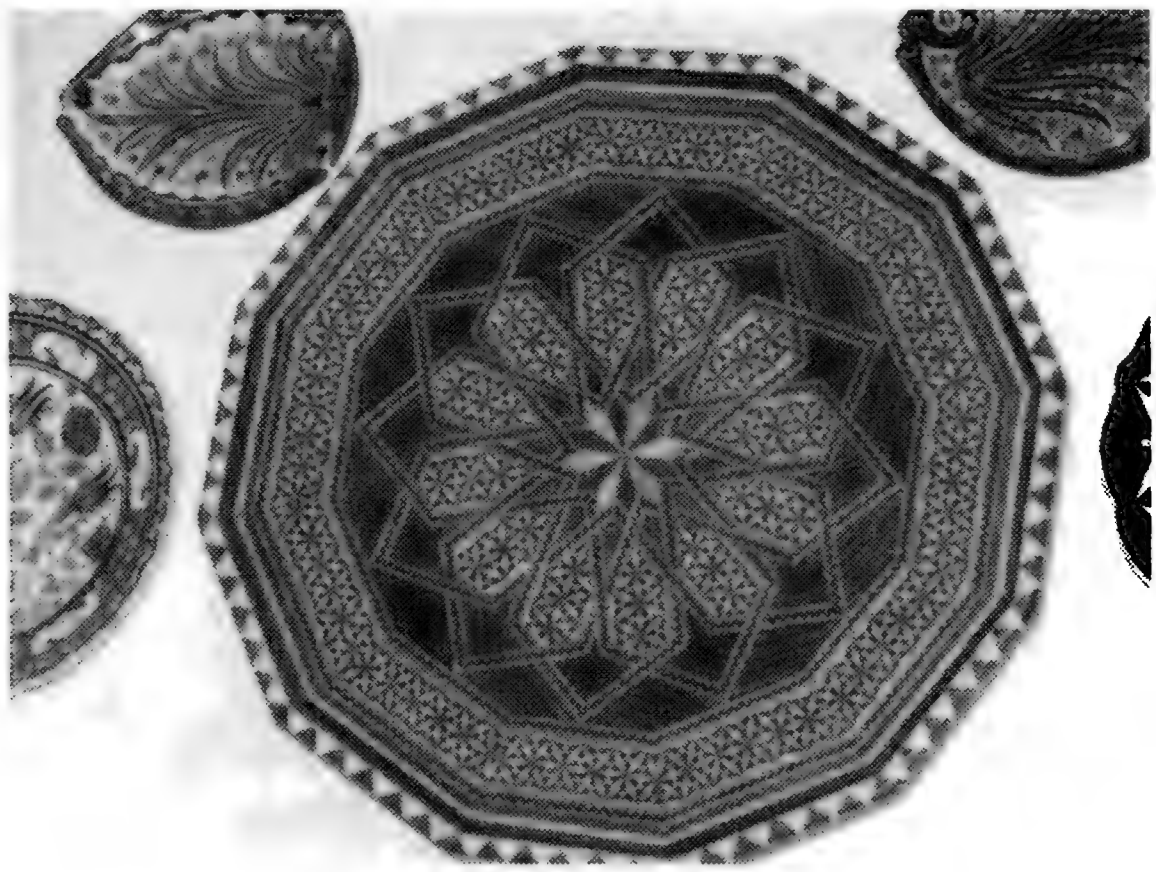
По краю тарелки, обрамляя однотонный синий рисунок — птаху, зайчонка, оленя или даже "сцену у фонтана", — круглится гирлянда, в которой, когда вам объяснят, что это (сами не догадаетесь), вы узнаете пальмовые ветви, листочек или бабочек. Так эти орнаменты и называются. Если в центре нарисованы люди — к примеру, парочка на мостике над речкой, или девушка под зонтиком, или тореро с быком, или всадник с ружьем — *бандолеро*, то по кругу чаще всего пускают "шторки" с кистями. На кувшинах еще, конечно, расцветают цветы (угадать какие, не удается), но чаще это разбросанные по фону помпоны и те же кисти, соединенные в гирлянду.

Загадочнее же всего вот такой рисунок на молочно-белой вазе: по центру располагается гербовый лев в обрамлении из скрученных свитков, две ниспадающие гирлянды из шторных кисточек висят на причудливо вьющихся веревочках по обе стороны центрального рисунка — за рамой, увенчанной крестом, над которым — в довершенье чуда — парит шляпа, к которой и приторочены веревочки. А в придачу, справа от львиного силуэта — загадочный чертеж устройства неведомого предназначения. Чистой воды сюрреализм, причем в строгом соответствии с декларированным в манифесте определе-

Наталья Малиновская. Гранат и соловей

нием![1] И ведь не удивлюсь, если этой загадке отыщется вполне разумное объяснение. И не огорчусь, если его не окажется.

На всю эту красоту можно поглядеть в Талавере — изразцовом городе, где абсолютно все — дома, сады, церкви, не говоря уже про разную всякую мелочь, — в изразцах: мягкая небесная синева и теплый желтый рисунок. Входите в церковь (фасад, понятно, изразцовый) и видите изразцовый алтарь, и святую воду берете из изразцовой чаши, а повсюду в изразцовом варианте сцены из Нового и Ветхого Завета. А хотите — можете полюбоваться изразцовой копией "Похорон графа Оргаса". Устанете — в сквере вас ожидает изразцовая скамья у изразцового фонтана, а в музее — вся история промысла, все местные и все дальние вариации: от мавританских геометрических лабиринтов и южных соцветий со звездами до голубоватых медальонов в возрожденческих завитушках с пасторальными, мифологическими или библейскими сценами.



Народные росписи неповторимы — они всегда разные и совсем друг на друга не похожи, хотя рождаются, казалось бы, рядом. И тем удивительнее вдруг замечать неожиданное сходство — то с украинским глечиком, то с узбекским блюдом: какое дальнее эхо! Но с Востоком есть хотя бы общий корень, а как быть с самостийным глечиком, так и остается загадкой.

Как бы ни были самобытны и непохожи все эти техники, орнаменты и мотивы — цветы, листья и птицы, — роднит их одно. Испанская керамика — не столовый сервиз. То, что она функциональна, — сто двадцать пятое дело, есть, в конце концов, можно и с ладони. И ходить можно по траве, камням и даже по асфальту — не за этим нужен галечный ковер. У искусства, которое красит будни, другой смысл. Расписные тарелки висят на стенах, им радуются, ими любуются, не зря же в Испании изразцам отдан целый город. Они на равных пра-

1. Напоминаю определение: "Соединение самым несусветным образом вещей, не имеющих друг к другу никакого касательства" (Реверди).

вах соседствуют с картинами и иконами, потому что в каждой расписной тарелке запечатлен образ мира, порой наивный, но всегда по-детски чистый. Именно они вносят в городское жилье дыхание природы, утреннюю голубизну, первую зелень и весенние голоса птиц.

Удивительна чистота традиций, соседствующих на небольшом, казалось бы, пространстве. Их невозможно спутать. Цветистые глиняные тарелки из Уэльвы, в бисерной россыпи краплака и кобальта, в живых отпечатках рук гончара, кажутся залетевшими сюда из другого, как ни удивительно — славянского мира. А ведь это тоже Андалузия, только приморская, рыбачья, овеянная ветрами Атлантики — отсюда отплывал Колумб.

Царственны толедские блюда с золотой и серебряной чеканкой, такой же, как на старинных латах. Именно так украшены латы графа Оргаса. Сейчас эту филигрань любят переносить на ювелирные изделия — рисунок миниатюрен и на кольце, серьге или медальоне он в самый раз, но ведь им покрывали — целиком! — латы не только рыцаря, но и коня. Сколько же месяцев день за днем чеканили это убранство! Так и только так надо работать — вот о чем скажет нам это искусство.

И о том же скажет андалузская *тарасеа* — орнаментальная инкрустация, выложенная мельчайшими кусочками дерева самых разных драгоценных пород с вкраплениями перламутра. Она годится для всего — от тарелок до мебели. А есть еще тисненная мелким золотым орнаментом кожа — такая же трудоемкая драгоценность.

И все это — лишь крохотная частица щедрого арабского наследия, которое, как ни удивительно, живо и сейчас. И не только в Андалузии — памятью о нем до сих пор напитан испанский воздух.

Арабоандалузская традиция — самый утонченный, самый изысканный пласт пиренейской культуры. Это мавританская Испания, а не только Греция с Римом, одарила Европу философией, поэзией, астрологией и другими полезными вещами, включая знание языков и переводы, и могла бы научить

спокойному отношению к другим воззрениям и верам. Не зря же испанские властители, начиная с Альфонса Мудрого, поначалу носили такой удивительный — в обратной исторической перспективе — титул "Король трех религий". Увы, недолго. До тех пор, пока Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский не возжелали обзавестись другим титулом — "Католическая чета" — и украситься Золотой Розой, наградой от Римского Папы за религиозное рвение. А для того, положив начало инквизиции и присягнув фанатизму, в тот самый год, когда отплывал Колумб, издали указ об изгнании евреев, арабов, морисков и выкрестов — по меньшей мере, трети своих подданных. "Тогда были обречены на гибель блистательная поэзия, астрономия, архитектура, равных которым не было в Европе", — скажет спустя четыре века Федерико Гарсиа Лорка. Все так, но ведь Альгамбра — осталась.

И не тратить же время, когда она рядом, на гробницу державного Католического семейства.

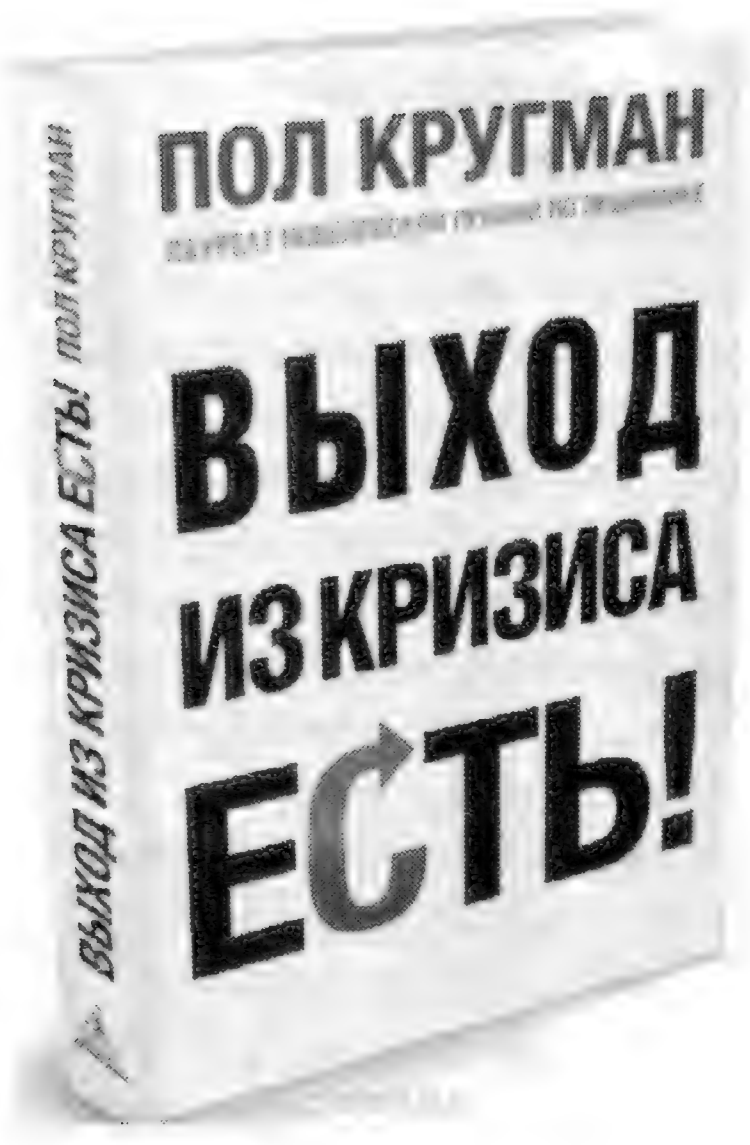
Анатолий Гелескул и Наталья Малиновская в доме-музее Ф. Гарсиа Лорки в Фуэнте Вакеросе в ноябре 1989 г.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

"Кризис" — одно из ключевых слов последних лет. И на вопрос о том, есть ли из него выход, уверенно отвечает лауреат Нобелевской премии по экономике (получивший ее в том самом "кризисном" 2008 году) **Пол Кругман**: в русском переводе его последняя (2012) книга называется *Выход из кризиса есть!* (перевод с англ. **Ю. Гольдберга**. — М.: Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2013. — 320 с.). Английское название, впрочем, имеет несколько иную модальность: *End this depression now!* — это не утверждение, а призыв, обращенный к тем, кто обладает реальными инструментами преодоления кризиса. И хотя действия, которые предлагает Кругман, непрофессионалам могут показаться парадоксальными, они, тем не менее, имеют глубокие теоретические обоснования в трудах классических экономистов.

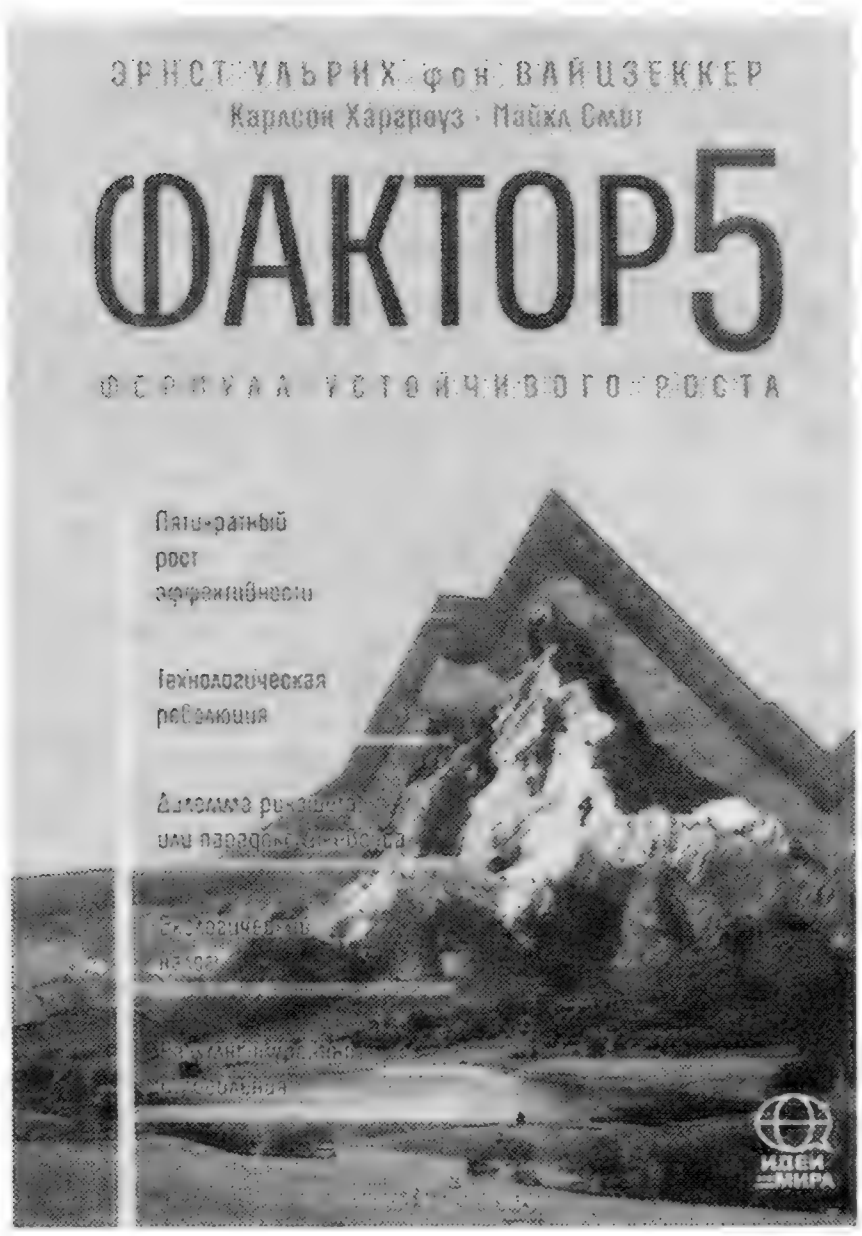
Естественным для борьбы с кризисом представляется стремление "затянуть пояса", введение режима экономии и сокращение государственных расходов. Кругман же, основываясь прежде всего на идеях Джона Кейнса, показывает, что такая стратегия ведет к стагнации и, соответственно, к углублению кризиса; для того же, чтобы дать толчок эффективному развитию, требуется как раз рост расходов. Понятно, что стимулирование экономики посредством увеличения денежной массы может быть чревато инфляционными процессами, однако привычные монетаристские рецепты ее сжатия проблему не решают, а усугубляют.



В рамках краткого обзора нет возможности обсудить собственно экономические аспекты проблемы кризиса; но ключевой аспект, который выделяет Кругман, выходит за рамки экономики и является скорее социально-психологическим — речь идет о гармонизации индивидуальных интересов отдельных участников рынка с

интересами общесистемными. *О чем идет речь?* – спрашивает Кругман. – *О простом факте: ваши расходы – это мои доходы, а мои расходы – ваши доходы. Разве это не очевидно? Оказывается, для многих, кто облечен властью, нет.* Если бы все – как отдельные индивиды, так и государство – руководствовались в своих действиях солидарной ответственностью, то каждый из них смело бы расходовал свои деньги, будучи уверенным в том, что они вернутся к нему в виде доходов. А вот экономия, бережливость и ограничение расходов во многом вызваны состоянием неуверенности в такого рода кругообороте – и динамичному развитию экономики это вовсе не способствует. То есть кризис – равно как и разруха – прежде всего в головах; но если рядового индивида невозможно принудить к тому, чтобы действовать солидарно со всем обществом, то "солидарный" шаг должны сделать власти – ведь в их силах создать новые рабочие места и стимулировать потребительский спрос.

Не только экономическое благосостояние отдельных стран, но и выживание всей цивилизации зависит от выработки нового мышления – прежде всего социального и экологического. *Принцип человеческой кооперации вместо борьбы* – так называется одна из последних глав книги *Фактор пять. Формула устойчивого роста: Доклад Римскому клубу*, написанной коллективом авторов во главе с президентом Вуппертальского института климата, окружающей среды и энергии **Эрнстом Ульрихом фон Вайцзеккером** (перевод с нем. **С. И. Деркунской**. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 368 с. – серия "Идеи для мира"). Авторы пишут: *Чтобы обеспечить условия, привычные для современного среднего американца, семи миллиардам жителей Земли потребуется пять таких планет. Поэтому реальных альтернатив две: сохранить высокий уровень жизни лишь для жителей США и нескольких миллионеров в других уголках мира, а остальным согласиться на худшие условия – или создать технологии "фактора пять", соответствующие инфраструктуры и выработать привычки, позволяющие в пять раз снизить объем потребляемой энергии и ресурсов.*



Конечно, поставленная задача слегка напоминает известное намерение за двадцать лет построить коммунизм. И тем не менее она оказывается вполне реальной, если рассматривать ее в ряду так называемых циклов Кондратьева,

при помощи которых можно описать развитие цивилизации примерно с 1770 года, когда началась ранняя механизация. С тех пор мир пережил четыре полных примерно полувековых технологических цикла (связанных с появлением и развитием таких новаций, как железная дорога, электричество, автомобили, нефтехимия, авиация, электроника и т. д.), а сейчас находится на пике пятого цикла, определяемого прежде всего прогрессом информационных технологий.

Будущий шестой цикл должен стать "зеленым", то есть связанным с радикальным повышением ресурсоэффективности и развитием возобновляемой энергетики. И именно сейчас наступает время решения проблем, связанных с вхождением в этот цикл, причем ключевым здесь опять же является проблема баланса между государством и рынком: тенденции последней четверти века (снижение роли государства и погоня прежде всего за рыночной прибылью) должны быть преодолены.

Книга иранца **Резы Калили** *Время предавать* (перевод с англ. — М.: Рид Медиа, 2013. — 320 с. — серия "Political animal". "Политическое животное") не имеет, казалось бы, прямого отношения к глобальным экономическим проблемам: это всего лишь (как гласит подзаголовок) *Реальная история агента ЦРУ, внедрившегося в Корпус стражей Исламской революции*. Она, однако, способна подтолкнуть к рефлексии по поводу той же проблемы взаимодействия личного и социального — а также патриотического и космополитического. Молодой исламист, которого привела в элиту революция, свергнувшая власть шаха, разочаровывается в режиме аятоллы Хомейни и по собственной инициативе начинает работать на американскую разведку, убеждая себя в том, что именно это будет способствовать благу его родины. Поскольку рассказ идет от первого лица, то мы с понятным сочувствием наблюдаем за полной опасностей и риска двойной жизнью героя, тем более что его мотивация своих поступков вполне позитивна — ведь он убежден, что находится на стороне Добра и борется со Злом. Хотя объективно мы и здесь сталкиваемся с одним из типичных актуальных кризисов: кризисом социальной идентичности.

Адам Торп
Adam Thorpe
[р. 1956]. Английский поэт и прозаик.

Автор книги стихов *Птицы со сломанным крылом* [*Birds with a Broken Wing*, 2007] и др., романов *Алвертон* [*Ulverton*, 1992], *Нет сообщения* [*No Telling*, 2004] и др., сборников рассказов *Перемещения* [*Shifts*, 2001], *Вы именно так выразились?* [*Is This The Way You Said?* 2006] и др.
В *ИЛ* опубликованы роман *Правила перспективы* [2009, № 5] и рассказ *Наемный солдат* [2012, № 12].
Роман публикуется по изданию *Between Each Breath* [London: Vintage Books, 2008].

Павел Хюлле
Paweł Huelle
[р. 1957]. Польский писатель, лауреат премий фонда имени Косчельских [1989], *Паспорт политики* [2001] и др. Обладатель ордена Возрождения Польши [2012]

Автор сборников рассказов *Первая любовь и другие рассказы* [*Pierwsza miłość i inne opowiadania*, 1996], *Другие истории* [*Inne historie*, 1999], *Повести холодного моря* [*Opowieści chłodnego morza*, 2008], романа *Тайная вечеря* [*Ostatnia wieczerza*, 2007; рус. перев. 2009]. В *ИЛ* были опубликованы его романы *Вайзер Давидек* [2000, № 5] и *Касторп* [2005, № 6], рассказы из сборника *Рассказы на время переезда* [1994, №11], повесть *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу* [2004, № 1].
Публикуемый текст взят из сборника *Дриблингом через границу. Польско-украинский Евро-2012* [*Dryblując przez granicę. Polsko-ukraińskie Euro 2012*. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012].

Наталка Сняданко
Наталка Сняданко
Украинский писатель, поэт, журналист, переводчик с немецкого, польского и русского языков. Живет во Львове.

Автор книг *Коллекция страстей, или Приключения молодой украинки* [*Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки*, 2001; рус. перев. 2005], *Агатангел, или Синдром стерильности* [*Синдром стерильності*, 2006; рус. перев. 2008], *Чабрец в молоке* [*Чебрець у молоці*, 2007; рус. перев. 2011], *Гербарий любовников* [*Гербарій коханців*, 2011] и др.
Публикуемый текст взят из сборника *Дриблингом через границу. Польско-украинский Евро-2012* [*Dryblując przez granicę. Polsko-ukraińskie Euro 2012*. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012].

Марек Беньчик
Marek Bieńczyk
[р. 1956]. Польский прозаик, эссеист, литературовед, переводчик, лауреат литературной премии *Ника* [2012].

Автор романов *Терминал* [*Terminał*, 1994] и *Творки* [*Tworki*, 1999] и ряда сборников эссе, в том числе *Лица* [*Twarze*, 2012].
Публикуемый текст взят из сборника *Дриблингом через границу. Польско-украинский Евро-2012* [*Dryblując przez granicę. Polsko-ukraińskie Euro 2012*. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012].

Наташа Гёрке
Natasza Goerke
Польский прозаик и поэт. Живет в Гамбурге и Парпинге [Непал].

Автор сборников рассказов *Фракталы* [*Fractale*, 1994], *Книга неприятностей* [*Księga pasztetów*, 1997], *Прощание с плазмой* [*Pożegnania plazmy*, 1999] и *47 наотмашь* [*47 na odlew*, 2002].
Публикуемый текст взят из сборника *Дриблингом*

через границу. Польско-украинский Евро-2012 [*Dryblując przez granicę. Polsko-ukraińskie Euro 2012*. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012].

Сергей Викторович Жадан
Сергій Жадан
[р. 1974]. Украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик с немецкого, английского, белорусского и русского языков.

Автор более десятка поэтических сборников, в том числе *История культуры начала столетия* [Історія культури початку століття, 2003; рус. перев. 2003], романов *Депеш мод* [*Депеш мод*, 2004; рус. перев. 2005] и *Ворошиловград* [*Ворошиловград*, 2010; рус. перев. 2012], автобиографической книги *Anarchy in the UKR* [2005; рус. перев. 2008] и др. Его стихи и рассказы часто печатаются в российских периодических изданиях.
Публикуемый текст взят из сборника *Дриблингом через границу. Польско-украинский Евро-2012* [*Dryblując przez granicę. Polsko-ukraińskie Euro 2012*. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012].

Адольфо Бьой Касарес
Adolfo Bioy Casares
[1914–1999]. Аргентинский писатель.

Автор романов *Изобретение Мореля* [*La invención de Morel*, 1940; рус. перев. 1999], *Сон героев* [*El sueño de los héroes*, 1954; рус. перев. 2000], *Дневник войны со свиньями* [*Diario de la guerra del cerdo*, 1969; рус. перев. 1999], *Приключения фотографа в Ла-Плате* [*La aventura de un fotógrafo en La Plata*, 1985] и др. Ряд произведений, в основном – пародийных, был написан им в соавторстве с Х. Л. Борхесом. В *ИЛ* напечатаны рассказы Касареса и Борхеса под псевдонимом Орасио Бустос Домек [1999, № 9 и 2013, № 4].

Алан Гарнер
Alan Garner
[р. 1934]. Английский писатель, драматург, эссеист. Почетный доктор Уорикского университета. Награжден медалью Карнеги и рядом других почетных наград.

Автор ряда повестей, в которых используются кельтские мифы и мотивы из Артуровского цикла: *Волшебный камень Бризингамена* [*The Weirdstone of Brisingamen*, 1960; рус. перев. 1996], *Луна в канун Гомрата* [*The Moon of Gomrath*, 1963; рус. перев. 1996], *Элидор* [*Elidor*, 1965; рус. перев. 1994], *Совы на тарелках* [*The Owl Service*, 1967; рус. перев. 1994], *Красное смещение* [*Redshift*, 1973], а также воспоминаний [*The Stone Book Quartet*, 1976], сборника эссе *Гремящий голос* [*The Voice That Thunders*, 1997], *Книги британских сказок* [*Garner's British Fairy Tales*, 1979] и др.
Публикуемое эссе является предисловием к юбилейному – 100 лет со дня смерти – двухтомному изданию сочинений Льюиса Кэрролла [*Complete&Utter Nonsence*. London: The Folio Society, 1998].

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства *Русский импульс*. Лауреат

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV-XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008],принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Посто-

премии имени А. М. Зверева [2011].

янно печатается в журналах *Нева*, *Октябрь*, *Юный художник*, в одесском альманахе *Дерибасовская-Ришельевская* и др. Постоянный ведущий рубрики *Среди книг с Верой Калмыковой*.

Наталья Родионовна Малиновская
Филолог-испанист, доцент кафедры зарубежной литературы МГУ. Лауреат премии *Иллюминатор* [1996] и премии журнала *Дружба народов* [1999].

Автор цикла статей о творчестве Ф. Гарсиа Лорки, испанском фольклоре, испанском сюрреализме и испанском барокко. С 1977 г. печатается как автор предисловий, переводчик, составитель и комментатор сборников испанской и латиноамериканской прозы [Ф. Гарсиа Лорка, А. Мачадо, Р. Гомес, де ла Серна, Асорин, Х. Ортега-и-Гассат, А. М. Матуте, С. Вальехо, испанские народные сказки, испанская народная поэзия]. Переводила также испанскую драматургию [Ф. Гарсиа Лорка, Асорин, Бенавенте]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010].

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Инна Соломоновна Стам
Лингвист, переводчик с английского, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2009]. Обладатель *Почетного диплома критики зо-ИЛ* [2007].

В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть С. Таунсенд *Ковентри возрождается* [1991, № 3], рассказы Ч. Джонсона [1992, № 4], очерк Г. Миллера *Время убийц. Этюд о Рембо* [1992, № 10], романы С. Таунсенд *Мы с королевой* [1994, № 7], Г. Адэра *Закрытая книга* [2001, № 6], П. Акройда *Лондонские сочинители* [2007, № 7], новелла Р. Рассо *Чем дальше...* [2008, № 8], фрагменты автобиографии Дж. Барнса *Ничего страшного* [2010, № 3] и др. Автор работ по современному английскому языку.

Елена Викторовна Губина-Бабиньска
Филолог, литературовед, переводчик с польского.

Переводила статьи для польского номера журнала *Пинакотека* [2005], главы из книги Ю. Чапского *На бесчеловечной земле*.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Завен Робертович Баблоян
[1971]. Переводчик с украинского и английского языков.

В его переводах выходила проза Ю. Андруховича, С. Жадана, В. Махно, Т. Прохасько, Н. Сняданко и др., а также психоаналитические и философские труды Р. Бриттона, Дж. Стайнера, Р. Хиншелвуда, Дж. Батлер, И. Кософски-Седжвик, М. Николчиной и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, доктор филологических наук, переводчик с польского, лауреат премии *Иллюминатор* [2010].

В ее переводе опубликованы произведения Г. Херлинга-Грудзинского, П. Хюлле, М. Тулли, Т. Ружевича, А. Стасюка, О. Токарчук, М. Вилька, Э. Курылюк, М. Лозинского, К. Янды и др.
В *ИЛ* опубликованы ее переводы автобиографической повести К. Кеслёвского *О себе* [1998, № 11—12], стихотворений В. Шимборской *Две обезьяны Брейгеля, Утопия* [2003, № 5], повести П. Хюлле *Мерседес-бенц. Из писем к Грабалу* [2004, № 1], эссе *Сегодня умирают иначе* [2004, № 9] и фрагмента книги *Дойчланд* А. Стасюка, документальной повести В. Тохмана *Ты словно камни грызла* [2004, № 10], романа *Последние истории* [2006, №8—10] и фрагмента романа *Бегуны* [2010, № 6] О. Токарчук, фрагмента книги Х. Климко-Добжанецкого *Колыбельная для висельника* [2009, № 7], рассказов К. Орлося [2010, № 5], пьесы Т. Слободзянека *Одноклассники* [2011, № 10], рассказов М. Тулли *Бегство лис* [2013, № 1] и *Бронек* [2013, № 5], а также статьи и рецензии.

Денис Георгиевич Вирен
[1988]. Киновед, переводчик с польского.

Автор ряда публикаций и переводов в журналах *Киноведческие записки, Вопросы театра, Искусство кино*.
В *ИЛ* в его переводе опубликован репортаж *Надежда на развалинах Всемирного торгового центра* Я. Антчака и статья Л. Молинского *dokument.pl* [2011, № 10].

Мадина Михайловна Алексеева
Переводчик с польского, украинского, английского и шведского языков. Кандидат филологических наук. Лауреат премии имени С. К. Апта.

В ее переводах были изданы рассказы и эссе С.Лема, В. Кучока, С.Схутого и др.
В *ИЛ* в ее переводе опубликованы эссе Тадеуша Любельского *Смерть отца* [2008, № 7] и фрагменты книги Ирены Грудзинской-Гросс *Милош и Бродский:магнитное поле* [2011, № 7], а также репортажи из Турции *Убийца из города абрикосов* В. Шабловского [2011, № 10].

Александр Израилевич Казачков
[р. 1954]. Переводчик с испанского.

В его переводах выходили произведения М. Пуига, Х. Л. Борхеса и Б. Касареса. В *ИЛ* опубликован его перевод романов М. Пуига *Крашеные губки* [2004, № 2] и *Падает тропическая ночь* [2010, № 10], книги А. Монтерросо *Черная Овца и другие басни* [2007, № 7], фрагментов книги Х. Бенета *Тринадцать басен с половиной и басня четырнадцатая* [2009, № 12], рассказа Г. Ньельсена *Марвин* [2010, № 10] и рассказов О. Бустоса Домека [2013, № 4].

Нина Михайловна Демурова
Переводчик и литературовед, доктор филологических наук, почетный член Общества Л. Кэрролла и Б. Поттер. Обладатель Почетного диплома Международного совета детской книги [2000].

Автор ряда работ по английской и другим англоязычным литературам.
Переводила романы и рассказы Р. К. Нарайана, Л. Кэрролла [*Алиса в Стране чудес* и *Алиса в Зазеркалье*], Э. По, Г. К. Честертона, Э. Олби, М. Эджворт, Ш. Делани, Дж. М. Барри, Р. Дала, Б. Поттер и др. Неоднократно печаталась в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

Интернет в квартиры и офисы

- Надежная связь и высокая скорость доступа — волоконно-оптический канал 1 Гбит/с в каждый дом
- Квалифицированное и оперативное обслуживание
- 15-летний опыт работы RiNet — гарантия качества и стабильности сервиса

Москва, 1-й Хвостов пер., д.11А

981-45-71

www.rinet.net

В оформлении обложки использован фрагмент арабской миниатюры.

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Экспресс-хроника" (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 18.06.2013
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 2992.
Тираж 4800 экз.

Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбина
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru,
www.oaompk.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.
Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Международный конкурс на лучший перевод
произведений Тадеуша Ружевича

Дорогие друзья!

Фонд "За вашу и нашу свободу" рад сообщить, что польское Министерство культуры и национального наследия совместно с Институтом книги поддержало проект по проведению конкурса "Ружевич 2013".

Приглашаем вас принять участие в международном конкурсе на лучший русский перевод произведений крупнейшего поэта Польши Тадеуша Ружевича.

Жюри конкурса: Наталья Горбаневская (председатель), Томас Венцлова, Адам Поморский, Андрей Хаданович, Игорь Белов.

Тексты стихов для перевода представлены на интернет-сайте нашего фонда "За вашу и нашу свободу": www.zawolnosc.eu. Переводы следует присылать по электронному адресу: ruzewiczkonkurs@gmail.com.

Срок подачи переводов - до 1 октября 2013 года.

Победителям будут вручены премии:
1 премия – 30 000 рублей.
2 премия – 20 000 рублей.
3 премия – 10 000 рублей.

Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2013 года на сайте фонда. Церемония награждения победителей состоится в декабре 2013 года в посольстве Польши в Москве.

Переводы участников конкурса, вошедшие в шорт-лист (первые 10 мест), будут включены в состав сборника, который выйдет в 2014 году. Их авторов мы пригласим во Вроцлав (Польша) для участия в переводческих мастер-классах.

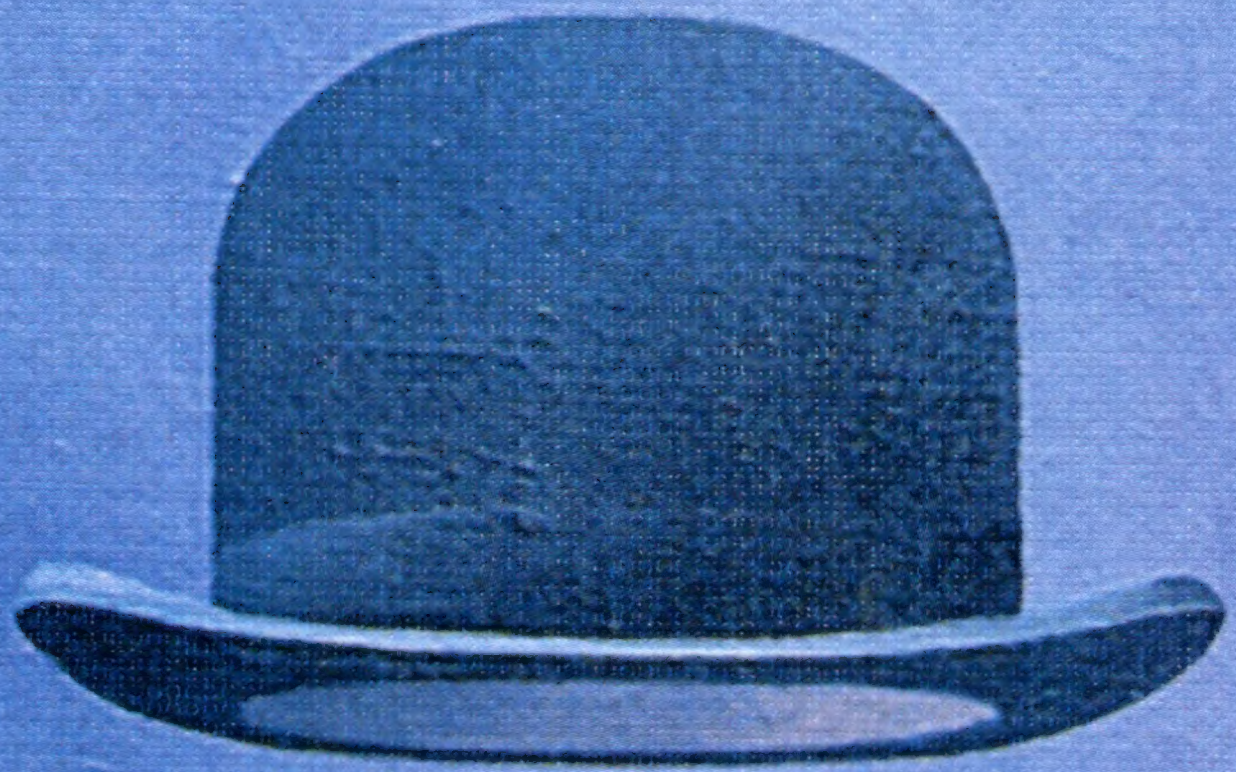
Желаем удачи!

---

[8] 2013

РАССКАЗЫ ХУЛИО КОРТАСАРА / СТИХИ ВЛАДИМИРА ЯГЛИЧИЧА / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "1968" — О ВТОРЖЕНИИ В ПРАГУ СОВЕТСКИХ ТАНКОВ / ПОВЕСТЬ ПЬЕРА МАК-ОРЛАНА "ЗВЕРЬ ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ" / ЛОРЕНС СТЕРН В РУБРИКЕ "IN MEMORIAM" / СТАТЬЯ СЕРГЕЯ СЛЕПУХИНА "МОТИВЫ 'ТАНЦА СМЕРТИ' У ТОМАСА МАННА"

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 13007 > 9 770130 654770

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2013, №7, 1-288